

Федор Федорович Тютчев

Беглец



Федор Федорович Тютчев

Беглец

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22145315
Беглец: 1902

Аннотация

«...Лицо незнакомца, с небольшими усиками и едва пробивающейся бородкой, могло бы назваться очень красивым, если бы не было так страшно изнурено и покрыто, как корой, слоем пыли и грязи. Ввалившиеся щеки и глубоко запавшие глаза придавали ему вид человека, или только недавно перенесшего тяжелую болезнь, или сильно истомленного голодом...»

Содержание

I. Бродяга	5
II. Казнь огнем	14
III. Настоятель	20
IV. В Судже у грозного Чингиз-хана	30
V. Политика	42
VI. Ренегат	50
VII. Через много лет	54
VIII. Сосед	64
IX. Муртуз-ага	75
X. На охоту	87
XI. Облава	97
XII. Кабан	108
XIII. «Мравал джамиер»	119
XIV. Встреча с разбойником	126
XV. У таможенного парома	139
XVI. Неожиданный гость	147
XVII. Людская злоба	158
XVIII. Загубленная жизнь	165
XIX. Размолвка	176
XX. Лидия Норденштраль	179
XXI. Мечты	186
XXII. По тому же поводу	193
XXIII. По дороге в Суджу	203

XXIV. Хотя бы на дно пропасти	214
XXV. В Судже	223
XXVI. Сардар Хайлар-хан	234
XXVII. В старом дворце	244
XXVIII. История одной стены	250
XXIX. Замуравленные	259
XXX. Ханши	268
XXXI. В Сардарском саду	277
XXXII. Тревоги	281
XXXIII. Смертельная опасность	289
XXXIV. Ночь над пропастью	296
XXXV. Сударчикова тайна	308
XXXVI. Друзья	319
XXXVII. Рассказ Сударчикова	327
XXXVIII. Сударчиков орудует	337
XXXIX. В пещере	345
XL. Признание	352
XLI. Убийство	362
XLII. Новое отечество	370
XLIII. Планы	377
XLIV. Последние опасности	385
XLV. Перед вечной разлукой	394
XLVI. Напролом через границу	402
XLVII. Горя реченька	412
XLVIII. На кладбище	422
Эпилог	428

Фёдор Фёдорович Тютчев Беглец

I. Бродяга

В 1876 году в один жаркий июльский день, верстах в 7 от города Нацвалли, по глухому мрачному аладжинскому ущелью, служащему, вместе с протекающей по нем рекой Араксом, границей России с Персией, пробирался молодой человек, лет 19–20, одетый в жалкое рубище армянина-поселенца: короткий полукафтан верблюжьего сукна, с бесчисленным множеством прорех, ситцевый бешмет и чувяки. Голова была покрыта засаленной тушинкой. По тому, с каким трудом, опираясь на толстую суковатую палку, передвигал он свои ноги, можно было судить о том далеком и тяжелом пути, который он сделал, раньше чем попасть в эти мертвенно неприветные места.

Лицо незнакомца, с небольшими усиками и едва пробивающейся бородкой, могло бы назваться очень красивым, если бы не было так страшно изнурено и покрыто, как корой, слоем пыли и грязи. Ввалившиеся-

ся щеки и глубоко запавшие глаза придавали ему вид человека, или только недавно перенесшего тяжелую болезнь, или сильно истомленного голодом.

По мере того как путник подвигался вперед по тропинке, извивавшейся между желто-красными громадами скал, лишенных всякой растительности, силы, очевидно, оставляли его: он изредка останавливался, чтобы перевести дух, и затем снова брел вперед, едва-едва ступая наболевшими, покрытыми ранами и ссадинами ногами.

Налетавший изредка ветерок не приносил облегчения, а только обжигал лицо своим горячим дыханием. От раскаленных камней отдавало зноем, который, наполняя воздух, казалось, готов был испепелить мозг и душу человека.

Изнуренный и обессиленный, незнакомец присел на камень и с трудом вытянул ноги. Все тело его ныло от нечеловеческой усталости, во рту пересохло, язык потрескался, голова кружилась от голода и жажды.

Долго ли просидел он так, склонив голову на грудь и полузажмуриив наболевшие от яркого света глаза, он не мог дать себе отчета. Из полубессознательного состояния, в котором он находился, его вывело раздавшееся где-то поблизости глухое ржание катера.

Незнакомец встрепенулся, поднял голову, прислушался и, как бы сообразив что-то, торопливо поднял-

ся с камня и побрел в ту сторону, откуда раздавалось ржание. Пройдя несколько саженой и обогнув прихотливо нависшую над тропинкой массивную скалу, слепленную из мелкого красного песчаника, он увидел перед собой небольшую круглую, глубокую котловину, окруженную со всех сторон, как стеной, высокими отвесными скалами. Защищенная от палящих лучей солнца котловина эта представляла прохладный, уютный, тенистый уголок; по дну ее., вырываясь из расщелины скалы, бежал сверкающий ручеек, образуя в одной из впадин прозрачно-хрустальный, холодный, как лед, водоем, с усыпанным мелкими разноцветными камешками дном.

При виде воды путник невольно вскрикнул от радости и, забыв всякую усталость, бросился к водоему. Долго пил он, погрузив свое опаленное зноем лицо в холодные струи; когда же, наконец, напившись вволю, он поднял голову, глаза его встретились с другой парой черных, пронизательных глаз, пристально устремленных на него из-под нависших седых бровей. Глаза эти принадлежали худощавому старику, одетому, как одеваются богатые армяне на Закавказье – в черную шерстяную черкеску, с высоко «нашитыми» на ней газырями и подпоясанную серебряным чешуйчатым поясом, с прицепленным на нем кинжалом в серебряных ножнах и кожаной, украшенной серебром

кобурой, из которой выглядывала ручка револьвера, на узенькой галунной тесемке через шею. На коротко остриженную голову старика была надвинута по самые уши высокая конусообразная шапка-персиянка из мелкого блестящего, черного барашка. На ногах были надеты обшитые золотым шнуром чувяки. Сморщенное, худощавое лицо старика, с крючковатым толстым носом, похожим на клюв хищной птицы, было гладко выбрито, длинные седые усы закрывали рот и спускались ниже подбородка.

Старик сидел, свернув ноги калачиком, на разостланном коврике и закусывал мелко крошенным паныром с лавашом, запивая свой неприхотливый завтрак красным местным вином из большой темной бутылки.

В нескольких шагах, с надетой на голову торбой с ячменем, стоял рослый красивый катер, изжелта-белой масти, оседланный куртинским седлом, ярко-малиновый бархатный чепрак которого был расшит цветным шелком, а широкие медные стремяна украшены изящной насечкой; на шее катера висело красное сафьяновое ожерелье, вышитое синими и белыми бусами, с пришитым к нему амулетом, в виде кожаной ладанки, украшенной ракушками, – защита от дурного глаза. Сзади седла были приторочены большие, туго набитые ковровые хурджины.

– Кто ты такой? – спросил армянин ломаным русским языком, пристально рассматривая молодого человека.

– А зачем тебе это знать? – уклончиво ответил тот, опускаясь против него в тени у водоема и с угрюмой жадностью изголодавшегося человека поглядывая исподлобья на сыр, хлеб и вино, лежавшие перед армянином.

– Зачем?! Низачем, так спросил, если не хочешь – не говори! – сказал равнодушно старик, снова принимаясь за еду.

С минуту оба молчали.

– Послушай, бабай, – глухим голосом проговорил, наконец, молодой человек, – дай мне немного сыру и хлеба, я умираю с голоду. Пожалуйста!»

– Изволь, дюшэ мой, изволь, пожалуйста! – добродушно протянул ему старик остатки своего завтрака и наполовину недопитую бутылку с вином. – Кушай на здоровье! Карапет Мнацеканов чиловек добрый, па-чему не дать, когда сам сыт. Кушай всэ. Оставлять ни надо!

Но молодой человек ничего и не думал оставлять. В один миг он доел весь сыр, который оставался в мешочке, подобрал все крошки лаваша и двумя глотками опорожнил бутылку. Все время, пока он ел, армянин не спускал с него пристального, внимательного

взгляда.

– Ну, спасибо тебе, бабай! – повеселевшим голосом произнес молодой человек, возвращая порожнюю бутылку. – Теперь немного подкрепился, можно и дальше в путь. Скажи, пожалуйста, – продолжал он, – граница отсюда близко?

– Близко, часа через полтора дойдешь, а ты разве в Персию?

– В Персию, а ты?

– Я тоже в Персию! – ответил, немного подумав, армянин.

– И тоже, как я, не через таможню, а прямо через границу? Отлично, мы, стало быть, попутчики! Пойдем вместе, хочешь?

– Я на катере, ты пешком; как же мы поедем вместе? – уклончиво отвечал Карапет Мнацеканов, недоверчиво поглядывая на молодого человека.

– Об этом не беспокойся, я пеший от твоего катера не отстану, в дороге же я могу тебе пригодиться!

Армянин сомнительно покачал головой...

– Чем, дюшэ мой, ты мне можешь пригодиться, мой сыр-лаваш кюшать? – усмехнулся он, лукаво прищуриваясь.

– Смейся, а дай-ка мне ружье в руки, я тебе покажу, чем я могу быть тебе полезен. Ты ведь, наверно, сам стрелять не умеешь?

– Почему ты так думаешь? – немного как бы оби-
делся старик.

– А потому, что вы, армяне, вообще плохо стре-
ляете. Это я в полку заметил. Грузины и имеретины
стрелками на службу приходят, а вас, армян, учат,
учат, а все толку мало!

– Ты беглый солдат? – встрепенулся Карапет.

– Почему солдат?

– А ты же, дюшэ мой, говоришь: «у нас в полку» –
стало быть, ты сам из полка!

– Пусть будет по-твоему, из полка, так из полка, –
согласился молодой человек, – не в этом дело, а в
том, чтобы ты взял меня с собой. Раз ты едешь в Пер-
сию, тебе такой человек, как я, будет кстати. Там ведь
то и дело разбойники попадают; дай мне свое ру-
жье и не бойся, никого близко не подпущу!

– А ты хорошо стреляешь?

– Говорю, дай в руки ружье – увидишь!

Армянин встал, подошел к своему катеру и, выта-
щив из чехла почти новую, хорошо содержанную ма-
газинку Пибоди, какими в то время перевооружалась
турецкая кавалерия, подал ее молодому человеку.

– Куда же ты стрелять хочешь?

– А вон, видишь: орел сидит на круче! – сказал мо-
лодой человек, указывая пальцем на большого рыже-
го орла, нахохлившегося на скале. С того места, где

они стояли, орел был виден не весь, так как был заслонен камнем, из-за которого выглядывала только его голова и часть спины.

– Ну, дюшэ мой, это ты хвастаешь; в орла ты не попадешь. Далеко очень и видно его плохо, голова одна. Нэт, дюшэ мой, стреляй другое!

Вместо ответа молодой человек вскинул ружье и начал медленно и внимательно прицеливаться.

Прошло несколько мгновений томительного ожидания, и вдруг грянул резкий, отрывистый выстрел, гулкими перекатами прокатившийся по скалам.

Орел, встрепенувшись всем телом и сильно взмахнув крыльями, стремительно взвился вверх, описывая широкий круг.

– Говорил, дюшэ мой, нэ попадэш, вот и не попал! – торжествующе произнес армянин.

– Если ружье правильно бьет – попал! – со спокойной уверенностью произнес молодой человек, внимательно следя за орлом, рассекавшим воздух широкими и торопливыми взмахами крыльев. Вдруг могучая птица как-то странно, не по-орлиному затрепыхалась на одном месте и начала сначала медленно, потом все быстрее и быстрее спускаться вниз, беспомощно и беспорядочно махая крыльями.

Через минуту она уже билась на камнях ближайшей скалы в тщетных усилиях вновь подняться. Вытяги-

вая шею и раскрывая клюв, орел судорожно сжимал и разжимал острые когти, царапая ими камни; по временам он издавал глухой предсмертный крик, которому где-то высоко-высоко вторил другой орел.

– Ну, что? – торжествующе спросил молодой человек, поворачивая лицо свое к армянину. – Видишь, попал!

– Усташ, усташ! – потрепал тот его по плечу. – Молодец, дюшэ мой, большой молодец. В самом деле, давай вместе поедэм, ты ружьям бери, если разбойник ходить будэт, стреляй его, дюшэ мой, как орла стрелял, хорошо будет!

– Ну, вот и отлично! – обрадовался молодой человек. – Стало быть, можно и в путь трогаться!

II. Казнь огнем

Час спустя через один из бродов на реке Араксе, версты три ниже Аладжинского казачьего поста, осторожно переправлялись, сидя вдвоем на одном катере, Карапет Мнацеканов и молодой человек, которого Мнацеканов называл Иваном, решив про себя, что он, наверно, русский беглый солдат.

Неглубокий в этом месте, но чрезвычайно быстрый и бурный Араке с оглушительным грохотом яростно катил свои желто-мутные волны, угрожая ежеминутно опрокинуть и катера, и его всадников в пенящуюся пучину. На середине реки напор волн был так силен, что катер на минуту было приостановился, как бы не решаясь идти дальше.

– Шутора, шутора! – закричал на него Карапет, замахиваясь концом ременного повода.

Катер затряс ушами и рванулся вперед, упираясь всею грудью против стремительного течения. Вода достигла седла, но через несколько саженей она начала быстро убывать, и с каждым новым шагом катер стал как бы вырастать под всадниками. Вот показалось его отвислое брюхо, за ним ноги до колен, колени, ниже колен, и наконец, весело пофыркивая, он

мелкой рысцей благополучно выбрался на Аротиво-положный крутой, осыпающийся песчаный берег.

– Ну, теперь надо смотреть во все глаза, – боязливо оглядываясь, произнес Карапет, – тут как раз разбойников встретить можно!

– Не бойся, старик, – со спокойной самоуверенностью отвечал его спутник, закладывая патроны в магазинку, – у нас, у русских, есть пословица: «Бог не выдаст, свинья не съест». Понимаешь?

Карапет утвердительно мотнул головой, и оба, не теряя времени, пустились в дальнейший путь.

Монастырь св. Стефана, куда направлялся теперь Карапет Мнацеканов, – одна из древнейших армянских святынь, и в свое время имел большое значение как оплот христианства среди враждебных ему мусульман.

Монастырь этот, воздвигнутый среди пустынных гор, со всех, сторон был окружен дикими курдскими племенами, исключительно занимавшимися разведением бесчисленных стад овец и разбоем. Надо было много такта, ловкости и хитрости со стороны отцов – настоятелей монастыря, чтобы оставаться целыми и невредимыми, живя бок о бок с такими беспокойными, кровожадными и алчными соседями. Только грозная власть Суджннского владетельного хана Чингиз-Аги, с которым монастырь, ценой частых и обиль-

ных бэшкэшей, поддерживал дружбу, да страх перед близкой православной Россией сдерживали разнуданные толпы дикарей, всегда готовых с огнем и мечом обрушиться на монастырь, представлявший для них лакомую и, в сущности, легкую добычу.

Солнце приближалось к западу, когда Мнацеканов с Иваном подъехали к высоким стенам монастыря, окруженного со всех сторон густо разросшимися то полями, каштанами и норбандами, дававшими густую тень на широкую, усеянную камнями дорогу-аллею, ведущую к самым воротам монастыря, перед которыми на небольшой площадке теснилась толпа народа. Тут были мрачно нахмуренные курды, с сверкающими, как у волков, глазами, в черных чалмах, ярко-красных или малиновых, расшитых желтым и черным шнурком куртках и с целым арсеналом оружия за поясом; робкие, смиренные армянские сельчане в синих рубахах, кожаных чустах и в черных круглых суконных шапочках на головах, степенные, худощавые персы в бараньих папах, длинных аббах и халатах. Вся эта толпа стояла молча и, задрвав головы, с жадным любопытством глядела на возвышающуюся перед нею огромную, совершенно отвесную скалу, отделенную от монастыря глубокой пропастью, на дне которой неистово бился среди острых камней бешеный поток.

Немного ниже остроконечной верхушки скалы находилась небольшая площадка, острым выступом нависшая над пропастью. На площадке этой суетилась небольшая группа людей в синих кафтанах, белых холщовых шароварах на выпуск и барашковых папахах; за спинами у них поблескивали ружья. Это были «сарбазы» Суджннского владыки Чингиз-Аги. Между ними, со связанными назад руками стояли три курда: седой старик, с белыми, как снег, усами и бровями, но еще крепкий и прямой, и двое юношей, из которых младший выглядел еще совсем мальчиком, лет 13–14, не больше. Все трое стояли неподвижно и совершенно равнодушно поглядывали на толстого человека в голубом казакине, суетившегося около них с черной жестянкой в руках. Человек этот занимался тем, что обильно смачивал, при помощи имевшейся у него тряпки, одежду курдов. Не довольствуясь этим, он иногда подымал жестянку и осторожно начал поливать из нее то того, то другого из курдов, которые, по-видимому, относились к этому совершенно безучастно, не оказывая никакого сопротивления. Когда, наконец, вместительная посуда была опорожнена до дна, человек в голубом казакине взял из рук одного из сарбазов большие комки хлопка, с помощью трута зажег их и, торопливо засунув за пазуху каждому из курдов, поспешно перешел со всеми сарбазами

с площадки на выступ соседней скалы по двум бревнам, которые после этого были быстро убраны.

Оставшиеся на площадке курды таким образом очутились совершенно изолированными. Сзади них возвышалась отвесная, как будто отполированная скала, кругом зияла глубокая бездна, над которой, как воздушный балкон, повисла небольшая площадка, где они стояли, неподвижные, молчаливые, как статуи, лицом к толпе, с жадным любопытством устремившей на них свои взгляды, с противоположной стороны, снизу от стен монастыря. Прошло около минуты, может быть, больше, может быть, меньше; вдруг, по одежде старика пробежали тонкие язычки пламени, лизнули ему грудь, спину, плечи, змейкой вильнули по огромной чалме... Показался дымок, и через мгновение старик вспыхнул весь, как смоляной факел. Почти одновременно с ним запылали оба его сына. Обильно смоченная керосином одежда горела ярким синеватым огнем. Несчастные издали отчаянный, душу потрясающий вопль и принялись кружиться на одном месте, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее. Видно было, как они неистово рвались из связывавших их веревок, оглашая воздух нечеловеческими воплями: они то бросались на землю и начинали кататься по ней, тщетно пытаясь этим затушить огонь, То снова вскакивали и неистово метались из

стороны в сторону... Наконец, обезумев от страдания, один из них ринулся в пропасть, за ним последовали остальные. Как пылающие ракеты, мелькнули они в воздухе и исчезли внизу, в пенистых волнах бешено ревущего потока.

Иван, стоя рядом с Мнацекановым, глядел на совершавшуюся перед ним бесчеловечную казнь и чувствовал, как волосы шевелятся у него на голове и весь он холодеет от невыразимого ужаса, охватившего все его существо. Что же касается остальной толпы, то для нее, очевидно, это зрелище было далеко не новостью: равнодушно доглядев до конца, она как ни в чем не бывало начала медленно расходиться, толкая каждый о своих делах.

Только присутствовавшие при казни курды, и без того всегда молчаливые и угрюмые, еще более насупились. Некоторые из них, проходя мимо монастыря, бросали на него мрачные взгляды жгучей ненависти и в бессильной ярости стискивали крепкие и блестящие, как у волков, зубы.

III. Настоятель

Большая комната с низким потолком и глиняным, застланным паласами полом, с белыми, выкрашенными известью стенами, украшением которых служили: большое прекрасной работы распятие из слоновой кости и черного дерева и две олеографии, изображавшие: одна – государя императора Александра II на белом коне, другая – персидского шаха Наср-Эдлина, сидящего в кресле и усыпанного бриллиантами неимоверной величины.

В комнате при свете стенной лампы с матовым колпаком и двух свечей в высоких медных шандалах, на широкой тахте, покрытой персидским ковром, сидели Карапет Мнацеканов и высокий худощавый монах в черной рясе и бархатной ермолке. Черная, с легкой проседью борода монаха широким веером ложилась на его грудь, оттеняя его бледное, восковое лицо, на котором благодаря матовой белизне особенно ярко горели и сверкали черные, большие глаза под густыми бровями. Длинные густые волосы, слегка завиваясь, падали на плечи монаха, мешаясь с его роскошной бородой.

Он мог бы назваться красавцем, если бы не холодно-жестокое и в то же время хитрое выражение все-

го лица, а в особенности беспокойно бегających глаз, да характерный армянский нос клювом, делавший его похожим на хищную птицу.

Это был сам настоятель монастыря св. Стефана, алчный и жестокий Ацватур-Тер-Хачатурьянц. Перед обоими собеседниками на большом круглом столе грубой работы, покрытом красной камчатной скатертью, стояли тарелки с незатейливыми яствами, среди которых главное место занимала разных сортов трава: тархун, мята, кресс-салат и другие. Эти травы, столь любимые армянами и татарами, в союзе с паныром составляют летом их главную, а зачастую и единственную пищу, которую они употребляют с лавашем в едва ли меньшем количестве, чем домашние животные, ишаки и лошади.

Перед каждым из беседующих стояло по бутылке светло-красного вина и по большому стакану, ни минуты не остававшемуся пустым, так как оба очень заботливо и внимательно подливали один другому, постоянно чокаясь и сопровождая это, по восточному обычаю, витиеватыми пожеланиями.

– Ты видел, – с жестокой усмешкой спросил монах, – как сегодня жгли трех «волков»?

– Видел, а за что?

– Подлые собаки! – с страстной ненавистью проговорил Тер-Ацватур. – На прошлой неделе они уби-

ли у меня одного монаха. Я послал двоих монахов в Абардцум за «десятиной». Проклятые «волки» пронохали про это и устроили им засаду, почти под самым монастырем. К счастью, тому, кто вез деньги, удалось ускакать, я нарочно дал ему свою собственную лошадь, но другого, ехавшего на катере, они догнали, убили и обобрали догола. Я на другой же день отправил жалобу Чингиз-хану при хорошем подарке, прося его наказать курдов. Подарки мои, должно быть, понравились хану, а на курдов он и сам сердит за их постоянные разбои, а потому проклятый язычник не заставил долго ожидать и тотчас же прислал сюда своих сарбазов, приказав им, по моему указанию, схватить убийц и казнить их огнем. Я указал на этого старика и его двух сыновей. Их сейчас же схватили, подвергли пытке в подвалах монастыря, а сегодня сожгли.

– Каким же образом вам удалось разыскать убийц? Ведь это очень трудно. Курды никогда не выдают своих!

Настоятель злобно расхохотался.

– Да я и не думал разыскивать! Какое мне дело, кто именно из этих негодяев совершил убийство; все они мои заклятые враги, и я охотно истребил бы их всех до последнего младенца. Я указал на этого старика потому, что он пользовался большим значением среди

своих; казнь его наведет на курдов особенный страх, показав им, что если уже с таким почетным стариком, как Худадар, не поцеремонились, то с другими и по-давно не станут много разговаривать. Курды до последней минуты не верили, чтобы сарбазы решились сжечь Худада, но я дал султану хороший бэшкэш, и он исполнил мое требование, хотя, я знаю, Чингиз-хан будет недоволен: он бы едва ли разрешил казнить Худада.

– Я слышал, Чингиз-хан за последнее время стал очень строг с курдами и за всякую безделицу жжет их или бросает со скалы в пропасть, а между тем они по-прежнему продолжают грабить и здесь, и в России, куда переправляются целыми шайками... Бедовый народ!

– Чингиз-хану очень-то верить нельзя: он одной рукой казнит, а другой – в то же время поощряет всякие насилия, совершаемые курдами. Казнит не за то, что грабят, и не тех, кто грабит, а тех, кто попадает. Курды это отлично понимают и нисколько не в претензии на правителя. Проклятая страна! – со вздохом заключил настоятель. – Только тогда и будет порядок, когда русские отнимут ее у Персии!

– Ну, это еще не скоро! Русским не до Персии, у них теперь на шее близкая война с Турцией. Это очень хорошо для наших, живущих в Турции. Если Россия по-

бьет турок, а в этом нельзя и сомневаться, она освободит от турецкого ига всех христиан, а в том числе и армян!

– Вы думаете? – скептически усмехнулся Хачатурьянц. – А я уверен, что армяне ничего не выиграют от этой войны; своих родных братьев-болгар Россия освободит, это наверно, мы же по-прежнему останемся рабами турок. Будет величайшим счастьем, если самой незначительной части нашего народа удастся вырваться из-под мусульманского ига, большая же часть останется при прежнем своем положении, если еще не в худшем <...>

По мере того как настоятель говорил, бледное лицо его еще больше бледнело, а глаза разгорелись пылким огнем вдохновения; он весь дрожал, протянув вперед костлявую руку, как бы угрожая кому-то или кого-то отстраняя. Мнацеканов с невольным страхом глядел ему в лицо, чутко прислушиваясь к его пророчествам.

– Полноте, отец! – попробовал он успокоить взволнованного монаха. – Зачем питать в себе такие мрачные мысли?! Бог даст, так не будет, но для того, чтобы так не было, армяне должны с своей стороны всеми силами помочь русским в предстоящей войне. Чем больше мы сделаем сами для нашего освобождения, чем больше принесем жертв, тем настойчивей можем

требовать расплаты за них. По крайней мере, я такого убеждения и вот почему я и взялся за то опасное, рискованное дело, о котором говорил вам давеча!

– Смотрите, как бы вам не погибнуть! Турки хитры и беспощадны; если они догадаются, кто вы и зачем к ним приехали, они посадят вас на кол, верьте мне!

– Зачем вы говорите так, – с неудовольствием произнес Карапет, – зачем понапрасну пугать? Я без вас отлично знаю, какой опасности подвергаюсь, и не об этом хотел говорить с вами; мне нужно узнать ваше мнение, можно ли довериться Чингиз-хану. Генерал посылает ему со мной прекрасный подарок: дорогие золотые английские часы и пару богато украшенных револьверов; вместе с тем просит помочь мне безопасно под его покровительством проехать в Турцию, для собрания кое-каких важных сведений; весь вопрос – насколько можно довериться Чингиз-хану? Вы лучше моего знаете хана, имеете постоянно с ним дела, потому-то я и обращаюсь к вам за советом!

– Видите ли, – помолчав немного, начал настоятель, в раздумье пощипывая свою бороду. – Чингиз-хану, как и всякому персианину, верить, разумеется, нельзя, ни единому слову. Нет той страшной клятвы, которая могла бы связать его и заставить честно выполнить принятое на себя обязательство; в этом отношении они все поголовно лжецы и клятвопреступ-

ники, а Чингиз-хан, пожалуй, еще похуже других будет. Но когда от соблюдения обещания он ожидает себе какую-нибудь выгоду, то трудно найти человека более верного, чем он. В этих случаях он просто не оценим и готов служить всем, чем может, а так как он страшно хитер и по-своему умен, то помощь его может быть весьма существенной. Теперь, обсуждая ваше дело, я думаю, что Чингиз-хану нет причины идти против вас, в пользу турок. Во-первых, турок он терпеть не может и не боится, тогда как русских он хотя тоже ненавидит, но очень трусит и заискивает перед ними, особенно теперь, ввиду могущей быть войны. Во-вторых, от турок он ничего особенного ждать себе не может, не только никаких выгод, но даже и порядочных подарков, русские же ему могут к тем подаркам, которые вы везете, прислать еще столько же. Наконец, услуживая России против турок, он ничем не рискует, в обратном же случае, напротив, риск его очень велик; Россия мимоходом может захватить его ханство и стереть его самого с лица земли. Из всех этих соображений выходит, что Чингиз-хану нет никакого расчета не быть для вас верным и преданным союзником и помощником. По-моему, генерал очень умно поступил, послав вас в Турцию через Персию; тут вы проедете, не возбудив ни в ком никакого подозрения, тогда как на русско-турецкой границе, я думаю, турки, при всей своей бес-

печности, глядят в оба.

– Вы правы. На русско-турецкой границе теперь очень опасно. Недавно один абасгельский армянин хотел пройти в Каре по своему личному делу; турки приняли его за шпиона и, недолго думая, повесили на телеграфном столбе!

– Бедняга! – вздохнул настоятель. – Еще одна жертва и далеко не последняя!

– Без жертв никакое дело не обходится. У русских есть хорошая поговорка, смысл которой таков: когда рубят дерево, остаются щепки.

– Это все так; но вопрос, принесут ли все эти жертвы ожидаемую пользу?

– Надо надеяться!

– Аминь! Теперь скажите мне, пожалуйста, что это за человек пришел с вами? По виду он не армянин и не татарин, на настоящего русского он тоже не похож.

– Хорошенько я и сам не знаю. Я его спрашивал, но, очевидно, он не хочет говорить всей правды. Называет себя Иваном, русским беглым солдатом, по-армянски не понимает ни одного слова, а по-татарски говорит недурно, хотя и не по-здешнему, а как говорят в окрестностях Тифлиса. Я его встретил недалеко уже от границы, в Аладжинском ущелье, едва живого от голода и усталости. После того как я его накормил, он стал проситься со мной в Персию; сначала я было

не хотел его брать, но, увидав, как он замечательно хорошо стреляет из ружья, рассудил, что на случай встречи с курдами-разбойниками он мне может быть очень полезен, и согласился взять его с собой. Вот все, что я могу сказать вам об этом человеке.

– Но в Турцию, надеюсь, вы не собираетесь его везти? Там он может возбудить подозрение, а к тому же, кто его знает, что он за человек; чего доброго, еще выдаст вас туркам!

– Нет, само собой понятно, в Турцию мне нет причин его брать. Я думаю предложить Чингиз-хану взять его в число своих сарбазов; он может даже сделать его султаном и поручить учить своих ослов настоящему военному искусству...

– Или облить керосином и сжечь!

– Если захочет сжечь, пусть жжет, мне все равно и не я, конечно, буду перечить в этом Чингиз-хану. Пусть делает с ним, что хочет!

– Насколько я могу судить, он не из простых, – заметил настоятель, – интересно бы знать, зачем он бежал из России, и что он там наделал?

– Ну, это едва ли возможно, так как он, хотя и молод, но не из болтливых: язык держит хорошо на привязи.

– Стоит захотеть, – сквозь зубы, как бы про себя процедил настоятель, – а то всякий язык можно развязать. В прошлом году я приказал захватить маль-

чишку курда, надо было кое-что допытаться от него; на что уже упрямый был бесенок, целый день мучались, а к вечеру и он заговорил. Все рассказал, что нам надо было!

– Что же вы с ним сделали потом? – заинтересовался Мнацеканов. – Неужели выпустили?

– Как можно выпустить! Он бы пошел родным своим рассказал, те бы мстить начали. Нет, мы просто его придушили и закопали там же в подвале. Никто и не узнал!

– Так с ними, злодеями, и надо! – воскликнул Мнацеканов. – Курды – наши злейшие враги!

IV. В Судже у грозного Чингиз-хана

Селение Суджа, столица полунезависимого разбойничьего ханства Суджинского и резиденция его сурового властелина Чингиз-хана, расположена частью в долине, частью по склонам гор, окружающих со всех сторон это селение, которое персияне именуют, впрочем, городом. Оно состоит из целого ряда беспорядочно разбросанных и нагроможденных друг над другом каменных хижин, с плоскими земляными крышами и грязными, узенькими двориками.

Среди этих жалких лачуг, наполненных голодными, полунагими, невозможно грязными ребятишками, праздными, ленивыми мужчинами и отупевшими от непосильной работы и грубого обращения женщинами, горделиво возвышаются, утопая в зелени роскошных садов, белоснежные, высокие, поместительные дворцы, как самого владыки Суджей Сардаря Чингиз-аги, так и ближайших его родственников, носящих одну общую фамилию ханов Суджинских.

Дворцы эти, украшенные колоннадами, причудливыми арабесками на фронтонах и по карнизам, с целым рядом огромных окон из мелких разноцветных

стекло, выглядят особенно величественно и роскошно по сравнению с робко жмущимися вокруг них жалкими мазанками.

Была уже ночь, когда Карапет с Иваном прибыли в Суджу и остановились в одном из караван-сараяев, где им отвели клетушку, похожую на каменный ящик, с единственной выходной дверью и узким, заделанным железной решеткой окном. Клетушка была совершенно пуста и лишена какой бы то ни было мебели и убранства. На каменном полу, поверх камышовых циновок, были разостланы изодранные, невозможно грязные паласы, в изобилии населенные всевозможными насекомыми. Надо иметь шкуру туземцев, чтобы заснуть в таком клоповнике.

За особую плату Карапету Мнацеканову караван-сарайчик притащил ситцевый засаленный тюфяк, набитый хлопком, и ситцевые же жиденские продолговатые подушки. О постельном белье, наволочках, простынях, разумеется, никто и понятия не имел; все это заменялось засаленным ситцевым стеганым одеялом. Что же касается Ивана, то ему пришлось лечь прямо на полу, подложив свою черкеску под голову. Несмотря на всю свою усталость, он, однако, не в состоянии был уснуть; несметные легионы всевозможных паразитов с жадностью атаковали его, да, к довершению всего, и беспощадная мошка давала

себя чувствовать. Все тело его горело, как в огне, и нестерпимо зудело, он ворочался с боку на бок, близкий к отчаянию, и с завистью поглядывал на Мнацеканова, беззаботно и крепко спавшего, несмотря ни на какие беспощадные нападения, на своем грязном до отвращения матрасике. Только под утро удалось Ивану забыться беспокойным тревожным сном, да и то ненадолго, так как Мнацеканов проснулся очень рано, чтобы идти во дворец Чингиз-аги, причем приказал и ему следовать за собой.

Молчаливый слугитель в темно-синем казакине, застегнутом только на одну верхнюю пуговицу, с изображением на ней Льва и Солнца, и в конусообразной мерлушковой папахе, на которой красовался медный герб того же Льва и Солнца, провел их в приемную комнату. Иван остался за дверями, а Мнацеканов прошел вперед и присоединился к группе лиц, сидевших полукругом посредине. Тут было два персидских купца в верблюжьих халатах и папах, мулла, седой, как лунь, в белоснежной аббе и белой огромной чалме, тучный, чернобородый сеид и в темно-синей чалме и синем же халате, и худой, как скелет, оборванный дервиш с полупомешанными глазами крайне нервный, точно одержимый пляской св. Витта. Остальные принадлежали, очевидно, к свите Сардаря одеты были в одинаковые темно-синие полукафтаны, с коасными

кантами и с медными гербовыми пуговицами. Кафтаны эти, с широкой юбкой на сборках и непомерно высокой талией, застегивались только на одну верхнюю пуговицу; под кафтаном были надеты шелковые, черные с цветочками или горошками бешметы; люстриновые черные шаровары навывпуск и шерстяные разноцветные джурайки дополняли костюм. На головах они носили мерлушковые папахи с медным гербом, на котором был изображен Лев с обнаженным мечом в поднятой передней лапе – из-за спины Льва виднелся круглый диск Солнца с исходящими от него во все стороны лучами.

Вся эта компания сидела чинно, поджав под себя ноги, сложив на животах руки, и хранила глубокое молчание; только купцы время от времени перебрасывались между собой полупшепотом отрывистыми фразами. Мнацеканов, перед тем как усесться, отвесил всем низкий поклон, на который ему ответили плавным наклонением головы, причем каждый концами пальцев коснулся своего лба и груди; только полумудрый дервиш вместо приветствия оскалил зубы и соорудил какую-то нелепую гримасу.

Опустившись на ковер, Мнацеканов внимательно оглядел комнату, показавшуюся ему довольно невзрачной. Низкий бревенчатый потолок, обмазанные гажей стены, каменный пол, застланный стары-

ми паласами и отсутствие всякой мебели – делали ее вовсе не уютной, похожей скорее на сарай, чем на жилое помещение. Единственным украшением этой комнаты было большое окно во всю наружную стену; оно помещалось в решетчатой узорной раме, составленной из бесчисленного множества цветных стеклышек, разных величин и рисунков.

Самое окно, настолько большое, что в него мог свободно пройти человек, не склоняя головы, не отворялось ни наружу, ни во внутрь, а раздвигалось на две половинки. Из него открывался красивый вид на ханский сад. Особенно изящна была передняя часть сада, примыкавшая к дому. Правильно распланированные дорожки были расчищены и усыпаны золотистым песком; на расположенных между ними ярко-зеленых лужайках красовались пышно разросшиеся кусты белых, алых, желтых и черно-малиновых роз, вокруг которых шли клумбы из самых разнообразных цветов. Фруктовые деревья, персики, алыча, курага и кизил были аккуратно подстрижены причем некоторым из них приданы причудливые формы птиц и каких-то чудовищ. Два огромных густых нарбанта, подобно гигантским шатрам, стояли посредине, далеко распространяя вокруг себя прохладную тень, под сенью которой робко журчали небольшие фонтанчики в мраморных бассейнах, наполненных холодной, про-

зрачной, как кристалл, водой. За садом темнел густой парк, тоже весьма аккуратно содержимый. Мнацеканову, слишком хорошо знакомому с тем, насколько персиане по природе своей ленивы и крайне неряшливы, с каким физическим отвращением относятся они ко всякому порядку и чистоте, просто не хотелось верить собственным глазам, глядя на этот удивительный порядок, царивший в ханском саду. Он искренно недоумевал, какая волшебная сила могла создать такой парк в этой глухой, дикой стране. Впрочем, если бы он мог проникнуть в глубь парка, где на небольшой полянке молча и угрюмо работало десятка полтора мушей, он бы воочию увидел эту самую волшебную силу. Она представилась бы ему в виде высокого толстого господина с рыжей бородкой и красным веснушчатым лицом, одетого в чечунчовый просторный костюм и пробковый шлем, с обвязанным вокруг тульи зеленым вуалем. В руках господин в чечунче держал толстую узловатую палку. По тому, как рабочие пугливо косились на эту палку всякий раз, когда обладатель ее, медленно прохаживавшийся взад и вперед в сторонке, приближался к ним, можно было безошибочно заключить, что они в достаточной степени знакомы со свойствами этой палки, крепкой и упругой, как сталь.

Действительно, мистер Джон, или, как его звали в Суджах, Джон-ага, главный садовник Чингиз-хана,

даже по персидским понятиям считался человеком крайне жестоким. С отданными в его распоряжение рабочими он обращался хуже, чем со зверями. Самым мелким наказанием у него считалось немилосердное избиение палкой, преимущественно по теме-ни, после которого человек несколько дней ходил как в тумане, не будучи в состоянии шевельнуть головой от нестерпимой боли. За более крупные проступки провинившегося спускали в глубокую яму и держали там без пищи и воды по нескольку суток. При нестерпимой духоте и жаре, царившей в этом своеобразном карцере, переполненном к тому же земляными клопами и другими насекомыми, это наказание влекло за собой тяжкое заболевание и даже смерть. Когда же, по мнению Джон-аги, и такое наказание было недостаточным, он шел к Чингиз-хану с жалобой, результат которой был всегда одинаков: – воздушное путешествие на дно пропасти из амбразуры углового окна ханского дворца.

При таких условиях не было ничего удивительного, что сад Чингиз-хана мог считаться настоящим земным раем по своей чистоте и благоустройству.

Прошло около часу. Сидевшие в приемной комнате продолжали терпеливо дожидаться, перебрасываясь между собой короткими фразами и изредка взгляды-вая на массивную дубовую дверь, ведущую во внут-

рение покои.

Вдруг она стремительно распахнулась, и в предшествии двух нукеров в комнату вошел высокий плечистый старик в кафтане шоколадного цвета из дорогого английского сукна, с высокой Талией, застегнутом на одну верхнюю пуговицу, в темно-зеленом шелковом бешмете, каждая пуговка которого была из золота с вставленным в нее маленьким бриллиантом. Герб на шапке тоже золотой, на левой стороне груди сверкала, переливаясь тысячью огней, большая бриллиантовая звезда Льва и Солнца. Все десять пальцев были унизаны массивными золотыми кольцами с драгоценными камнями. На шее была надета толстая часовая цепочка, перехваченная аграфом из замечательно красивой и драгоценной бирюзы.

Лицо вошедшего было угрюмо, покрыто множеством морщин и носило на себе выражение холодной непроницаемости. Глядя на это лицо, на эти полуприкрытые длинными ресницами загадочные глаза, нельзя было решить, что думает этот человек, но в то же время весь он был как бы пропитан жестокостью, неумолимой, необузданной; той восточной, бесстрастной и холодной жестокостью, какую ознаменовали себя в истории азиатские владыки, устраивавшие пирамиды из сотен тысяч голов своих пленников и наполнившие мешки человеческими глазами.

Войдя в комнату, Чингиз-хан быстро окинул присутствовавших тяжелым взглядом, на мгновение сверкнувшим из-под нависших бровей. Небрежно кивнув в ответ на низкий и почтительный, чуть не земной поклон своих гостей и подданных, он медленно опустил ся на подсунутую одним из нукеров подушку.

Кроме Карапета Мнацеканова, остальных всех Чингиз-хан видел уже не в первый раз, а потому, не обращая на них внимания, сосредоточил на армянине свой упорный, тяжелый взгляд, молча выжидая, что он скажет ему. Тот однако продолжал молчать, почтительно сложив на груди руки и слегка наклонив голову.

– Кто ты, откуда и зачем? – обратился, наконец, к нему с вопросом Чингиз-хан.

– Я русский подданный, зовут меня Карапетом Мнацекановым, светлейший хан, а приехал я к тебе по особо важному делу, о котором могу сказать только наедине.

При этом ответе Чингиз-хан еще пристальней заглянул в глаза Мнацеканову и, подумав с минуту, хлопнул в ладоши. На этот призыв из-за дверей появился поразительной красоты мальчик, лет двенадцати, с нежным, женственным личиком и огромными томными глазами. Он наклонил свое ухо к лицу Чингиз-хана, и тот шепнул ему что-то, после чего маль-

чик подошел к Карапету и жестом пригласил его следовать за ним.

Выйдя из комнаты, мальчик повел Мнацеканова крытой стеклянной галереей с окнами в сад; галерея выходила на небольшой дворик, обнесенный высокой стеной. За этим двориком возвышалась красного кирпича башенка с винтообразной лестницей внутри. Поднявшись по лестнице ступеней пятьдесят, они очутились в совершенно круглой комнате, похожей на фонарь, стены и потолок которой состояли из деревянных резных рам с разноцветными стеклами. Пол комнаты был устлан коврами, а у большого окна лежало два бархатных матраца, составлявшие единственную мебель, если так можно назвать, этой комнаты.

Окно, как и большинство окон в дворцах персидских ханов, было раздвижное и похоже скорее на дверь, чем на окно, и перед ним был устроен небольшой висячий деревянный балкончик.

Пригласив Карапета сесть на один из матрацев, мальчик слегка кивнул головой.

Оставшись один, Мнацеканов от нечего делать вышел на балкон оглядеться.

Дворец Чингиз-хана стоял на горе, причем задний фасад с прилегающим к нему садом и парком обращен был к отлогой ее стороне, задняя же стена, где помещалась башня, выходила на противоположную

сторону горы, причем стены здания, сливаясь с обрывом скалы, составляли с нею как бы одну общую отвесную стену.

С чувством невольного страха заглянул Карапет через перила вниз. Под ним зияла глубокая пропасть. Красновато-желтые камни, в хаотическом беспорядке набросанные друг на друга, лежали в вечном покое, палимые жгучими лучами солнца. Кругом была мертвая пустыня: ни одного живого существа, ни малейшего движения, ни одного звука. Только под самой площадкой балкончика на остром выступе скалы молчаливо копошилось тесной кучкой несколько штук темно-бурых, белоголовых, безобразных грифов. Сначала Мнацеканов долго не мог понять, что они там делают, но, взглядевшись пристальней, с ужасом рассмотрел распростертый внизу на камнях труп человека, лежащего навзничь. Лицо трупа было истерзано когтями и клювами, ребра обнажены, кругом чернели засохшие лужи крови. Несколько поодаль белела другая груда человеческих костей; такие же кости, очевидно, растасканные хищными птицами и животными, виднелись то там, то здесь по всему каменистому пространству этой долины смерти.

Мнацеканов с омерзением отвернулся и поспешил с балкончика в комнату, где навстречу ему появился тот же мальчик с подносом в руках, на котором стояла

крошечная чашечка крепкого кофе, стеклянная вазочка с вареньем, небольшая медная миска, до краев наполненная душистой, сладковатой, холодной, как лед водой, и блюдечко с приторными сладкими персидскими конфетками из сахара, муки и имбиря.

– Буюр, ага! – тихим, вкрадчивым голосом произнес мальчик, ставя поднос на ковер перед Мнацекановым. Хотя Карапету после только что виденного им зрелища было и не до еды, но отказаться от угощения он не мог, оскорбив тем хана, а потому ему ничего не оставалось иного, как рассыпаться в благодарностях.

– Чох-саол, чох-чо-х-саол, – произнес он несколько раз, приложив руку к сердцу и принимаясь за кофе.

Не успел он выпить первой чашки, как в комнату неслышными шагами вошел Чингиз-хан и, приблизившись к окну, опустился на матрац. Мальчик тотчас же подал ему кофе и кальян, после чего исчез за дверями, плотно прикрыв их за собой.

V. Политика

– Ну, в чем твое дело? – далеко не дружелюбным тоном произнес Чингиз-хан, в упор глядя в лицо Карапету и затягиваясь дымом кальяна.

– Я, светлейший хан, к тебе от генерала с письмом, – Карапет назвал одного из славных тогдашних боевых имен Кавказа, – и подарком. Когда ты прочтешь письмо, твоя мудрость сама изъяснит тебе то дело, за которым я прибыл!

Говоря таким образом, Мнацеканов достал из-за пазухи завернутый в кусок белого сафьяна пакет с тремя печатями и подал его хану, затем из висевшей на боку сумки достал небольшой футляр, бережно завернутый в толстую глянцевитую бумагу и перевязанный красной ленточкой. Сорвав бумагу, он самый футляр положил к ногам хана.

Чингиз-хан, стараясь казаться равнодушным, медленным, ленивым жестом взял футляр в руки, но когда он раскрыл его, выражение алчной радости, помимо его воли, на мгновение мелькнуло в его лице. Впрочем, он тут же поспешил тщательно затаить в себе свои чувства и с напускным бесстрашием, но тем не менее весьма внимательно принялся разглядывать великолепные золотые часы с изящной ко-

роной из мелких бриллиантов на верхней узорчатой крышке. Сосредоточенно нахмуря брови, Чингиз-хан долго вертел часы в руках, то и дело прикладывая их к уху и внимательно прислушиваясь к звонкому, мелодичному бою, открывал и закрывал массивные крышки и подолгу разглядывал серебряный арабский циферблат со стрелками в виде змеек с бриллиантовыми головками.

Как ни старался хитрый полудикарь скрыть впечатление, произведенное на него подарком, Карапет мог ясно заметить, насколько он остался им доволен, потому счел за лучшее не отдавать теперь же другого подарка – двух револьверов, оставив их на после, до другого раза.

Насмотревшись вдоволь на часы, Чингиз-хан бережно уложил их в футляр и, спрятав в бездонный карман своего кафтана, принялся за чтение письма.

Письмо было написано по-татарски на изящном азербайджанском наречии и, как все восточного характера письма, начиналось многочисленными добрыми пожеланиями и всякого рода учтивостями. По мере того как Чингиз-хан читал длинное и обстоятельное послание генерала, лицо его, и без того всегда суровое, делалось все угрюмей и озабоченней. Некоторые строки письма он перечитывал по два раза, как бы желая лучше запечатлеть их в своей памяти.

– Генерал хочет, чтобы я помог тебе пробраться в Турцию, дал возможность пожить там недели с две и затем опять вернуться обратно, – заговорил Чингиз-хан после непродолжительного молчания, последовавшего за прочтением письма, – хорошо, я согласен. Я отправлю тебя в Турцию как свое доверенное лицо, персидско-подданного, для закупок разных предметов. У меня там, в Санджанском вилайете, есть хороший друг Зафэр-паша; я пошлю ему с тобой письмо и попрошу его помочь тебе купить нужные мне товары. Я приступаю к перестройке своего дворца, тебе надо будет приискать мне хороших мастеров, для этого придется много поездить туда и сюда; хороших мастеров мало, а я строг, и мне угодить трудно... Понимаешь?

– Понимаю, светлейший хан. Это все, что только мне нужно от твоей милости. Остальное уже мое дело!

– Отлично! Итак, ты можешь ехать, когда хочешь, я дам тебе надежных проводников, храбрых и молчаливых. Письмо Зафэр-паше будет готово сегодня вечером. Когда солнце зайдет, приходи к моему секретарю Эмин-Эфенди и сообщи ему час твоего отъезда, он уже распорядится. Чем меньше времени пробудешь ты в Судже и чем скорее проедешь в Турцию, тем будет лучше; надо спешить, пока люди не развяжут путь

своим языкам... Понял?

Мнацеканов в знак согласия почтительно наклонил голову. На несколько минут воцарилось молчание.

– Итак, война будет, – заговорил снова Чингиз-хан, – глупые же советчики у Пади-Шаха, если не сумели и не захотели отговорить его от такого безумия – воевать с русскими. Он не успеет свершить трех намазов, как русские войдут в Константинополь!

– На все воля Аллаха! – осторожно заметил Мнацеканов, не вполне доверяя искренности слов Чингиз-хана.

– Конечно, воля Аллаха первое дело, – усмехнулся тот, – но почему-то всегда так бывает, что воля Аллаха склоняется постоянно на сторону того, у кого войска больше и обучены они лучше. Когда волк схватывается с лисицей, то Аллах каждый раз помогает первому, и он легко разрывает лисицу зубами, несмотря на то, что она, по всей вероятности, не менее усердно молится Аллаху о даровании ей победы. С турками будет то же, что и с лисицей. Аллах, наверно, не будет на их стороне!

Опять наступило молчание. Чингиз-хан, очевидно, хотел заговорить о чем-то, но не находил подходящей нити для начала разговора, а Мнацеканов нарочно и упорно молчал, избегая расспросов, на которые ему было бы трудно или совершенно невозможно отве-

чать.

– Скажи, почему русские мной недовольны? – решил, наконец, Чингиз-хан. – За что мне постоянно шлют угрозы и жалуются на меня Шах-ин-Шаху? Разве я плохой сосед?

– Помилуй, хан, откуда могут происходить такие мысли, – всплеснул даже руками Карапет, – разве мы все не знаем, насколько твоя светлость истинный друг русских? Но если позволишь сказать правду, твои курды действительно причиняют много хлопот и беспокойства приграничным жителям в России. Они то и дело целыми шайками переправляются на ту сторону, грабят селения, угоняют скот, а нередко совершают и убийства!

– Ну, это еще кто кого, – мрачно произнес Чингиз-хан, – если суджинские курды и нападают на пограничных жителей России, то ведь то же делают и русские курды. Разве они не переходят на нашу сторону, не нападают на моих людей и не грабят их? А казаки? Сколько перестреляли они моих поселян, татар? Никто не смеет подойти днем к Араксу поить скот, – казаки ради потехи стреляют не только в мужчин, но даже и в женщин, и детей!

– Почему хан не напишет об этом генералу? – спросил Мнацеканов.

– А разве мне поверят? Про меня распустили мол-

ву как о разбойнике, будто бы я делюсь с курдами награбленным добром, и каждую минуту готов сам совершить набег на русские кордоны. Поэтому-то на все мои жалобы глядят как на ложь и клязу!

Он сердито замолчал и с ожесточением принялся пыхтеть кальяном.

Карапет молчал. В словах хана была доля правды. Казаки, а в особенности пластуны, занимавшие в те времена кордонную пограничную линию, действительно мало церемонились с «проклятыми бусурманами» и при всяком удобном случае не прочь были подстрелить «переклику», мало интересуясь тем, «мирные» они или «не мирные». Офицеры в этом случае нередко сами показывали пример жестокости. Так, например, про одного пластуна-офицера рассказывали, будто бы он поставил на крыше своего поста прицельный станок и, точно измерив различные расстояния на противоположном берегу, устраивал для своего развлечения стрельбу по появившимся на той стороне курдам и персам. Сидя на стуле и положив винтовку на станок, он, ориентируясь на измеренные заранее предметы, ставил правильный прицел и без промаха «подрезывал» намеченные им жертвы. Впрочем, справедливость требует сказать, что, по-видимому, беспричинная жестокость имела свое весьма резонное основание. Разбросанные далеко друг от

друга малочисленные казачьи пикеты и кордоны жили под постоянной угрозой быть вырезанными персиянами и курдами и только террором могли сдерживать кровожадность и фанатизм зарубежных дикарей. Случаи нападения и поголовного вырезывания целых казачьих постов были не редкость. Конечно, после всякого такого происшествия между соседями разрывалось бесконечное кровомщение. Одна сторона жестоко мстила другой, и разобрать тогда, на чьей стороне была правда и кто, в сущности, является зачинщиком, представлялось положительно невозможным. С усилением русской власти на границе, а затем с передачей охраны границы Пограничной Страже отношения между двумя пограничными народностями сделались гораздо лучше.

С каждым днем растет между ними доверие, и теперь уже жизнь на этих далеких окраинах во многих местах не более опасна, чем в центральных губерниях России.

– Что это за человек с тобой? – спросил Чингиз-хан, уже успевший своим всезамечающим глазом увидеть Ивана. – Он не армянин?

– Нет, это русский беглый солдат. Я его встретил почти на самой границе! – ответил Мнацеканов и тут же рассказал Чингиз-хану все, что сам знал о человеке, прозванном им Иваном.

Чингиз-хан слушал внимательно, не проронив ни одного слова.

– Ты что же, хочешь взять его в Турцию?

– Нет, ага, это невозможно! В Турции он легко возбуждает подозрение, там сейчас же угадают в нем русского и примут нас за шпионов. Я хотел предложить твоей светлости принять его в число твоих нукеров, он может даже обучать твоих сарбазов военной службе на русский манер; насколько я успел понять, он храбрый и умный человек!

– Что же, пожалуй, я возьму его, – в раздумье произнес Чингиз-хан, – прикажи привести его сюда, я поговорю с ним, а сам можешь идти теперь. Помни же, вечером приходи к Эмин-Эфенди, он передаст тебе все, что нужно этот. Прощай!

На этот раз хан милостиво протянул руку Мнацеканову, который поспешил осторожно и подобострастно пожать концы ханских пальцев.

VI. Ренегат

– Кто ты такой? – грозно насупя брови, с величественной небрежностью спросил Чингиз-хан, окидывая пристальным взглядом стоявшего перед ним Ивана.

– Беглый солдат, унтер-офицер! – ответил тот по-татарски совершенно спокойно.

– Где ты выучился по-татарски? Ты ведь не мусульманин?

– Нет, я русский. Но там, где я жил, многие русские умеют говорить по-татарски.

– А где же ты жил?

– Недалеко от Тифлиса.

– Зачем ты бежал из полка?

– Этого я не скажу. Я, конечно, мог бы соврать тебе, хан, и наговорить сказок, но врать я не люблю, а правду сказать тоже не могу, мне это слишком тяжело, а для тебя безразлично знать или не знать причину, заставившую меня бежать из России!

Чингиз-хан; приученный к раболепству, вовсе не ожидал такого смелого ответа. Он вспылал, и глаза его бешено сверкнули.

– Собака! – закричал он, топнув ногой. – Как ты смеешь отвечать мне подобным образом? Видишь это ок-

но, – он указал пальцем на окно с балкончиком, с которого перед тем смотрел Карапет, – поди взгляни, сколько трупов валяется внизу, мне стоит сделать одно движение бровью, и ты будешь лежать там же, как падаль!

– Конечно, ты волен убить меня, – с тем же невозможным хладнокровием ответил Иван, не удостоив рокового окна взглядом, – но тогда, стало быть, все, что я слышал про тебя, вранье, пустая бабья болтовня, и ты вовсе не таков, каким тебя описывают. Когда я шел к тебе, мне говорили про тебя как про самого умного и проникательного человека в Персии, тебя называли орлом, видящим насквозь каждого человека, с которым ты встречаешься, и что же, – ты с первых же слов собираешься выкинуть в окно, как ненужную тряпку, человека, могущего быть тебе весьма полезным, за которого, если бы ты отдал всех твоих глупых нукеров, и то было бы мало!

– Чем же ты можешь быть мне уже таким полезным? – с иронией в голосе, но тем не менее пораженный его смелостью, спросил Чингиз-хан.

– Сделай меня твоим телохранителем и дай мне команду человек сто, я тебе приготовлю такую лихую, хорошо обученную сотню, какой нет у самого шаха. Пусть тогда осмелится кто-нибудь взбунтоваться против тебя, с одной этой сотней можно будет разнести

тысячу человек!

Чингиз-хан молча и пытливо глядел в лицо Ивана, обдумывая про себя его предложение. Тот стоял, смело и гордо подняв голову, не опуская глаз под тяжелым, недобрый взглядом сардаря.

– Ты христианин, – неопределенно произнес, наконец, Чингиз-хан, – могу ли я тебе верить? Если хочешь заслужить мое доверие, сделайся правоверным, и тогда увидим; в противном случае ступай с моих глаз и знай, если русские потребуют твоей выдачи, я прикажу тебя связать и отправить на ту сторону. Понял?

– Бог один, и у мусульман, и у христиан, – вера разная, – ответил Иван, – если я пришел к тебе, хан, то отныне твоя страна – моя страна, твоя вера – моя вера, твои обычаи – мои обычаи. Я ушел со своей родины, чтобы никогда не возвращаться назад, я порвал с ней окончательно. Если ты, хан, не примешь меня, я уйду в Турцию!

Чингиз-хану, очевидно, понравился ответ Ивана, хмурое лицо его на мгновение прояснилось.

– Хорошо, – сказал он, – оставайся. Отрекись от гяуров, стань добрым мусульманином, и я приближу тебя к себе, я дам тебе дом, землю, жену, ты не будешь нуждаться, но помни, – и в голосе хана зазвучала зловещая нотка, – вся твоя жизнь, все твое дыхание, голова и сердце – мои! Ты должен знать толь-

ко меня, и только на меня должны устремляться твои
очи! Что бы я ни приказал тебе, ты должен исполнять
не колеблясь, как рука исполняет волю головы, ина-
че – смерть, лютая, жестокая смерть! Запомни хоро-
шо мои слова. А теперь иди к моим нукерам, скажи,
что я прислал тебя, и жди дальнейших приказаний!

VII. Через много лет

Большое селение Шах-Абад красиво раскинулось по склону высокого холма, спускающегося отлогими террасами к самой реке Араке. Вблизи крайне безобразные, слеplенные из грязи и кое-как побеленные с земляными, всегда полуразрушенными крышами и черными дырами вместо окон, жалкие лачуги селения издали благодаря главным образом густой зелени садов выглядят очень живописно. Бесчисленное множество ручейков сверкая резвыми струями, прихотливо бегут по выложенному камнем руслу и то пропадают под землей, то снова вырываются наружу и наконец соединяются в разбросанных по разным концам селения водоемах. На самой вершине холма, в стороне от прочих построек, расположен целый ряд домиков, по внешнему своему виду и архитектуре напоминающих европейские строения. Высокий каменный фундамент, гладкие кирпичные стены под штукатурку, большие окна с деревянными рамами, трубы на крышах и, наконец, просторные, высокие входные двери, с медными скобами и внутренними замками, а главное – общее строгое однообразие всех построек ясно говорили всякому, что в этих зданиях помещается какое-нибудь казенное учреждение. Высокая мачта с

развевающимся на ее верхушке флагом окончательно подтверждала это предположение.

Действительно, здания эти вмещали в себе шахабадскую таможенную с пакгаузом, канцелярией, квартирами чиновников и казармой таможенных солдат. Перед главным домом, где помещались канцелярия и находящаяся рядом с ней квартира управляющего таможенной, был раскинут не особенно большой, но чрезвычайно густой и тенистый сад, изрезанный по всем направлениям дорожками, вдоль которых сплошной стеной шли розовые и гранатовые кусты. Под стенами дома был разбит красивый палисадник, со множеством чрезвычайно разнообразных цветов, а в противоположной стороне у задней стены живой изгороди виднелся тщательно возделанный огород. По середине сада был устроен каменный бассейн, доставлявший всему саду обильное орошение. В стороне от бассейна, обращенная к нему входом, возвышалась под сенью двух густых тутовых деревьев круглая конусообразная парусиновая палатка, внутри которой стояли небольшой стол, тахта, застланная ковром, и два-три венских стула. Бока палатки с двух противоположных сторон были откинута, отчего получалась небольшая сквозная тяга воздуха, немного умерявшая зной: несмотря на конец августа и на то, что день склонялся к вечеру, жара стояла нестерпимая.

Простенькое белое кисейное платье с открытым воротом плотно облегалo ее стройную, немного худощавую фигуру. Поглощенная всецело своим писанием, девушка не подымала головы и только изредка досадливо отбрасывала рукой со лба волнистую прядь волос, упрямо лезшую ей прямо в глаза. Она, очевидно, очень торопилась. Рука ее быстро и нервно мелькала, выводя мелкими буквами строчку за строчкой на странице толстой переплетенной тетради. Закончив страничку, она тщательно присушила ее листком протечной бумаги и только хотела перевернуть, чтобы продолжать дальше, как из дома вышла молодая, полная дама без шляпы, но под зонтиком.

– Лидия, а я к тебе! – крикнула молодая дама, сходя по ступенькам в сад, – в комнатах просто нет возможности сидеть, так душно. В палатке, наверно, гораздо прохладней.

– Милости просим, – ответила девушка, – здесь действительно еще сносно, с грехом пополам сидеть можно, не рискуя быть совершенно испеченной.

– Господи, – искренно изумилась молодая женщина, входя в палатку, – ты в такую адскую жару находишь возможным еще писать, не понимаю... я так просто пальцем не могу шевельнуть. Поверишь, мне даже думать жарко.

Лидия весело расхохоталась.

– Положим, Оля, ты всегда была немного Обломовым, даже барышней, а теперь, сделавшись мадам Щербо-Рожновской, совершенно обабилась.

– Фуй, «обабилась», кэль выражаясь, – шутливо поморщилась Щербо-Рожновская, – а еще институтка! Ну, нечего сказать, изящному *façon de parler* {манерам (*фр.*)} учат в институтах нынешнего времени!

– Ах, Боже мой, – институтка нынешнего времени; подумаешь, сама давно кончила! У нас, наверно, еще и парту-то, на которой ты сидела в выпускном классе, перекрасить не успели.

– Нет, друг мой, – слегка вздохнула Ольга, – наверно, перекрасили и не один раз. Это только так кажется будто бы недавно, а подсчитай-ка: – почти пять лет прошло, как я замужем и живу на Закавказье, да дома в девушках около года, и выходит без малого 6 лет со дня моего выхода из института. Время летит, как птица; не заметишь, как начнешь стариться, особенно при такой однообразной, монотонной жизни в таком убийственном климате. Обидней всего то, что состаришься, не выдавши молодости, среди пошлости и скуки провинциального прозябания. Впрочем, нашу трущобу даже и провинцией нельзя назвать, просто-напросто безлюдная глушь, дикая пустыня и ничего больше!

– Ну, полно, что за мрачные мысли! По-моему, здесь жизнь вовсе не так уж однообразна, как ты говоришь; что касается меня, то, признаюсь, я с большим интересом приглядываюсь ко всему окружающему и нахожу как людей, так и местный быт заслуживающими большого внимания. Каждый день мне приносит массу новых, оригинальных впечатлений; одни здешние типы чего стоят!

– Ах, полно, – с досадой перебила Лидию Ольга, – всех этих впечатлений хватит не более как на один год, потом все это так надоест, что глаза не глядели бы. Ты думаешь, я, когда в первый раз приехала на Закавказье, не испытала того же? Испытала в лучшем виде, – при взгляде на верблюда в умиление приходила, а на всякого пройдоху в черкеске смотрела, как на какого-нибудь Бей-Булата и Хаджи-Абрека; духанциков, армяшек лживых, трусливых, ничтожных, принимала за черкесов... Ах, да всего и не вспомнишь! Это общая болезнь всех русских, приезжающих из центральных губерний, поэтизировать Кавказ и глядеть на него сквозь лермонтовские очки; но при дальнейшем знакомстве эта блажь скоро соскакивает, глаза проясняются, и начинаешь видеть все в настоящем его свете. <...>

– Ну, уж ты чересчур! – укоризненно покачала головой Лидия. – Тебе просто Захотелось пожить в боль-

шом городе с его увеселениями и сутолокой, оттого тебе и кажется все гадким. Ты озлобилась и на природу, и на людей, бранишь армян, бранишь татар; даже здешними русскими молоканами, и теми недовольна, а я скажу, что армяне далеко уже не так худы, как про них говорят; в них много природного радушия, гостеприимства, веселости, они чрезвычайно трудолюбивы и способны; что же касается татар, – мне в них нравится религиозность, безропотная покорность судьбе, величаявая важность во всех движениях и их беззаботность в завтрашнем дне, они истые философы, чуждые европейской меркантильности...

– Довольно, довольно, будет, уши вянут, – с явным раздражением замахала руками Ольга, – такую чепуху можно говорить только на пятый день по приезде на Закавказье, а ты уже, слава Богу три месяца живешь здесь! Вот никак не ожидала видеть в тебе такую институтскую восторженность. Впрочем, у тебя это отцовская черта. Наш отец в восторг приходил от Финляндии и находил ее самой живописной, самой лучшей страной в мире. Я только одно лето прожила там, и мне она вовсе не понравилась. Угрюмое, серое небо, тусклое солнце, голые скалы, люди точно пещерного периода, хмурые, молчаливые, обросшие мохом, с вонючими трубками в зубах... Брр...

– А где же хорошо по-твоему? Мабудь под Полта-

вой? – лукаво подмигнула Лидия.

– А то ж и взаправду, – оживилась Ольга, – разве же можно сравнить нашу чудную Украину с какой-нибудь Чухляндией или тем более с этим басурманским Закавказьем. Что ни возьми – климат ли, – превосходный; природу ли, – богатейшая; людей ли, – и люди прекраснейшие! Так вот и вижу перед собой нашего хохла: широкоплечий, богатырски сложенный, неповоротливый с виду, чудаковатый, а в сущности большая умница, природный юморист и комик, с поэтической, отзывчивой душой и железным характером, благодаря которому он вынес на своих могучих плечах татарские набеги, турецкие погромы, гнет панов-ляхов и всякие правды и неправды московских бояр, вынес и остался тем же, чем был, не изменил себе, своей самобытности. Ну, скажи сама, это ли не народ-богатырь?

Ольга говорила с увлечением. Лицо ее покраснело, а большие, томные глаза разгорелись.

Лидия не выдержала и громко и весело расхохоталась.

– Чему ты? – удивилась Ольга.

– Ну и курьезная же наша семья – как подумаешь, – отвечала сквозь смех Лидия, – во всем крайности и несообразности! Ты истая хохлушка и душой, и наружностью, тебе бы быть какой-нибудь Ганьзей Пе-

ререпенко, а ты урожденная Норден-Штраль, Ольга Оскаровна; я, твоя родная сестра, ни капли на тебя не похожая, лицом и характером настоящая шведка. Отец наш, живя в Малороссии, грезил далекой, холодной Финляндией, а мать когда ей пришлось на несколько лет переехать в Финляндию, чуть не умерла с тоски по родной Украине.

– Что ж тут удивительного, – задумчиво произнесла Ольга, – это так бывает почти всегда при смешанных браках!

– У отца жена должна была быть шведкой, и жить им следовало в Финляндии; матери нашей нужно было выйти замуж за какого-нибудь Тараса Ковтуна и не покидать своей Украины. Я вот поступила разумней, сама хохлушка, и мой Осип Петрович – тоже заправдашний хохол. Когда-нибудь под старость, как заслужим пенсию, уедем в Киевскую, Полтавскую или Черниговскую губернию, купим хуторок, да и будем пануваты!

– А я здесь останусь, на Закавказье, мне здесь нравится, влюблюсь в какого-нибудь черкесского армянина или татарского хана, и прекрасно!

– Смейся, смейся, а я, признаться, очень недовольна твоей дружбой со всеми здешними беками и ханками; мусульмане вовсе не компания нам, русским; между ними есть, конечно, хорошие люди, хотя бы,

например, наш комиссионер Али-бек, но большинство из них настоящие дикари.

– Это-то в них и интересно. На цивилизованных кавалеров я уже в Москве нагляделась и мне, право, гораздо больше нравятся сыны природы, как, например, хотя бы сыновья местного хана Тимур и Джаагир шах-абадские.

– Ты все шутишь, – уже с некоторой досадой произнесла Ольга, – а я вовсе не шучу, напротив, серьезно и убедительно прошу тебя, держи себя подальше вот от этих-то самых Джаагира и Тимура. Оба они порядочные негодяи и головорезы.

– Что же, ты боишься, как бы меня не похитили? – усмехнулась Лидия.

– Похитить не похитят, а от каждого местного татарина всегда можно ожидать всякой пакости. К тому же твое вольное обращение с ними вызывает сплетни и пересуды между чиновниками. Что за охота компрометировать себя из-за каких-то оболтусов?

– Недоставало, чтобы я стала обращать внимание на пересуды ваших чиновников и чиновниц, – капризно топнула ногой Лидия, – подумаешь, какие?

– А взаправду добрые люди кажут, гди соберутся дви бабы, там вже и ярмарка; шо таке тутотка раскудахтались?

С этими словами в палатку вошел высокий, плот-

ный мужчина лет сорока, бритый, с длинными казацкими усами, одетый в чечунчовую тужурку таможенного ведомства. Это был сам Осип Петрович Щербо-Рожновский, муж Ольги Оскаровны и управляющий шах-абадской таможней. Он только что окончил занятия и вышел в сад подышать свежим воздухом после долгого, утомительного сидения в канцелярии.

VIII. Сосед

– Да вот, Остап, – пожаловалась Ольга мужу, – все с Лидией спорю. Ну, скажи, не права я? Разве хорошо она делает, выказывая так явно свои симпатии местным татарам и армянам, особенно этим двум ханкам Тимуру и Джаагиру шах-абадским?! Она постоянно с ними гуляет, ездит с ними верхом, точно с какими-то своими пажами; в конце концов, люди Бог знает что могут подумать.

– Ну, и пусть их, на здоровье, – с капризной настойчивостью качнула головой Лидия, – очень меня это интересует!

Осип Петрович добродушно ухмыльнулся.

– Ничего, жинка, брось, дай срок, Лидии Оскаровне самой все эти господа азиаты скоро хуже горькой редьки обрыдлят. Теперь, пока внове, ее все интересует и в ином лучшем свете кажется, а приглядится – как и мы, грешные, всю эту басурманщину возненавидит.

Лидия хотела что-то возразить, но в эту минуту около калитки раздался топот лошади и чей-то симпатичный голос громко и весело крикнул:

– Можно?

– А, это вы, Аркадий Владимирович! – радостно от-

кликнулся Щербо-Рожновский. – Разумеется, можно; что за вопросы, разве не знаете, какой вы для нас всегда дорогой гость?

Говоря таким образом, Осип Петрович торопливо пошел навстречу высокому, белокурому пограничному офицеру в кителе и белой фуражке. Встретясь с ним, он крепко пожал ему руку, на что офицер с ласковой улыбкой ответил тем же, а затем подошел к дамам и вежливо поздоровался с ними. В ту минуту, когда он слегка сжал пальчики Лидии, в лице его на мгновение промелькнуло выражение затаенного, худо скрытого восхищения.

– Как кстати вы приехали, Аркадий Владимирович, – ласково улыбнулась Ольга Оскаровна, – мы сейчас будем чай пить, и вы – за компанию.

– Не откажусь. Признаться, я дома не пил!

– Ну, что нового? – спросил Щербо-Рожновский, садясь рядом и дружелюбно похлопывая Аркадия Владимировича по колену. Тот добродушно усмехнулся.

– Нового? – переспросил он, – да какие новости могут быть у нас здесь, в этой трущобе. Все то же, что и вчера, и десять – двадцать дней тому назад. Встал утром, пил чай, писал разные входящие и исходящие, завтракал, после завтрака ездил в разъезд, вернулся к обеду, отобедал, после обеда, простите, поспал немножко, затем приказал оседлать Руслана и прие-

хал к вам. Вот весь мой день. А у вас как?

– То же самое, с тою только разницей, что вместо разезда хожу в пакгауз или на паром. Да, батенька, жизнь как веретено вертится, а все на одном месте. Однообразие полнейшее. В прошлом году, вас еще не было, проезжал тут в Персию один миссионер-англичанин, заболел лихорадкой и прожил у меня дня 3–4, недурно говорил по-немецки, расспрашивал, как мы живем, что делаем, как время проводим, и когда я ему подробно рассказал о нашем житье-бытье, знаете, что он мне отчубучил? – «Вот, – говорит, – вы, русские, обижаетесь, когда мы, – понимай, Западная Европа, – не считаем вас за европейцев. Ну согласитесь сами, если бы вы были действительно европеец, могли ли бы вы жить при таких условиях, вне всякой культуры и культурных потребностей?»

– Ну, а вы что ему на это? – заинтересовался Аркадий Владимирович.

– А что я мог ему ответить? Он же безусловно прав. Вообразите себе англичанина без какого-нибудь, хоть маленького, клуба, без ежедневной почты, без церкви, без всякого развлечения, хотя бы лаун-тенниса или футбола, и при том не в течение известного какого-нибудь, заранее определенного времени, а на всю жизнь, без надежды когда-либо очутиться в лучших, более человеческих условиях, к довершению всего, по-

лучающего за все за это гроши, которых едва-едва хватает на предметы первой необходимости. Согласитесь, что это даже и вообразить себе невозможно. Ни англичанин, ни француз, ни немец – ни за что бы не согласились на подобную жизнь; мы живем и хлеб жуем и даже не находим нужным влиять на окружающих нас полудикарей в смысле их цивилизации. Вместо того, чтобы их заставить усвоить наши привычки и обычаи, мы сами снисходим до них, применяемся к их вкусам, обычаям, понятиям. Англичане в Индии, французы – в Алжире, немцы – в Камеруне продолжают жить, как жили в Лондоне, Париже, Берлине, приучая туземцев к своим привычкам, а мы, русские, как только приезжаем сюда, хватаемся за паныр, лаваш, тархун, день распределяем по мулле и об одном только и заботимся, чтобы как-нибудь не нарушить привычек туземцев, не оскорбить их религиозных взглядов, не задеть их обычаи. Какой же всему этому результат? Самый печальный и для нас самих, и для попавших нам в руки дикарей. Вот мы Закавказьем владеем более полувека, но если бы каким-нибудь чудом нас выбросили отсюда, то через год не осталось бы и следа нашего полувекового владычества, ни в чем решительно. Никто бы и не поверил даже, будто бы эта страна находилась 50 лет под управлением европейского цивилизованного государства, точно нас и не

было никогда. Да, батюшка, плохие мы, русские, цивилизаторы, и не знаю, будем ли когда-нибудь лучшими. Вот возьмите, далеко не ходить, мою прелестную Лидию Оскаровну; москвичка, хохлушка, все, что хотите, приехала на Закавказье и в восторге от всего здешнего, – ишаки – прелесть, ханки полуграмотные – души, в грязном, полоумном дервише видит что-то библейское, чуть. ли не чадру готова надеть и мусульманкой сделаться... Ну, скажите, пожалуйста, мыслим ли среди англичанок такой тип?

– Ну, вы, кажется, уже чересчур нападаете на Лидию Оскаровну, – улыбнулся Аркадий Владимирович, – я вовсе не замечаю в них такого стремления к ренегатству.

– А вы прочтите ее дневник, который она ведет со дня приезда на Закавказье, тогда и узнаете.

– А вы читали? – немного задетая за живое, спросила Лидия.

– Сам не читал, Оля говорила. Она читала.

– А со стороны Оли это очень нехорошо: если я ей доверилась и дала ей прочесть свой дневник, то она должна была держать это в секрете.

– Да я ничего особенного и не рассказывала, – начала оправдываться Ольга Оскаровна, – просто к слову сказала, что у тебя во всем проглядывает какая-то особая страсть и приверженность к туземному, да ты

этого и сама не скрываешь.

– Ну, и что же из этого! – горячо воскликнула молодая девушка, – не скрываю и не нахожу надобности скрывать. Да, мне здесь нравится, и знаете ли, главным образом, что именно нравится? Несложность и простота жизненных условий! Вы вот все, господа, взапуски браните туземцев и готовы чуть ли не под угрозой смерти навязать им европейскую культуру, а между тем отсутствие этой самой культуры и есть величайшее благо. Туземец ближе к природе и через то правдивее и прямолинейнее, чем мы – европейцы.

Здесь еще не создалась та чудовищная разница в положениях людей, какую мы видим в наших городах, ну хотя бы, например, в Москве. Здешний бедняк муша несравненно ближе и по своему образу жизни, и по своим требованиям к самому богатейшему и знатнейшему хану, чем босяк с Хитрова рынка – к князю Трубецкому или даже какому-нибудь первогильдейскому купчине, утопающим в самой изысканной роскоши. Здесь вам не случается наталкиваться на такие контрасты: в подвале, у какой-нибудь несчастной прачки умирает от истощения единственное дитя. Умирает потому лишь, что у бедной матери не только нет средств покупать ему каждый день молоко, мясо, булку, но она не в состоянии даже пригласить доктора, чтобы тот хотя бы чем-нибудь облегчил страда-

ния малютки, – а в том же доме но в бельэтаже, избалованная, раскормленная до пресыщения болонка или моська, любимица какой-нибудь знатной барыни-миллионерши, брезгливо отворачивает мордочку от чудеснейших, густых сливок, с намоченными в них бисквитами – по восемь гривен фунт. Встревоженная отсутствием аппетита своей любимицы, самодурка-хозяйка немедленно посылает горничную в карете за молодым ветеринаром; тот приезжает, глубокомысленно осматривает объевшееся животное, прописывает ему золоченые пилюли по три рубля коробка и важно удаляется, небрежно пряча в жилетный карман 5-10 руб. за визит. На негодную, дряхлую, полуслепую собачонку, долженствующую все равно не сегодня-завтра умереть от старости, тратится сумма, могущая спасти ребенка, в котором, может быть, таится зародыш гения! Ну, скажите, разве же это не чудовищно?! Разве можно желать торжества такой цивилизации?

– Ба, ба, ба, да вы, Лидия Оскаровна, совсем толстовка, – весело засмеялся Воинов, – такую нам картинку нарисовали, хоть в Крейцерову сонату включай!

Молодая девушка сделала презрительную гримасу.

– Как немного надо, чтобы прослыть толстовкой, – небрежно уронила она, – достаточно в известном случае про белое сказать, что оно бело, не серо и не жел-

то!

– Положим, не совсем так, – возразил Воинов, слегка задетый небрежностью ее тона, – на ваш пример я бы мог многое ответить, хотя бы уже и то, что рядом с барыней-собачницей, приводимой вами как пример, есть сотня других барынь, на средства и хлопотами которых существуют в той же Москве бесплатные лечебницы, приюты для сирот, богадельни для старцев и калек, о чем ваши, стоящие близко к природе, полудикари понятия не имеют. В Персии сумасшедшие ходят по воле, и когда ими овладевают припадки буйства, их бьют палками и камнями, в конце концов забивают насмерть; далее, я лично, своими глазами, видел заболевших бедняков или дряхлых старцев, беспомощно умиравших, подобно собакам, в кустах, у большой дороги, если только они не имели своего дома или хотя бы имущих родственников, так как ни больниц, ни каких бы то ни было общественных призрения там нет и не водится. Впрочем, не в этом дело и не об этом речь, а в том, что вы, Лидия Оскаровна, действительно чересчур доверчиво относитесь к туземцам, не зная их вовсе...

– Хотя бы, например, к двум здешним ханкам шах-абдским – перебил Осип Петрович, – ну, скажите сами, Аркадий Владимирович, – отнесся он к Воинову, – разве же я не прав, утверждая, что они страшная

дрянь?! Ленивые, праздные, лживые и даже вороватые, а вот Лидия Оскаровна не хочет этому верить и видит в них каких-то героев из романов Марлинского.

– Ну, уж на героев-то в духе Марлинского они меньше всего похожи, – засмеялся Воинов, – хотя бы уже в виду их позорнейшей трусости. Вы, Лидия Оскаровна, не дивитесь, что у них кинжалы по аршину длиной и все в серебре, револьверы на боку и папахи на затылке, не смотрите и на их удалое гарцевание, гарцевать-то они мастера; поглядеть, как они галопируют и джигитуют на своих красивых конях, подумашь, центавры да и только, джигиты, – но пусть-ка любящая баба с коромыслом поэнергичнее напустится на них – живо, как петухи индейские, подберут крылья и дерка зададут. Знаете, что мне здесь, на Закавказье, всегда казалось курьезным, – обратился Воинов к Осипу Петровичу, – взаимное отношение местных жителей к местным разбойникам. Между ними точно раз навсегда уговор заключен: так как вы, мол, разбойники, то мы вас обязуемся бояться. Просто смеха достойно, – пять, шесть мерзавцев являются в селение, где сотни полторы одних мужчин, поголовно вооруженных кинжалами, а у многих даже и ружья есть, и бесцеремонно грабят их, а те или проявляют баранью покорность, или, что, впрочем, редко, оказывают какое-то опереточное сопротивление, издали по-

трясают оружием, кружатся на своих клячах и не без эффекта стреляют в небо. Добро бы и разбойники-то были головорезы, а то такие же трусы. В прошлом году, в Албадже, мой разъезд из трех человек случайно наткнулся на целую шайку кочаков; солдаты ружей из-за плеч поснимать не успели, как вся шайка разбежалась во все стороны, побросав лошадей, навьюченных разной награбленной рухлядью. Некоторые из разбойников даже оружие побросали с себя: кинжалы, винтовки и пояса с патронами. В довершение всего, все они как бараны, кинулись, в паническом страхе, очертя голову, в реку, не разобрав брода, причем трое из них утонуло, а было их человек пятнадцать, по крайней мере. Ужасная дрянь; мирные же татары даже таких боятся. Поверьте, если в то время, когда вы ездите кататься в сопровождении этих самых ханков шах-абадских, вам встретится один хотя бы самый замухристый кочак, даже без оружия, при одной дубине, ваши кавалеры, как зайцы, дадут стрелка, забудут и о своих серебряных кинжалах и о револьверах, бросят вас на произвол судьбы, а сами ускачут.

– Вот и я то же говорю, – вмешалась молчавшая до того Ольга Оскаровна, – но Лидия не хочет верить.

– Не не хочу, а не могу поверить, чтобы весь народ поголовно был одинаков; конечно, есть и трусы, но наверно есть же и храбрецы! – горячо возразила Лидия.

– Между персидскими татарами нет храбрецов, поверьте мне, – уверенно произнес Воинов, – вот курды, те еще ничего, да и их храбрость скорее сравнительная. Наряду с персами они, конечно, храбрецы, но сами по себе тоже трусы порядочные. Впрочем, я знаю одного человека в Персии, некоего Муртуз-агу, этот, пожалуй, будет храбрец недюжинный.

– Вот видите ли, значит, есть между персами храбрые люди! – воскликнула Лидия.

– В том-то и штука, что неизвестно, кто он такой; только едва ли перс. Про него разно рассказывают: одни говорят, будто бы он беглый русский, другие подозревают в нем обасурманившегося турецкого армянина или даже грека; сам же он выдает себя за перса, долго жившего в России. По-русски говорит прекрасно. Уверяет, будто бы выучился за бытность свою в России. Словом, Бог его ведает, кто он такой. Я познакомился с ним недавно и признаюсь, он на меня произвел сильное впечатление; субъект весьма интересный. Вот бы вам, Лидия Оскаровна, познакомиться с ним. Про него, пожалуй, и я скажу, что он личность вполне романтическая, решительно непохожая ни на кого из здешних.

– Да кто он такой и как вы с ним познакомились?

IX. Муртуз-ага

Кто он такой – я не знаю, а познакомился я с ним следующим образом. Несколько дней тому назад на рассвете, я был разбужен выстрелами. Сначала мне представилось, что это идет перестрелка на ближайшем участке моего отряда, но оказалось, стрельба шла на персидской стороне. Я живо оделся и бросился на крышу своего поста; но раньше чем продолжать, позвольте познакомить вас немного с местностью. Мой пост с офицерской квартирой, где я живу – Урюк-Даг, – как вам известно, отсюда верст на пять с небольшим и построен на высоком, крутом холме, мысом вдающемся в реку Араке. Противоположная, персидская сторона представляет из себя равнину, ограниченную с одной стороны цепью гор, удаленных от реки верст, на 5 на 6, не больше. Долина эта лишена всякой растительности и усеяна камнями и местами солончаками, издали похожими на пласты только что выпавшего снега. На всем пространстве, куда только достигает глаз, вы не заметите ни одного дерева, ни одного кустика, ни одной зеленеющейся полянки; песок, камни и небо и больше ничего. Только по самому берегу реки, версты на две вглубь, идут сплошные, густые, непролазные заросли камыша. Камыш

так высок, что в нем легко может спрятаться всадник на лошади, а о густоте его можно судить, только побывавши там, просто стена сплошная, да и только. Местность, на которой камыш растет, вся изрыта глубокими канавами, оврагами, рывтинами, изобилует небольшими болотцами, излюбленным местом диких кабанов, во множестве водящихся в этих камышах. Когда я с биноклем в руках вышел на крышу, то увидел толпу всадников, человек 30 по крайней мере, одетых в одинаковые темно-синие кафтаны и бараньи шапки. Разбившись на небольшие группы, они носились по полю как угорелые, оглашая воздух криком и визгом. Время от времени они поодиночке или небольшими группами, человека по 2–3, сломя голову, неслись к камышам, но, не доскакав до них шагов 200–300, останавливались и принимались стрелять; в ответ на эту стрельбу из камышей тоже гремели выстрелы, после чего всадники поворачивали лошадей и мчались обратно. Смотреть со стороны было очень красиво. Снующие взад и вперед темные фигуры на разномастных лошадях, блеск оружия, блях и пуговиц, взвывающиеся то там, то здесь белые дымки выстрелов – и над всем над этим ясно-голубое, безоблачное небо. Солнечные лучи ярко освещали всю эту картину и придавали ей какой-то праздничный вид. Точно театр марионеток.

Я долго не понимал, что за штука происходит передо мной – и сначала был склонен принять все это за какую-нибудь военную игру – род нашей казачьей джигитовки, но скоро должен был убедиться в том, что присутствую далеко не при мирной забаве. Я увидел, как один из всадников, вынесшийся далеко впереди других, осадил на всем скаку своего коня и молодежато прицелился, но не успел он спустить курок, как из зарослей грянул дружный залп, зловещим эхом прокатившийся по долине. На одно мгновение я видел, как лошадь всадника взвилась на дыбы и затем тяжело опрокинулась навзничь, вместе с ездоком. Упав на землю, оба остались неподвижны, очевидно, убитые наповал. Признаюсь, при виде этих двух трупов, распростертых на горячих камнях, еще за минуту перед тем полных такой жизненной энергии и увлечения, мне стало жутко и вместе с тем безотчетно жалко убитого перса. На остальных всадников гибель товарища подействовала поджигающе, я думал, они рассыплются во все стороны, как воробьи, но ошибся. Как только ездок и лошадь упали, все остальные всадники издали пронзительный визг и как один со всех сторон понеслись к камышам, откуда навстречу им, не переставая, трещала частая, но, очевидно, бестолковая ружейная пальба.

Впереди атакующих скакал человек на белом рос-

лом коне. Издали он не отличался от остальных, такой же темный кафтан с блестящими пуговицами, такая же конусообразная папаха с горевшим на солнце медным гербом, но по тому, как он энергично размахивал кривой шашкой и, оборачиваясь назад, громко и повелительно кричал на поспешавших за ним других всадников, я угадал в нем предводителя. Сзади всадника на белой лошади скакал другой с чем-то вроде знамени в руках: недлинная палка с развевающимся на ее конце густым конским хвостом и какими-то пестрыми лентами.

В ту минуту, когда всадники были уже в нескольких шагах от камышей, двое из них вдруг закачались на седлах и кубарем покатались вниз под копыта коней, которые, почуя свободу, шарахнулись в сторону и понеслись по полю, испуганно подняв головы и разметав по ветру длинные хвосты.

Ближайшие к убитым всадники не выдержали и, круто повернув лошадей, со своим предводителем во главе, лихо ворвались в камыши и почти одновременно с этим оттуда, как зайцы, во все стороны посыпались спасающиеся бегством пешие и конные курды. Несколько человек кинулось в степь, другие пустились вдоль берега по камышам, точно преследуемые охотниками кабаны, но большинство решилось пробиваться к горам. С пронзительным воем, стреляя

на скаку из ружей, набросились курды на ближайших всадников и, в мгновение ока прорвавши их негустую цепь, помчались к горам, где они могли считать себя вне опасности. Двое со страху, как слепые, кинулись в Араке, очень быстрый и глубокий в этом месте, но их тотчас же захлестнуло волнами, стремительно сорвало с лошадей, закрутило, завертело как щепки и потащило вниз на острые выступы подводных скал. Несколько минут утопающие отчаянно боролись с яростным течением, но скоро выбились из сил и скрылись под водой. Я видел, как раза два высунулись над водой их искаженные страхом лица, как мелькнули в воздухе ослабевшие руки, и затем все исчезло. Река поглотила свои жертвы. Тем временем лошади всадников, освободившись от тяжести, благополучно, хотя и с трудом приближались к нашему берегу. Их сильно сносило течением, по крайней мере версты на три ниже поста. Я приказал вахмистру послать несколько человек конных перенять их, что и было исполнено.

Тем временем прорвавшаяся кучка курдов бешеным галопом неслась по горам, преследуемая по пятам всадниками. Вот тут-то во время этого преследования я и убедился в том, насколько начальствовавший над персами в синих кафтанах предводитель был истый герой и молодец. Не обращая внимания

на то, следуют ли за ним, в каком числе и на каком расстоянии его люди, он с беззаветной храбростью, как коршун, бросился в самую середину врагов. Я видел, как он наскочил на одного огромного курда, свалив его с лошади сильным ударом шашки по голове, не останавливаясь, ринулся на другого; завидя его, курд, как кошка, перекинулся на другую сторону седла и направил в предводителя дуло своего пистолета, но тот грудью своей массивной лошади опрокинул жалкую курдскую клячонку и в то время, как лошадь и всадник кубарем летели на землю, он выстрелом из револьвера разmozжил голову последнему. Покончив и с этим, он пустился за остальными и вмиг догнал их, но курды потеряли уже совсем головы. Паника всецело охватила их, и все они как по команде неожиданно побросали ружья и повалились с лошадей на землю. Уткнувшись лицом в землю, стояли они на коленях, жалобно вопя о пощаде. Персы мигом окружили их и с криком и гвалтом принялись крутить им руки. Теперь, когда уже курды покорились, преследователи их показывали большую энергию и храбрость, но я уверен, не будь предводителя, они бы ни за что не дерзнули задержать отчаянных разбойников. Таким образом, можно сказать, что начальник одной своей беззаветной храбростью и умением лихо рубиться принудил человек пятнадцать отчаяннейших головорезов

положить оружие и отдаться в руки его людям.

Предводитель этот, проявивший такое мужество, удаль и находчивость, и есть тот самый Муртуз-ага, о котором я упоминал как о единственном храбром персе, встретившемся мне в жизни. Я в тот же день познакомился с ним и вот при каких обстоятельствах.

Когда курды были все перевязаны, начальник распорядился отправить их под сильным конвоем большей половины своих людей куда-то внутрь страны, очевидно, в Суджу, а сам с остальными вернулся назад к реке распорядиться захватить мертвых и раненых. Я не мог преодолеть своего любопытства узнать в точности, что это было за происшествие, которому я был свидетелем. Я приказал приготовить лодку и, взяв с собой вахмистра и трех рядовых, поехал на ту сторону. Когда мы подъехали, то увидели всадников, уже выстроенных в одну шеренгу шагах в двадцати от берега; предводитель на серой лошади стоял впереди, и только мы вышли из лодки, он что-то крикнул своим, похожее на команду. По этому окрику всадники выхватили свои шашки и, подняв их высоко над головой, взяли ими на плечо, наподобие того, как мужики и бабы носят серпы.

После этого предводитель повернул на меня свою лошадь и, подскакав, на всем карьере осадил ее пе-

ред самым моим носом.

– Имею честь представиться, – прикладывая руку ко лбу, произнес он на чистом русском языке, – Муртуз-ага, сарбаз-султан Сардаря Хайлар-хана Суджинского.

Мы поздоровались, после чего он соскочил с лошади, приказал принести ковер и пригласил меня сесть. Откуда ни взялся изящный кальян, – и между нами завязалась беседа. На мой вопрос о только что виденном он дал мне следующее объяснение. Несколько дней тому назад партия турецких курдов, прорвавшись через персидскую границу, напала на приграничных жителей, ограбила их, после чего часть партии с награбленным добром поспешно вернулась во свояси, а часть направилась вдоль реки, в расчете, вероятно, сделать набег еще на какие-нибудь селения или даже попытаться переправиться на русскую сторону и, свершив там ряд грабежей, уйти обратно в Турцию.

Узнав о произведенных курдами бесчинствах, Хайлар-хан, Сардар Суджинский приказал Муртуз-аге, исправляющему должность командира единственной в Судже и им самим сформированной полурегулярной сотни телохранителей Сардаря, идти в погоню за оставшейся в пределах шайкой и уничтожить ее. Три дня Муртуз-ага шел по следам курдов, которые, за-

метив погоню, решили, ради своего спасения, перебраться на русскую сторону и скрыться в непроходимых, девственных горах Адарбаха. Для переправы они выбрали густые камыши, на несколько верст тянущиеся вдоль границы в глухой, безлюдной пустыне Беюк-Дага, против дистанции моего отряда. Приди они немного раньше, еще ночью, им бы, пожалуй, удалось благополучно прорваться, благодаря малочисленности солдат, особенно в настоящее время, в период повальной малярии, когда большая половина людей в беспомощности валяется на постах. Но, на их несчастье, они запоздали и, когда достигли берега, то уже ночь подходила к концу; разбойники не решились начать переправу, твердо убежденные в невозможности проскользнуть на рассвете незамеченными пикетами пограничной стражи. Зная трусливую медлительность персов, курды были уверены, что посланные в погоню за ними сарбазы Сардара, в свою очередь, днем не посмеют атаковать их открытой силой, а дождутся ночи, когда и откроют бесцельную перестрелку, под прикрытием которой преследуемым легко будет уйти в какую угодно сторону. Так бы оно и вышло, если бы сарбазами командовал не Муртуз-ага. Отчасти личным примером мужества, а главным образом – обещанием подвергнуть тех, кто выкажет трусость, жестоким наказанием, он сумел возбудить в

своих людях прилив мало свойственной им отваги, результатом чего и был полнейший разгром шайки.

Слушая Муртуз-агу, я внимательно приглядывался к нему, и, признаться, он мне в высшей степени понравился и заинтересовал меня. Это был человек среднего роста, лет 38, с красивыми усами, большеглазый, худощавый, нервно подвижный, с изящными жестами.

– Где вы выучились так хорошо говорить по-русски? – спросил я его.

Он лукаво улыбнулся и не сразу ответил.

– Мой дядя был тифлисским торговцем, и я долго жил с ним в Тифлисе, а раз даже ездил в Москву, – произнес он наконец и затем уже больше к этому вопросу не возвращался. Мы просидели часа три – и расстались друзьями, по крайней мере я положительно от него в восторге. Затем я спрашивал его, почему он не ездит на нашу сторону.

– Хан не любит, когда его приближенные без особенной нужды посещают Россию! – ответил он мне.

– Почему же? – задал я вопрос.

– Боится измены, – улыбнулся Муртуз-ага, – он, говоря между нами, страшно опасается, чтобы русские не вздумали захватить Суджу. На шаха надежда плохая; мы достоверно знаем, что несколько лет тому назад он тайно предлагал русскому правительству усту-

пить Суджу за известную сумму, но русские не согласились.

– При расставании он взял с меня слово приехать на кабанью охоту. Я уже написал нашему командиру отдела, он давно собирается на кабанов; вы, Осип Петрович, тоже, наверно, не откажетесь?!

– Отчего же, я с удовольствием! – согласился Щербо-Рожновский.

– А нам с Олей можно будет поехать? – спросила Лидия.

– Это зависит от командира отдела, – сказал Воинов, – если он ничего не будет иметь против присутствия дам на охоте, то почему же бы вам и не ехать. Мы вам выберем безопасное место, с которого вы все прекрасно увидите!

– Ну, за нашего милого Павла Павловича я вперед уверена, – засмеялась Ольга, – он такой любезный дамский кавалер, что наверное не откажет. А как же мы поедем?

– До моего поста можно в экипажах, тут недалеко, всего верст пять, а там через Араке на лодках, лошадей же наших солдаты переправят вброд!

– Вот отлично-то, – захлопала в ладоши Лидия, – ах, как будет весело! О, – обрадовалась она, – мы увидим кабанов?

– Если только они будут, то, разумеется, увидите.

Мы поставим вас где-нибудь на возвышении на линии стрелков, так, чтобы загон прошел мимо вас!

Х. На охоту

На посту Урюк-Даг с раннего утра идет суматоха. Еще с вечера к Воинову, в его холостяцкую квартиру, собралась целая компания. Из г. Нацваллы приехал командир отдела Павел Павлович Ожогов с военным врачом Ладожинским, а из Шах-Абада – Осип Петрович с женой и Лидией. Вечер прошел очень оживленно. Смеху и шуткам не было конца.

Павел Павлович, бывший лейб-улан, спустивший в свое время большое состояние, имел дар оживлять всякое общество, что же касается дам, то с ними он был изысканно любезен и своим обращением, веселыми шутками, умением ухаживать тонко и деликатно, заставлял забывать и свою большую лысину, и седину пятидесятилетнего старика, впрочем, еще весьма хорошо сохранившегося.

Для ночлега Воинов уступил дамам свой кабинет, мужчины же спали на крыше. В Закавказье летом редко кто из мужчин спит в комнатах, где из-за мошкеры нельзя спать иначе, как под густым пологом; поэтому многие предпочитают сон на свежем воздухе, на крышах или на особенно устроенных высоких вышках, откуда мошку сдувает ветром. Как обыкновенно бывает, когда соберется компания мужчин, половина ночи

прошла в рассказывании анекдотов, на которые был особенно мастером Павел Павлович; а с появлением рассвета на посту поднялась такая суета, что заснуть не было никакой возможности.

Первым делом, пока еще барыни не встали, надо было переправить лошадей. Человек десять солдат, искуснейших пловцов, раздевшись донага, под наблюдением вахмистра Терлецкого, сидя на неоседланных лошадях, собрались на берегу. Дня за два перед этим в горах выпали сильные дожди, отчего уровень Аракса значительно повысился, что в соединении с быстротой течения и изменчивостью дна делало переправу не совсем безопасной, но для закаленных боевой обстановкой их жизни пограничных солдат это казалось сущим пустяком. Весело смеясь и переключаясь между собой, смело двинулись они длинной вереницей один за другим в реку. Их голые мускулистые тела, с медными тельниками на шеях, обрызганные летящими из-под конских ног каплями воды блестели в ярких лучах величественно восходящего солнца, и громкие, удалые возгласы задорно неслись над широкой поверхностью реки. Потемневшие от воды лошади громко фыркали и храпели, косясь на бурлящие у их ног мутные волны.

На середине реки, когда вода начала уже заливать круп лошади, передний всадник ловко соскользнул с

ее спины в реку и поплыл рядом, держась правой рукой за гриву, а левой брызгая коню морду, чтобы этим заставить его плыть прямо.

Остальные, по мере того как доезжали до того места, где передовой соскочил с лошади, следовали его примеру. Красиво было смотреть со стороны на эти торчащие из воды конские морды с широко раздутыми ноздрями и тревожно вытаращенными глазами, на правильном расстоянии следовавшие друг за другом, а подле них – русые, черные, белокурые гладко остриженные человеческие головы, с разгоревшимися лицами, со спокойной отвагой в глазах. Течение было сильное, и лошадей сносило далеко ниже того места, куда сначала было предположено высадиться. Две лодки, по четыре гребца каждая, следовали за переправлявшимися. На корме каждой из них стоял солдат со спасательным кругом в руках, зорко и внимательно следя за плывущими, готовый каждую минуту прийти на помощь, в случае если бы кто-либо из них, оторвавшись от лошади, начал тонуть.

Пока шла переправа, на противоположном берегу собралась большая толпа курдов и татар, внимательно и одобрительно следивших за русскими пловцами. Это были все люди, приведенные Муртуз-агой, для исполнения роли загонщиков в предстоящей охоте. Сам Муртуз-ага тем временем хлопотал около раски-

нутого на скорую руку полушатра особого устройства, состоявшего из одной холщовой стены и такой же покато поставленной крыши; шатер этот, будучи с трех сторон открытым, в то же время служил прекрасной защитой от палящих лучей солнца.

Два мальчика курда быстро и ловко разводили самовар, расставляли маленькие разрисованные цветами стаканчики, грубого стекла сахарницы с колотым сахаром и вареньем, которое они доставали из пузатых оплетенных камышом банок. Угрюмый высокий курд в пестрой чалме и малиновой бархатной куртке, сидя в стороне на корточках, сосредоточенно заготавливал все нужное для шашлыка. Перед ним на большом совершенно круглом медном подносе лежала целая гора мелко нарезанных кусочков жирной баранины, помидор, красного перца и бадражан. Он медленно брал эти кусочки двумя пальцами, едва когда-нибудь имевшими хоть какое-нибудь знакомство с мылом и нанизывал их вперемешку на длинные железные прутья – шампура. Тут же возвышалась целая груда тонкого, белого, выпеченного на молоке лаваша, а подле него охапка съедобных травок. Несколько бутылок отличного коньяку, к которому богатые и знатные персы, несмотря на запрещение Корана, питают трогательную нежность, скромно прятались под холщовой, намоченной в воде в целях охлаждения тряпкой. Оче-

видно, Муртуз-ага собирался принять своих русских гостей на славу; он еще с вечера присылал своего нукара на пост Урюк-Даг, прося Воинова и всю собравшуюся у него компанию утренний чай пить у него, Муртуз-аги. Ему охотно обещали, и теперь он спешил поскорее все приготовить к встрече.

Сначала на ту сторону было переправлено десять казенных лошадей, предназначавшихся для командира отдела, доктора, вахмистра и семи расторопнейших нижних чинов, на обязанности которых лежало руководить загонщиками; после казенных были переправлены таким же порядком и собственные лошади Воинова, Рожновского и его двух дам. Когда переправа окончилась, лошадей поспешно заседлали привезенными на лодках седлами. Тем временем господа уже собрались на берегу в ожидании лодок, чтобы ехать на персидскую сторону.

– А знаете ли, мне жутко делается, – говорила Лидия Оскаровна своему кавалеру Ожогову, садясь с ним рядом в лодку. – Я ведь первый раз в жизни переезжаю границу. Как-то странно сознавать, что вот этот берег наш, а через каких-нибудь 20–30 сажень начнется территория чужого государства с совершенно иным строем жизни!

– Ну, тут по крайней мере, хотя река, все-таки же некоторая преграда, – отвечал Ожогов, – а вот на за-

падной границе местами черта, отделяющая Россию от соседнего государства, представляет из себя не что иное как неглубокую канавку. Я сам, когда поступил в стражу и в качестве отрядного офицера приехал на границу, долго не мог привыкнуть к мысли, что вот, мол, эта сторона канавки Россия, а это – на вершок дальше, – Пруссия. Ничтожная, едва заметная бороздка, через которую воробей перепрыгнет, а подумайте, какое громадное значение играет она в жизни двух государств! Господствующая религия, законы, порядки, мировоззрение, наконец, язык, история, идеалы, обычаи – все разное, во многом даже враждебно-противоположное. Что на одной стороне канавки разрешено, то на другой ее стороне – запрещается, – и наоборот. Этой ничтожной чертой проведена грань владычеству Монархов. По сию сторону он всемогущий, как Бог, повелевающий миллионами, для которых каждое его слово – закон, могущий одним росчерком пера изменить судьбы своего государства, там, за этой канавкой, является только почетным гостем, юридически не имеющим права отдавать кому бы то ни было и какое бы то ни было приказание, и это еще не все. Самое главное, что за рубежом этой канавки стоят лицом к лицу многомиллионные народы, готовые биться до последней капли крови, принести огромные жертвы, чтобы только эта канавка не пере-

двинулась вправо или влево, на более или менее значительное расстояние!

– Вы совершенно правы, но могу себе представить, какое особенное значение получает эта, как вы называете ее, канавка в глазах тех, кто по той или другой причине принужден бежать из своего отечества и искать за ней спасение, – задумчиво произнесла Лидия, – подумать только, какая страшная разница в положении: на одной стороне преступник, которого могут каждую минуту схватить, посадить в тюрьму, казнить, лишить всех человеческих прав, на другой – свободный гражданин, никого и ничего не боящийся, могущий начать свою жизнь сызнова...

– Но навсегда потерявший свою личность, свое – я! – перебил Ожогов. – Мне случалось встречаться с подобными личностями, и все они были глубоко несчастны. Для человека полный разрыв с родиной чрезвычайно тяжелая вещь, особенно для простолюдина; в конце концов, редко кто выдерживает это испытание и рано или поздно возвращается в свое отечество, готовый принять какое угодно наказание!

Увидя приближающиеся лодки, Муртуз-ага, не торопясь, с сознанием собственного достоинства, подошел к берегу и остановился, пристально разглядывая сидящих в них. Кроме Воинова, остальных гостей он видел в первый раз; не зная наперед, кто именно дол-

жен был приехать, он безошибочно угадал всех, только относительно дам он не был уверен, которая из них жена шах-абадского султана, а которая сестра; обе были молоды, обе красавицы, хотя совершенно разные лицом. Одна брюнетка, слегка смуглая, черноглазая, с густыми бровями, высокая и стройная, с пышно развитым бюстом, другая – роскошная блондинка, с бледно-розовым лицом, изящным очертанием губ и большими голубыми глазами, смело и задумчиво глядящими из-под тонко очерченных бровей. Целый каскад светло-пепельных, от природы вьющихся волос красивыми прядями ниспадал на высокий, беломраморный лоб, из-под кокетливо сдвинутой набекрень жокейской шапочки с большим прямым козырьком. В одном обе сестры были похожи друг на друга: обе были высокого роста и прекрасно сложены. Одеты они были тоже одинаково в темно-синие амазонки из легкой шерстяной материи, перетянутые простыми кожаными английскими поясами, на головах жокейские шапочки, у брюнетки белая с красным, а у блондинки – белая с голубым.

Когда лодки причалили к берегу, первый выскочил Ожогов; он никому не хотел уступить лестного, по его выражению, права помочь дамам сойти на землю. С ловкостью опытного дамского кавалера он осторожно, чуть не на руках вынес их из лодки и с полупокло-

ном поставил на сухое место.

– Вы, Павел Павлович, просто прелестны! – не утерпела, чтобы не сошкольничать, Лидия. – Воображаю какой вы были в молодости!

– А разве теперь я стар? – с шутливой гримасой спросил Павел Павлович, в глубине души слегка задетый за живое словами Лидии.

Когда все общество вышло на берег, Воинов представил им Муртуз-агу, который, почтительно приложив руку к сердцу, отвесил всем изысканно-вежливый поклон и поспешил пригласить в шатер, откуда уже несся приятно раздражающий запах поджариваемой баранины.

– Милости прошу, господа! – вежливо приглашал Муртуз, жестом руки указывая на разостланные на земле ковры, на которых уже были расставлены тарелки с разными закусками. – Перед охотой надо хорошенько закусить!

Лидия, уже раньше, со слов Воинова, чрезвычайно заинтересованная Муртуз-агой, нарочно села так, чтобы, не будучи самой у него на глазах, иметь возможность наблюдать за ним. С первой же минуты он произвел на нее весьма выгодное впечатление. Оставаясь все время крайне предупредительным, в высшей степени учтивым и любезным, он в то же время ни на минуту не терял сознания своего достоинства,

держал себя спокойно, просто, говорил мало, больше слушая других. Лидии особенно нравился тон, каким Муртуз-ага отдавал приказания прислуживавшим нукерам; в его голосе, в манере произносить фразы коротко, отчетливо слышалась непреклонная воля, привычка повелевать. Невольно чувствовалось, что послушаться этого человека, по-видимому, такого мягкого и любезного, крайне опасно. Когда один из нукеров нечаянно опрокинул на землю налитый чаем стакан, брови Муртуз-аги слегка дрогнули, а глаза на мгновенье сверкнули холодным, стальным блеском; впрочем, он поспешил замаскировать свой гнев самой непринужденной улыбкой и тем же спокойным голосом продолжал сообщать Ожогову план предстоящей охоты.

XI. Облава

Солнце стояло довольно высоко, когда, окончив чаепитие, компания тронулась в путь. Проехав версты 3—4 на рысях до небольшой группы холмов, охотники, слезли с лошадей и поспешно разошлись по своим местам. Каждый стал, как ему казалось удобнее, у подошвы холмов, слегка замаскировавшись кустиками гребенчука. Барынь поместили на вершину крайнего крутого холма, где лежал огромный камень. Предупредительный Муртуз-ага распорядился постлать на него ковер, и образовался род дивана, сидя на котором Лидия и Ольга могли отлично видеть все происходящее внизу, будучи в то же время вполне в безопасности. Лошадей поставили за холмом, совершенно в стороне, чтобы они не могли испугаться выбегающего зверя. Загонщиков отправили заранее. Они должны были с трех сторон окружить камыши и, суживая постепенно круг, гнать зверя к холмам на ожидавших его там охотников.

Ближе всех к дамам стал Муртуз-ага, и Лидия невольно залюбовалась на его высокую, стройную фигуру, бледное выразительное лицо, большие черные глаза, в которых теперь загорелся огонек охотничьей страсти, на то, как он спокойно и свободно стоял,

с ружьем наготове, оставив вперед левую ногу и пристально глядя в камыши. Следующим за Муртуз-агой был Воинов. Лидия неожиданно для себя сделала между ними сравнение. Воинов, тоже красивый, рослый и крупный, казался каким-то слишком ординарным, обыкновенным. Офицер, каких сотни, – определила Лидия, – добрый, симпатичный, честный, наверно не трус, но без всякой оригинальности. Теперь он думает о скорейшем производстве в поручики; лет через двадцать будет мечтать о чине подполковника. В жизни его нет ничего таинственного, все ясно, просто, буднично-серо и однообразно, как однообразен обед, который ему готовит его денщик. Незатейливо, как незатейливы его привычки, давно до тонкости изученные его Иваном. Словом, он весь налицо: здоровый, сильный, слегка неряшливый, добродушно-веселый и самодовольный, – тогда как Муртуз-ага весь одна сплошная загадка. Прежде всего, кто он такой, откуда родом? Что он не природный перс, было несомненно, в нем не было ничего рабски лукавого, ничего приниженного, как у настоящих персов, а вместе с этим не замечалось и присущей азиатам холодной, бессознательной жестокости, стихийно проявляющейся у них во всем решительно. Но если он не был персом, то и за русского принять его было нельзя, несмотря на его умение в совершенстве говорить по-русски. Тип у него

был не русский, и в произношении слышался явно заметный акцент. Так же трудно, как определить народность Муртуз-аги, было не легко угадать и его социальное положение. Он не был человеком из низшего сословия, но и к настоящим интеллигентам причислить его тоже было нельзя. Во всяком случае, он не был европеец; что-то дикое, непосредственное, наивно-патриархальное то и дело проскальзывало в его словах, в манерах, в жестах; иногда он сам замечал это за собой и спешил поправиться, но чаще сам не видел угловатости своих манер.

Протяжный, жалобный аккорд охотничьего рожка, пронесшийся в мертвой тишине пустыни, вывел Лидию из ее задумчивости. Она подняла голову и насторожилась. По тому, как встрепенулись охотники, как торопливо вскинули ружья и сосредоточили все свое внимание на расстилающемся перед ними необозримое море камыша, слегка колеблемое пробегающими по нем порывами ветра, Лидия поняла, что загон начался. Действительно, минуты две спустя ее напряженный слух начал улавливать отдаленный не то вой, не то стон. То тут, то там стали вырываться отдельные возгласы, взвизгивания, свистки... где-то громко трещали и звенели деревянные и железные колотушки. С каждой минутой шум и гам, производимый сотней голосов, становился все слышнее и скоро слился в

одну невообразимую какофонию звуков. Можно было подумать, что целая свора бесов спущена в камыши и неистовствует там, наводя ужас на их чутких обывателей. Лидия Оскаровна почувствовала, как знакомое охотникам увлечение охватило и ее. Она стояла, насторожась, вперив свой пристальный, внимательный взгляд в чашу зарослей; сердце ее усиленно билось, щеки разгорелись, она дышала быстро и нервно. Вдруг она почувствовала на себе чей-то пристальный, тяжелый взгляд; она невольно оглянулась, — и глаза ее встретились с парой других глаз, черных и глубоких, как бездонная пропасть.

От волнения лицо девушки еще более похорошело; она стояла на холме, стройная и прекрасная, со слегка покрасневшимся лицом и сияющими глазами, как какое-то неземное существо, подобно гурии рая, созданной пылкой восточной фантазией. Муртуз поднял глаза, был поражен и стоял, забыв все на свете, будучи не в силах оторвать своего горящего восхищенного взора от обаятельной фигуры девушки.

Только строгий взгляд, брошенный на него Лидией, заставил его опомниться; он быстро опустил глаза и вперил их в камыш.

Лидия, хотя немного и раздосадованная, тем не менее не без некоторого удовольствия подумала о том чувстве ошеломленного восторга, какое она подмети-

ла в глазах Муртуза. При этом, помимо ее воли, в ней шевельнулась мысль, что только один Муртуз обратил внимание на ее волнение, остальные же стояли всецело погруженные в созерцание камышей, с минуты на минуту выжидая появления кабанов.

Третьим стоял Ожогов; между ним и доктором, выбравшим себе крайний номер, помещался Осип Петрович. Ему и доктору, как сравнительно плохим стрелкам и малоопытным в кабаньей облаве охотникам, на всякий случай было назначено по одному пограничному солдату с примкнутым к ружью штыком. Это на тот случай, если бы раненый кабан бросился на охотника. Ожогову тоже советовали поставить рядом с собой вахмистра Терлецкого, прекрасного стрелка и как человека очень смелого и расторопного, но он не захотел, главным образом совесть да, и теперь стоял, колеблемый противоположными чувствами. Как охотнику – ему очень них чтобы кабаны, во всяком случае самые крупные из них, вышли бы на него, чувство же самосохранения против воли нашептывало: «Э, Бог с ними и с кабанами, пусть выходят на тех, кто лучше меня стреляет».

Ожогов не был трусом, но его смущала неуверенность в своей меткости и ловкости, столь необходимой в этой опасной охоте, где промах или неловкое движение стоит иногда жизни.

Зато Воинов был совершенно спокоен, словно дело шло о каком-нибудь зайце. Он внимательно глядел перед собой, готовый каждую минуту к выстрелу. Что же касается Муртуза, то после того как он отвел свои глаза от Лидии, он, очевидно, впал в состояние рассеянности, опустил ружье и стоял, не видя ничего перед собой, кроме запечатлевшегося в его мозгу образа девушки. Лидия инстинктом угадала странное состояние его души и готова была ему крикнуть, чтобы он был внимательнее, но в это мгновение из камыша, как два серых пушистых комочка, выкатилась пара зайцев. Приложив ушки за спину, выпуча глаза, неслись они, не видя ничего перед собой, и с разбега чуть не наскочили на Муртуза. Ошеломленные неожиданной встречей, они разом присели, недоуменно пошевелили ушами, повели носом и вдруг, как бы собравшись с новыми силами, ринулись со всех ног между Муртузом и Воиновым.

В ожидании более интересной добычи те беспрепятственно пропустили их, и бедные испуганные зверьки, не веря своему благополучию, стрелой пролетели через прогалину и скрылись в гребенчуге по ту сторону холмов.

Появление зайцев заставило Муртуз-агу очнуться; он как бы весь встряхнулся и поспешил сосредоточить свое внимание.

– Джановар, джановар! – раздалось вдруг на одном конце загона, и почти тотчас же из другого конца дикими воплями донеслось: – Дунгуз, дунгуз!

В камышах, очевидно, были и кабаны, и волки.

Охота обещала быть интересной.

Вопреки зайцам, продолжавшим то в одиночку, то по два и по три стремительно вылетать из камышей и, пропускаемым охотниками, беспрепятственно скрываться за холмами, – крупные звери не торопились покидать густую чащу и медленно и осторожно подвигались вперед, пугливо прислушиваясь в одно и то же время и к раздававшемуся сзади них шуму, и к предательской тишине впереди.

Со своего места Лидия и Ольга видели, как шевелился камыш, слышали треск ломаемых сухих стеблей, но зверя пока еще не видно было. Наконец, то там, то сям замелькали среди камыша фигуры загонщиков. Они ехали длинной цепью, равняясь между собой и зорко поглядывая по сторонам, чтобы не допустить животных повернуть назад. На фоне золотисто-желтого камыша яркими пятнами пестрели красные куртки курдов, серые халаты персов и белые рубахи солдат, которые в числе нескольких человек, разместившись вдоль всей цепи, руководили ее движением. Разномастные лошади, крошечные, толстые, суетливые у курдов, и рослые, раскормленные

и несколько ленивые под солдатами, придавали еще большее оживление этой характерной картине. Всадники ехали медленно, шаг за шагом, местами с трудом продираясь сквозь густые заросли, то сжимая, то расширяя свой круг. Время от времени они останавливались, подравнивались и затем снова двигались дальше.

Вдруг в нескольких саженях, прямо перед собой, в густой чаще камыша Лидия увидела какую-то, показавшуюся ей в первое мгновение огромной, серую массу. Не успела она еще сообразить, что за зверь мог это быть, как на прогалину выскочил большой серо-бурый волк. Высоко подняв голову, насторожив уши, он шел широким, размашистым галопом, легко и мягко перепрыгивая, точно перелетая, через низкий кустарник. Очевидно, умный зверь еще не мог уяснить себе, откуда, с какой стороны ждать главную опасность, а потому и не торопился, шел в полмаха, с оглядкой, готовый каждую минуту метнуться в любую сторону. К большому изумлению Лидии, за волком следом, чуть не касаясь носом его хвоста, катил заяц. Глупый зверек был так напуган несшимся за ним по пятам шумом и гамом, производимыми загонщиками, что, по всей вероятности, не видел и не сознавал, в каком опасном соседстве находится.

Он скакал за волком, как скажет на маневрах лихой

корнет-адъютант за сердитым командиром полка, не предчувствуя, что сегодня же вечером будет сидеть на гауптвахте.

Со своего места Лидии прекрасно было видно, как Муртуз-ага медленно, не торопясь, поднял ружье и приложился. Волк был всего в нескольких шагах и шел прямо на Муртуза, но в ту минуту, когда тот готовился нажать на спуск, хитрый зверь, как бы угадав близость врага, сразу остановился, дал огромный прыжок в сторону и, расправив ноги, с быстротой летящей птицы помчался вдоль камышей, не выскакивая в то же время весь на прогалину. Лидия видела, как мелькала между камышом его серая туша, то скрываясь, то снова показываясь. Муртуз, не рискуя выпустить пулю даром, опустил ружье. Первым выстрелил Воинов, за ним Ожогов. Оба выстрела очевидно задели волка – он пошел гораздо медленнее, на скаку судорожно низко кивая головой. После третьего выстрела, сделанного Осипом Петровичем, волк вдруг присел на задние ноги и злобно защелкал зубами. Он не в силах был бежать дальше и только оскалился, глядя на охотников глазами, полными страха и ненависти. Стоявший подле Рожновского солдат спокойно и смело подошел к огрызающемуся зверю и со всего размаха вогнал ему штык между ребер, после чего волк бездыханный свалился на бок.

Не успели покончить с волком, как где-то близко-близко раздалось негромкое, но зловеще-грозное шуршанье, – и из камыша поспешно выбежала огромная, неуклюжая, косматая черно-бурая масса, с огромной головой, блестящими длинными клыками и маленькими, налитыми кровью, горящими как уголь глазами. Это была большая дикая свинья, с целым десятком маленьких, полосатых и милостиво-забавных поросят, суетливо, с громким визгом метавшихся вокруг матери. Низко наклонив голову, хрюкалом до самой земли, и раскрыв чудовищную пасть с блестящими острыми, длинными зубами, свинья неуклюжим скоком направилась прямо на Муртуза-агу. Тот стоял, не спуская с нее глаз, держа ружье на прицеле. Когда свинья приблизилась шагов на пятнадцать, Муртуз, не торопясь, плавно и осторожно надавил пальцем спуск курка. Грянул выстрел, и свинья как подкошенная свалилась на бок, оглашая воздух пронзительным, злобно-болезненным визгом. Она билась и металась по земле, всеми четырьмя ногами взрывая целые тучи черной пыли.

Ошеломленные выстрелом и падением матери поросята в первую минуту приостановились, а затем с пронзительным визгом начали суетиться вокруг нее, бестолково тыкаясь во все стороны, толкаясь и прячась один сзади другого. Несколько раз они разбега-

лись было во все стороны, но тотчас же так же стремительно возвращались назад, издавая жалобное хрюканье. Наконец, видя, что мать их лежит неподвижно и больше уже не бьется, они, словно сообразив что-то, все разом, целой гурьбой, жалобно хрюкая, побежали по прогалине в сторону. Тотчас же загремела частая, торопливая стрельба, – и поросята, один за другим, начали падать под пулями охотников до тех пор, пока не были перебиты все до последнего.

XII. Кабан

Прошло несколько минут; загон подошел настолько близко, что уже являлось сомнение, есть ли в камышах еще какая дичь, или она успела как-нибудь проскользнуть назад, как вдруг почти одновременно в нескольких шагах друг от друга выскочили два огромных секача. От облепившего их ила они казались еще больше, еще чудовищнее... С громким хрюканьем, выставив вперед огромные клыки, они стремительно кинулись, – один между Ожоговым и Воиновым, а другой – вправо от Муртуз-аги, как раз вдоль подошвы холма, на котором сидели Лидия и Ольга.

В ту минуту, когда кабан находился всего в каких-нибудь двадцати шагах, Муртуз, все время державший ружье на прицеле, спустил курок. Грянул выстрел, и животное как подкошенное сразу повалилось на бок, в предсмертных судорогах отчаянно дрыгая ногами. Пуля попала ему прямо в сердце.

Тем временем с кабаном, выскочившим на Ожогова и Воинова, вышло далеко не так удачно. Растерявшись от неожиданности, Ожогов упустил удобный момент и выстрелил тогда, когда кабан уже далеко проскочил мимо него. Воинов, из любезности желавший предоставить первый выстрел своему гостю и началь-

нику, выстрелил после него. Обе пули впились кабану справа и слева в его широкие, мускулистые окорока; животное завизжало от боли, сразу приостановилось и вдруг, круто повернув кругом, ринулось назад, в слепой ярости готовое броситься на первого, кто подвернется ему навстречу. Так как кабан бежал наискось, то ближе всех к нему очутился теперь Муртуз-ага, на которого он и устремился, свирепо скрипя челюстями и сверкая маленькими, кровью налитыми глазами. Муртуз быстро вложил патрон и, не имея времени прицелиться как следует, торопливо выстрелил. Пуля ударила кабана в морду и хотя сильно ранила его, но не остановила. Второй раз стрелять было некогда. Лидия со своего места видела, как Муртуз отбросил ружье в сторону, быстро выхватил кинжал и опустился на одно колено. В это мгновение окровавленная, полная пены пасть чудовища почти коснулась его груди. Лидия невольно вскрикнула и зажмурилась... Она не сомневалась, что Муртуз-ага погиб, но когда мгновение спустя, она боязливо открыла глаза, ей представилась следующая картина. Муртуз-ага стоял во весь рост, совершенно спокойный, а у его ног слабо трепетала распростертая на залитой кровью земле огромная кабанья туша, с торчащей в левом боку рукояткой кинжала.

В ту минуту, когда кабан готовился полоснуть его

своими страшными клыками, Муртуз стремительно отшатнулся вправо и, размахнувшись изо всей силы, глубоко всадил широкий и острый клинок кинжала прямо в сердце животного, которое тут же и свалилось со всех четырех ног, убитое наповал метким ударом.

Все это произошло с быстротой нескольких секунд. Остальные охотники пришли в себя только тогда, когда кабан уже упал. Все с любопытством бросились к месту происшествия.

– Ура! Муртуз-ага, ура! – закричал Воинов, искренно приветствуя Муртуза и крепко пожимая ему руку. – Ну, вы настоящий герой, право слово, герой!

Другие тоже поспешили пожать руку Муртуза, и каждый торопился высказать свое искреннее удивление его хладнокровию и смелости, а также силе и меткости нанесенного им удара. Муртуз с вежливой улыбкой отвечал на рукопожатие, лицо его было совершенно спокойно, и на нем нельзя было подметить ни малейшего волнения, только в глубине его черных глаз сияло скрытое торжество.

После всех подошла к нему Лидия.

– Поздравляю вас, Муртуз-ага, – произнесла она, дружески пожимая ему руку, – я очень рада, что вы остались целы и невредимы. Признаться, я за вас очень испугалась!

– Благодарю вас, – низко поклонился Муртуз, загоревшимся взглядом смотря в лицо девушки, причем бледные щеки его слегка зарумянились от сдерживаемого волнения, – вы слишком добры; мне даже совестно; такие пустяки случаются почти при каждой охоте на кабанов.

– Хороши пустяки! – воскликнул доктор. – Слава Богу, что это случилось не со мной! – добавил он так искренно, что все невольно рассмеялись.

Тем временем загонщики выехали из камышей и расположились живописными группами на прогалине. Некоторые слезли с лошадей и начали поправлять седловку, другие – съехавшись вместе, оживленно передавали друг другу свои впечатления только что оконченного загона. Несколько человек приблизились к убитому Муртузом кабану и молча его разглядывали, изредка перебрасываясь между собою отрывистыми замечаниями.

– Господа, а откуда теперь будем гнать и где становиться? – спросил Ожогов.

– Если хотите, – предложил Муртуз, – перейдемте на ту сторону холмов, загон пошлем со стороны реки, он захватит оставшийся в стороне камыш и всю правую сторону. Там теперь спрятались выгнанные с той стороны зайцы; кабанов и волков уже не будет, они разбежались, а лисицы, пожалуй, есть. Они далеко не

бегут!

– А может быть, кабаны не убежали и притаились где-нибудь поблизости? – спросил доктор, не без чувства тайного беспокойства.

– О, нет, – улыбнулся Муртуз, – кабаны и волки, раз их спугнуть, скоро не остановятся. Они бегут безостановочно часа два-три и только, когда очень устанут, останавливаются где-нибудь в глухой чаще и то ненадолго; отдохнут немного и опять бегут дальше, пока не заберутся в такое глухое место, где их уже ничто не потревожит. Я много охотился на своем веку и прекрасно изучил все их привычки и сноровки. Поверьте, теперь, кроме зайцев да лисиц, мы никого не увидим!

Говоря так, Муртуз передал свою винтовку одному из курдов, а в руки взял двухствольное охотничье ружье.

Другие последовали его примеру и заменили картечные патроны патронами, снаряженными дробью.

Бросили жребий, кому где стоять, после чего все разошлись по своим местам, и охота началась снова.

Опять раздались протяжные крики и гиканье загонщиков, замелькали в камышах их яркие одежды, и вскоре на прогалину, как из мешка, посыпались шустрые зайцы. Заложив уши за спину, подобно серым шарам, кубарем катились испуганные зверьки, суетливо шмыгая между охотниками. Распустив пушистые

хвосты, вытянувшись в струнку и мелькая красноватыми спинами, низко припав к земле, молнией промелькнули две-три лисицы; они быстро и часто дышали, оскалив зубы и высунув острый и тонкий язык. Вопреки глупым зайцам, несшимся вперед очертя голову и с разбега натыкавшимся на охотников, лисицы все время внимательно осматривались по сторонам, зорко выглядывая опасность, готовые во всякую минуту вильнуть в сторону перед направленным на них дулом ружья. Это ясное понимание опасности, это напряжение всех физических и умственных сил в борьбе за жизнь и сознательный ужас перед смертью делали положение лисиц более трагичным и невольно возбуждали к ним, несмотря на их хищность, большую жалость, чем к зайцам. С появлением первых животных по всей линии стрелков поднялась учащенная пальба. Поминутно гремели отрывистые выстрелы, взвивались и медленно расползались в воздухе беловатые клубы дыма; подстреленные зайцы на всем скаку перекувыркивались через голову или оставались неподвижно лежать распластанные на земле, или, вскочив снова на ноги, пытались бежать дальше, но это им не удавалось, и они беспомощно, торопливо ползли вперед, волоча за собой по земле раздробленные задние ноги. Некоторые, тяжело раненные и не будучи в силах подняться на ноги, судорожно би-

лись головой и всем телом о землю, издавая отчаянные вопли, чрезвычайно похожие на крик младенца. Лисицы умирали молча; только когда охотники приближались к ним, чтобы добить их, они издавали что-то похожее на шипение и в бессильной злобе и страхе щелкали зубами.

Лидию Оскаровну, сидевшую по-прежнему на холме, в первую минуту вся эта суматоха живо заинтересовала. Она с восторгом следила за проворными и суетливыми движениями перепуганных зверьков, любясь их прыжками и быстротой бега, но с первым же выстрелом вся иллюзия исчезла, чувство удовольствия сменилось чувством глубокой жалости и омерзения перед этой беспощадной бойней беззащитных зверьков. Особенно жалко ей было тех зайцев, которые, будучи легко ранены, успевали проскочить сквозь линию стрелков на трех лапах, с болтающейся перешибленной четвертой или с простреленным боком. Со своего возвышения Лидия видела, как за каждым таким истекающим кровью животным с жадным зловещим криком бросалось несколько ворон, круживших целыми стаями тут же неподалеку; растопылив когти, широко распластав крылья, летели они низко-низко над землей, готовые ежеминутно спуститься на спину обезумевшего от страха и боли животного.

Приблизительные, жалобные заячьи крики, раздававшиеся поминутно то там, то здесь, резали ухо, а выстрелы гремели все чаще и чаще. Лидии казалось, что конца не будет этому избиению.

«Господи! – думала она, – и это называется удовольствием!»

В эту минуту неподалеку от холма, на котором она сидела, упал сраженный кем-то большой, жирный заяц. Он лежал неподвижно, как мертвый, до тех пор, пока не стали подходить загонщики. Почуввав возле себя людей, заяц забился и затрепетал всем телом; махая лапками, он тщетно силился подняться и, почувствовав свою беспомощность, разразился вдруг отчаянным, душу леденящим воплем. По мере того как люди подходили ближе, крик зайца делался все протяжнее и трусливее; казалось, вся его заячья душа разрывалась от тоски и ужаса перед неизбежной смертью... Лидия заткнула уши, закрыла лицо руками и отвернулась... Она была близка к обмороку.

С этого момента она поклялась сама себе никогда не участвовать ни в какой охоте.

Большого труда стоило всей компании уговорить Лидию не ехать сейчас же домой. Она согласилась остаться только при одном условии, что больше охотиться не будут.

– Ну, позвольте хотя еще одни загон сделать! – по-

лушутя, полудосадуя приставал к ней Воинов, страстный охотник в душе. – Если уже не хотите, чтобы мы стреляли зайцев, мы будем только лисиц стрелять; ведь лисиц жалеть нечего, они разоряют гнезда птиц и логовища зайцев. Каждая лисица в год не меньше восьмидесяти зайцев задушит, а сколько птиц – счету нет! Подумайте, сколько зла они принесут!

Но Лидия упорно стояла на своем, и охоту пришлось прекратить, тем более что приближалось время вечера, и все охотники порядком устали. Решено было возвратиться назад, на то место, где утром пили чай, и где, по словам Муртуз-аги, их ждал обед.

Так как все успели порядочно проголодаться, то предложение Муртуз-аги было принято с удовольствием.

На обратном пути Муртуз ехал рядом с Лидией.

– У вас очень доброе сердце, – заметил он ей, – вам даже зайцев жалко!

– Я вообще не признаю никакого убийства, – произнесла девушка, – и всякий убийца внушает мне ужас и отвращение!

– Даже убийца зайцев? – усмехнулся Муртуз.

– Даже зайцев. Они тоже имеют право на жизнь и лишать их жизни ради удовольствия – очень дурно!

– Бывают случаи, когда приходится убивать не только зайцев, но и людей! – угрюмо произнес Мур-

туз-ага.

– Я таких случаев не признаю. Кроме, впрочем войны! – поспешила она поправиться. – Война дело очень нехорошее, но, говорят, неизбежное. Не знаю, насколько это правда; я гляжу на это дело, как принято глядеть всеми: пока война существует – ее поневоле приходится признавать. Но уже помимо войны никаких убийств не должно быть, ни казней, ни дуэлей, ни ради мщения... Словом, никогда и ни под каким видом человеческая кровь не должна быть пролита, ибо нет такого преступления на свете, которое могло бы заслуживать лишения человека жизни...

– Да, но если убийство совершено, то что делать, по-вашему, убийце? Чем и как искупить убийство?

– Убийство не искупается ничем, ибо никакое раскаяние убийцы, никакие душевные страдания его – не вернут жизни убитому. В этом-то и весь ужас убийства! Однако, – засмеялась она, – что это за страшный разговор мы затеяли с вами; от зайцев перешли к убийству. Давайте-ка лучше проскачемте немного!

– У вас хорошая лошадь! – заметил Муртуз, взглядом знатока оглядывая невысокую, но крепкую и красивую лошадку Лидии.

– Это делибос?

– Не правда ли? – радостно воскликнула Лидия. – Я очень рада, что мой Копчик понравился вам. Он дей-

ствительно прекрасный конь, и я его очень люблю. Вы знаете, я ведь, только приехав на Закавказье, начала учиться ездить верхом. Мне говорили, что это трудно и потребует много времени, а я в три месяца выучилась и езжу, не хвастаясь говоря, недурно. Правда, я езжу почти каждый день. Воинов говорит, что у меня талант к верховой езде!

– Вы, Лидия Оскаровна, природная амазонка! – весело крикнул Воинов, равняясь с ними. – Даю вам слово, я в жизни не встречал ни у кого такой способности к верховой езде, как у вас!

– Ну, да, рассказывайте, «комплиментщик»! – расхохоталась Лидия и, вдруг с легким гиком подняв хлыст и слегка пригнувшись к луке, отдала поводья. Почуввав свободу повода, Копчик горячо рванулся вперед и понесся стрелой по степи, увлекая свою лихую наездницу... Воинов и Муртуз-ага помчались следом, с трудом поспевая за резвым Копчиком. Остальная компания продолжала идти тем же аллюром, издали любясь на эту импровизированную скачку.

XIII. «Мравал джамиер»

Обед под тенью шатра прошел очень весело и затянулся до вечера. У Муртуз-аги оказался превосходный повар; по крайней мере, все присутствовавшие в один голос решили, что такой превосходный чачартмы, люликераба и плова – никому из них еще не удавалось есть нигде. После обеда был подан крепкий душистый кофе, разного сорта варенье, сушеные фрукты и имбирные конфеты персидского изделия, от которых страшно жгло во рту. В коньяке и вине недостатка тоже не было. Для дам был заготовлен лимонад и особый персидский напиток из воды и уксуса, с разными пряностями и духами.

Когда первый голод был утолен, кто-то предложил спеть, по кавказскому обычаю, «Мравал джамиер».

Кроме доктора, все оказались из поющих, даже и Ожогов, голос которого, хотя уже и разбитый, был еще довольно сносен. В молодости он считался прекрасным певцом.

Воинов и Рожновский пели очень недурно, особенно первый, но лучше всех голос был у Лидии. В институте она считалась лучшей певицей, ей даже советовали идти в консерваторию, но артистическая карьера несколько не соблазняла ее.

Муртуз-ага не принимал участия в пении, он сидел потупя голову, с побледневшим лицом и опущенными ресницами. Несмотря на его кажущееся спокойствие, Лидия инстинктивно чувствовала, что он сильно волнуется, но не могла хорошенько понять истинной причины этого волнения.

– Славная песня! – задумчиво произнес Ожогов. – Она мне напоминает наши застольные гусарские песни. Я понимаю, за что грузины так любят ее.

– Да, песня хорошая, – согласился Муртуз. – Если вам, господа, не надоело – спойте еще раз.

Все охотно изъявили согласие, и Воинов задушевым голосом начал:

Мравал джамиер...

Остальные дружно подхватили, и в вечернем воздухе широкой волной полился стройный, за душу берущий мотив:

Мравал джамиер...

.....

Мертва и небос,

Мертва и небос.

Квени цицоцкле.

Мадлобели вар,

Мадлобели вар.

Лидия во все время пения пристально смотрела в лицо Муртуз-аге, и вдруг ей показалось, что лицо его

дрогнуло, и в глазах отразилось глубокое затаенное горе.

Нико-Нитсо-разбойника
Шзни чире мэ, Шэни чире мэ,-
Гули чире мэ,-

запел вдруг Воинов, когда все смолкли, известную шутивную песенку тифлисских кинто.

Шэни чире мэ,
Гули чире мэ.

Выводил он, старательно подражая грузинскому жаргону, что выходило у него очень забавно.

Все весело рассмеялись. Даже Муртуз-ага усмехнулся, но затем нахмурился, положил щеку на руку, вздохнул, и вдруг из его груди вырвался дребезжащий, как бы рыдающий звук; звук этот повторился, но еще печальней, еще более унылый и протяжный. Все насторожили уши. Муртуз-ага пел старинную персидскую песню, пел, как поют персы – в одном тоне, то повышая, то понижая голос, по нескольку раз повторяя одно и то же слово. Пение это, похожее скорее на стон, производило какое-то особенное странное впечатление. В первую минуту оно неприятно поражало своею дикостью, хотелось заткнуть уши и бежать, как от чего-то безобразного и нестройного, но, вслушавшись внимательней, ухо начинало улав-

ливать своеобразный, не лишенный музыкальности мотив, весь проникнутый безысходной, душу надрывающей тоской. Только многовековое, тяжелое, беспросветное рабство могло создать такую песню. Лидия в первый раз в жизни слышала такое пение, и оно вызвало в ней странное двойственное ощущение. Оно и раздражало, и увлекало ее... Она сидела, устремив пристальный взгляд па побледневшее лицо Муртуз-аги, с полузакрытыми глазами и какой-то особенной скорбной складкой около губ.

Ей очень хотелось проникнуть мысленным взором в душу этого человека и угадать, что он думает и чувствует в эту минуту. Чем больше она присматривалась к нему, тем он казался ей загадочнее и непонятнее.

– Кто он такой? – ломала она голову. – Во всяком случае, не простой перс. Надо сказать Воинову, чтобы он во что бы то ни стало разузнал о нем все, что можно.

– Вы можете сказать нам содержание этой песни? – опросила Ольга Оскаровна, когда Муртуз-ага наконец умолк. – О чем она?

– Это из Гафиза, – отвечал Муртуз, – молодой воин увидел случайно жену своего владыки и шлет ей свое приветствие, обещает верно служить ее мужу и умереть за него на поле битвы, и за это просит, чтобы

она дала ему из своих рук розу, которая растет под ее окном.

– Вот не думал, – воскликнул Ожогов, – чтобы персы были так сентиментальны. Ведь у них женщина обращена во вьючное животное!

– Теперь – да, но во времена Гафиза и в начале появления мусульманства, женщина была совершенно свободна. Она нередко являлась даже правительницей и не только одного какого-нибудь племени, но целого народа; в основе своей Коран относится к женщине с большим уважением и предоставляет ей большую свободу. Вначале так оно и было, но впоследствии муллы создали шариат и адаты, нередко являющиеся прямым противоречием учению Корана!

– Вы убежденный мусульманин? – как бы невзначай спросила Лидия.

– Я очень уважаю и люблю Коран, в этой книге скрыта великая мудрость! – уклончиво ответил тот.

– Жаль, что вы не знакомы с нашим Евангелием; вот бы где вы могли почерпнуть великие истины!

Муртуз хотел что-то ответить, но удержался и промолчал.

Тем временем солнце уже успело скрыться за горы, и наступила ночь. На Закавказье сумерек не бывает. Светлый день почти моментально сменяется ночной темнотой. Яркая луна выплыла на горизонте и осве-

тила фосфорическим светом темные волны реки, застывшей в мертвенном покое, и пустынную, выжженную солнцем степь.

Надо было ехать домой.

Лошади и солдаты давно уже были на той стороне.

У берега тихо покачивались на волнах две лодки с дремлющими в них гребцами.

– Господа, – предложил Ожогов, – не сделать ли нам так? Мне с доктором надо ехать разъездом на соседний пост. Поедемте все вместе на лодке; мы с Аркадием Владимировичем и доктором подвезем вас в Шах-Абад, а сами поедем дальше. Вниз по течению лодка идет хорошо, ночь лунная, светлая, на реке прохладно, не заметим как доедем. Не правда ли?

– А назад как же? – спросил Воинов. – Против такого быстрого течения на наших тяжелых лодках не выгрести!

– Назад поедем верхами на «очередных», а лодку отправим «бичивой». Я уже не первый раз так делал!

– А солдатам не будет трудно тащить назад лодку? – осведомилась Лидия.

– Пустую-то? Пустяки, все равно, что так идти, – успокоил ее Ожогов, – да к тому же это ведь та же служба. Тех, кто потащит лодки, другого не заставят делать и наоборот. Наш пограничный солдат все равно сложа руки никогда не сидит!

Предложение Ожогова всем пришлось по сердцу. Перспектива проехать 5–6 верст на лодке была несравненно приятнее, чем усталыми и сонными тащиться верхом по пыльной дороге.

Муртуз-ага, у которого в персидском селении Акадыр, расположенном против Шах-Абада, жил один знакомый, захотел тоже ехать со всеми, с тем чтобы, не доезжая Шах-Абада, ему позволили бы выйти на персидский берег.

Таким образом вся компания, разместившись в двух лодках, весело поплыла вниз по реке, оглашая пустынные ее берега громкими криками и смехом.

На одной лодке сели: Лидия, Воинов, Муртуз и Рожновский, на другой – Ольга, Ожогов и доктор. Кроме того, в каждой лодке находилось по четыре гребца-солдата, а в лодке, где сидели Ожогов и доктор, еще рулевой.

XIV. Встреча с разбойником

В ту минуту, когда лодки тронулись в путь, параллельно им по персидскому берегу потянулась вереница всадников. Это были Муртузовы курды, которым было приказано их начальником сопровождать лодки, ограждая их от могущих последовать с персидского берега выстрелов.

Как черные тени, двигались курды один за другим, то исчезая в густых камышах, то снова появляясь на открытой местности. Их оружие ярко поблескивало в голубоватых лучах месяца, придававших неясным силуэтам всадников причудливые формы. Что-то фантастическое было во всей этой картине.

Лодки, увлекаемые быстрым течением и дружными усилиями гребцов, плавно и ходко скользили по глухо рокочущим волнам; чтобы поспеть за ними, курдам приходилось местами подгонять лошадей. В этих случаях не приученные к рыси курдинские клячи переходили в галоп и скакали короткими и неуклюжими прыжками, отчего сидевшие на них всадники раскачивались, как маятники.

Лидия сидела на корме и задумчиво смотрела перед собой. Вся эта своеобразная, дикая картина сильно действовала на ее нервы и возбуждала в ней ка-

кие-то неясные, неуловимые ощущения. Минутами ей казалось, что она участвует в фантастической феерии, подобной тем, какие она видела в детстве: «В восемьдесят дней вокруг света», «Путешествие по Африке» и т. п. В то же время она невольно проводила параллель между теперешней своею жизнью и тою, какую она жила еще в прошлом году. Прошлом лето она проводила на даче в Сокольниках у своей тетки, ездила на музыку, в летние театры, участвовала в пикниках или проводила вечера с подругами. Как все это было не похоже на то, что окружает ее теперь: и природа, и обстановка, и люди! Главное дело – люди. Она вспоминала своих дачных кавалеров, и какими жалкими казались они ей по сравнению не только с Воиновым и Муртуз-агой, но даже Ожоговым и ее зятем. В летних модных костюмах, в изящно-небрежно повязанных галстучках и уродливо модных башмаках лыжами, в которых и ходить-то было неудобно, – они, вооруженные толстыми модными дубинками и поигрывая моноклями и брелоками, ломались около своих дам, как петушки, соперничая между собой изящными манерами и остроумием. Лидии пришел на память один случай, когда встретившийся на аллее дог произвел страшный переполох во всей этой компании. Кто-то почему-то крикнул: «Бешеная!» – и все кавалеры, забыв о своих модных дубинках, растерялись

до того, что начали прятаться за дам, один полез на дерево, а двое шмыгнули в первый попавшийся палисадник.

Собака, опустив голову и поджав хвост, пробежала мимо, не взглянув даже на людей, и только когда она исчезла из виду, растерявшиеся кавалеры начали приходить в себя и на посыпавшиеся на них упреки со стороны дам принялись мило отшучиваться, стараясь каламбурами замаскировать свое душевное убожество.

Под впечатлением этого воспоминания Лидия взглянула в загорелое, открытое лицо Воинова, в его серые честные глаза, окинула взглядом всю его могучую фигуру. «Этот бы не побежал не только от собаки, а от зверя», – подумала она, и ей невольно припоминались рассказы о нескольких удачных выходах Воинова, про которые ей сообщил Рожновский. Как однажды он с четырьмя человеками, под выстрелами отступавших разбойников, кинулся в реку, переправился по глубокому броду и бросился в шашки на втрое сильнее врага. Другой раз, обходя секреты и наткнувшись на вооруженного контрабандиста, он лично задержал его, вырвал у него из рук заряженное ружье в ту минуту, когда тот готов был уже спустить курок, и привел на пост, держа одной рукой за шиворот, а другой угрожая послать ему в голову пу-

лю из револьвера. В начале знакомства с Воиновым Лидии, начитавшейся романов, он показался просто героем, но теперь, после встречи с Муртуз-агой, образ Воинова значительно потускнел в ее глазах. По сравнению с Муртузом он казался ей теперь ординарным. «Здесь, на границе, много таких молодцов офицеров, – думала она, – в Муртузе же есть что-то загадочное; в нем, под наружным спокойствием, таится не вполне укрощенный зверь, могучая, страстная натура, с прошлым, исполненным всяких приключений. Много испытавший на своем веку человек, с сильным характером и непреклонной волей!» – охарактеризовала она его мысленно. Лидия украдкой взглядывала в спокойное, бледное лицо Муртуза, сидевшего напротив нее на скамейке, тщетно стараясь прочесть таившиеся в нем мысли, но лицо это было непроницаемо, как маска, и только в его больших черных глазах светилась задумчивая грусть.

Лодки между тем быстро подвигались вперед. Гребцы-солдаты дружно и сильно наваливались на весла. Воинов вначале тоже греб некоторое время вместо одного из солдат, но потом ему надоело, и он пересел на руль.

– Господа! – крикнула вдруг Лидия шедшей сзади них лодке. – Давайте устроим гонку. Вон до того острова, чья лодка раньше к нему причалит!

– Отлично! – отозвался Ожогов, девизом которого было: «Угождай дамам». – Соломенко, – обратился он к рулевому своей лодки, – обгонишь ихнюю лодку – два рубля гребцам на чай!

– Слушаю, ваше благородие! – весело крикнул Соломенко, удачно тряхнув головой и вызывающе поглядывая на лодку соперников.

– Ну, ребята, не зевайте! – предупредил своих гребцов Воинов, – обойдем лодку полковника, от меня два рубля!

– И от меня тоже! – добавила Лидия.

– Надо подровняться, а то вы впереди! – крикнула Ольга Оскаровна. – Подождите нас!

– Ждем. Ну, раз, два, три!..

Восемь пар весел дружно и с размаха упали в воду. Началась гонка.

Лодки, на вид очень тяжелые и неуклюжие, в действительности оказались довольно ходкими. Солдаты выбивались из сил, всей грудью наваливаясь на весла. Они высоко поднимали их над водой и широкими взмахами далеко отводили назад.

По мере того как расстояние, отделявшее их от острова, сокращалось, всеми овладело лихорадочное волнение. Даже дремавший все время доктор оживился и время от времени поощрительно покрикивал на гребцов. Один только Муртуз-ага, по-видимо-

му, оставался совершенно спокойным, но когда лодка противника начала вдруг опережать их, даже и он не выдержал и с загоревшимся взглядом собирался что-то крикнуть, но сдержался, усмехнулся и медленно провел рукой по лицу, как бы сглаживая этим жестом проступившее сквозь него волнение.

Лидия же волновалась больше всех.

– Что же это такое! – повторяла она, чуть не плача. – Они нас обходят!

– Не беспокойтесь, барышня! – успокаивал ее один из гребцов. – Пушай их идут передом, повымотаются малость, мы их под самым обрывом обчикурим. Ребята, – обратился он к остальным гребцам, – смотри, не зевай; как поравняемся вон с тем камышом, ложись дружней на весла, а главное, сразу и дальше заводи, а вы, ваше благородие, – обернулся он к сидевшему у руля Воинову, – когда пойдем мимо, сильнее руль направо кладите, мы их тогда враз с фарватера-то ихнего собьем, им уж тогда за нами не потрафить!

– Ты, Олейников, до службы матросом, кажется, был?

– Так точно, на добровольном, не то чтобы настоящим матросом, а так себе, на пароходе состоял при отце! – усмехнулся Олейников и тут же, строго глянув на товарищей, добавил: – Ну, ребята, изготовься, сейчас будет пора!

– Au revoir {прощайте (*фр.*)}, – дразня волнующуюся Лидию, приподнял фуражку Ожогов. – Будьте здоровы!

Его лодка шла почти на целый корпус впереди, и оттуда неслись веселые подтрунивания по адресу оставших, но те хранили упорное молчание, искоса взглядывая на быстро приближающийся заросший густым камышом берег.

– Ну, с Богом, – тихо, но отчетливо произнес Олейников, – навались, ребята!

Две пары весел, как крылья чайки, дружно взмахнули в воздухе, лодка дрогнула и, как пришпоренная лошадь, рванулась вперед.

– Раз... раз... раз, – громко отсчитывал Олейников, – ну, ребята, навались, навались, так!..

С третьего взмаха лодки выровняли свои борта. Торжествовавшие уже было победу противники растерялись.

Послышались торопливые понукания. Засуетившиеся гребцы изо всех сил налегли на весла, но второпях сбились, весла легли вразброд, отчего лодка, вместо того чтобы рвануться вперед, словно бы затопталась на месте. Этой неудачей как нельзя лучше воспользовался Воинов и, круто положив руль вправо, прорезал по самому борту противника... Еще два-три могучих взмаха веслами- и лодка с разбега уда-

рилась кормой в песчаную отмель острова.

– Ура, наша взяла... Ура! – искренно торжествуя, закричала Лидия, махая платком, как флагом... но в эту минуту произошло нечто неожиданное. Шагах в пятнадцать от места, где причалила лодка, в самой чаще камыша что-то зашумело, мелькнула какая-то тень и мгновенно скрылась, почти одновременно с этим грянул эхом прокатившийся над рекой выстрел. Лидия услышала над самой своей головой жалобно-протяжный свист, точно жужжащая муха пролетела, и в ту же почти минуту на соседней лодке раздался громкий, испуганный крик. Один из гребцов – солдат выпустил из рук весло, схватился обеими руками за грудь и медленно повалился на дно лодки.

Несмотря на всю неожиданность такого происшествия, привычные солдаты и офицеры не растерялись, и в то время когда Ожогов и доктор наклонились к раненому, Воинов со своими гребцами уже был на берегу. С ружьями в руках все пятеро смело бросились в камыши на розыски дерзкого убийцы.

Лидия была так поражена всем случившимся, что сидела в лодке, не зная, что ей делать, и только растерянно озиралась кругом. В двух шагах от нее на берегу Рожновский успокаивал плачущую Ольгу.

– Где же Муртуз-ага? – мелькнуло в голове Лидии, и она начала искать его глазами, но его нигде побли-

зости не было.

Никто не заметил, как в ту минуту, когда в камышах мелькнула подозрительная фигура, еще до выстрела, Муртуз одним скачком выпрыгнул из лодки и бросился вдоль берега, наперерез убежавшему.

Прошло несколько томительных минут... На острове все было тихо, только изредка трещали кусты, и шуршал камыш под ногами солдат...

Раненого вынесли на берег, посадили, сняли с него рубаху и осмотрели. К счастью, рана оказалась пустяшной, пуля скользнула вдоль груди, слегка оцарапав кожу. Это даже была не рана, а скорее контузия. Очевидно, на солдатика, оказавшегося несколько слабонервным, подействовала не боль, а неожиданность полученного удара. Убедясь, что никакой опасности нет, Ожогов принялся сердито укорять его.

– Баба ты, братец! – сердито басил он. – Пуля тебя почти и не задела, а ты валишься, как сноп, перепугал всех!

Солдатик стоял, виновато потупив глаза. В эту минуту он, кажется, жалел, что так счастливо отделался.

Товарищи, помогавшие ему выйти из лодки, добродушно и лукаво ухмылялись, глядя на его переконфуженное лицо.

Доктор, разорвав носовой платок, делал перевязку.

– Ваше благородие, – крикнул один из солдат, рукой

указывая на реку, – извольте глядеть, вон он плывет!

Все устремили глаза туда, куда показывал солдат, и увидели посредине реки две головы, одну человеческую, а другую конскую. Человек плыл подле лошади, держась руками за ее гриву и направляя ее к русскому берегу. В обманчивом лунном свете с трудом можно было разглядеть косматую папаху пловца и торчащее из-за его головы дуло ружья.

– Садись в лодку! – крикнул Ожогов. – Может быть, догоним!

Солдаты энергично схватились за весла, и через минуту лодка уже неслась в погоню за беглецом. Почти в то же время на берег острова из камышей выбежал Воинов со своими солдатами. Первым их движением было схватиться за ружья, чтобы послать в пловца несколько пуль, но, увидя спешившую в погоню лодку, Воинов из боязни, как бы своими выстрелами не задеть сидящих в лодке людей, приказал своим солдатам опустить ружья.

– Теперь он уйдет! – с досадой произнес Олейников, стоя рядом с Воиновым и следя за движениями лодки. – Там сейчас будет отмель, они как раз на нее напорятся, особенно с разбега, а он тем временем к берегу подплывет, сядет на коня и ускачет!

Предсказания Олейникова не замедлили сбыться. Не успел он замолкнуть, как вдруг лодка останови-

лась в своем стремительном беге и закачалась, наскочив всем дном на песчаный перекат, которыми так изобилует Араке.

Воинов видел, как двое солдат выскочили из лодки и, стоя по пояс в воде, изо всех сил старались спихнуть ее с места, третий солдат и сам Ожогов помогали им, упираясь в дно отмели веслами.

– Я так и знал! – проговорил недовольным тоном Олейников. – Было бы лучше из ружей в него вдарить, может быть, какая пуля и зацепила бы, а теперь он свободно уйдет. Вон он уже к берегу прибивается... Сел... Ну, теперь шабаш, ушел!

Татарин, приблизившись к берегу, где вода была настолько мелка, что лошадь уже могла идти, быстро вскочил в седло и погнал лошадь в прибрежные кусты; не успел он, однако, проехать и нескольких шагов, как на дальнем конце острова сверкнуло яркое пламя, и грянул выстрел. Беглец закачался в седле, запрокинулся навзничь и медленно и тяжело, как куль, свалился в воду. Волны жадно подхватили его тело, подбросили раза два на своих пенистых гребнях, закружили и повлекли вниз... Освободившаяся лошадь вскачь вынеслась на крутой берег и быстро исчезла в кустах.

– Кончена комедия! – сказал Воинов, возвращаясь со своими солдатами к лодкам. – Молодец Муртуз, это

ведь он подстрелил татарина. Я-то стрелять не мог, с моего места опасно было, чтобы не попасть в лодку, а он забежал вперед и с того конца выстрелил... Метко бьет, без промаха. А вот и он идет!

Муртуз шел, не торопясь, неся ружье в руках; лицо его, по обыкновению, было спокойно.

– Знаете, кто этот татарин? – спросил Муртуз, подходя к Воинову. – Кербалай-Аскер, каторжник. Он года два тому *назад*, бежал у вас с каторги, поселился в Персии и начал разбойничать и контрабандировать. Мне сердар давно приказывал его поймать, да все как-то не удавалось, а сегодня, как нарочно, сам подвернулся. Он, должно быть, хотел контрабанду к вам провезти.

– Чего он, дурак, стрелял! Притаился бы в камышах, мы бы его и не заметили!

– А уж это такая натура разбойничья! Не утерпел, чтобы не выстрелить: соблазн велик. К тому же он понадеялся на лошадь, думал, успеет ускакать!

– Чуть-чуть и не ускакал! Если бы не вы – ушел бы, наверняка!

Весь этот неожиданный переполох испортил всем настроение. Муртуз-ага стал проситься перевезти его на персидскую сторону, что и было исполнено. Когда лодка причалила к берегу, он наскоро простился со всеми и выскочил на песчаную отмель, где его ожи-

дал высокий, мрачного вида курд, держа под уздцы лошадь.

Муртуз ловко вскочил в седло, приосанился и поскакал от берега, сопровождаемый всем своим отрядом.

– Какой молодец! – невольно вырвалось у Воинова, с удовольствием следившего за всеми движениями Муртуза.

Лидия промолчала. Она все еще находилась под впечатлением разыгравшейся перед ней драмы.

«Убили человека, точно куропатку подстрелили; ничего, как будто бы так и быть должно!» – думала она с затаенным ужасом.

Всю остальную дорогу она сидела молча, подавленная нахлынувшими мыслями, тревожно роившимися в голове. Она думала о Муртузе, произведшем на нее сегодня такое сильное и вместе с тем разностороннее впечатление. Он очень нравился ей, возбуждал любопытство, но в то же время вселял ужас, смешанный с отвращением.

– Сколько людей убил этот человек на своем веку? – спрашивала себя Лидия.

«Во всяком случае не одного и не двух!» – давала она сама себе ответ, и при этом жуткая дрожь пробежала по ее телу.

XV. У таможенного парома

Селение Шах-Абад, где стояла шах-абадская таможня, соединялось с персидским селением Ака-дыр посредством двух паромов, русского и персидского, ходивших по реке на толстом железном канате. Персидский паром был не велик и постоянно был в неисправности, на нем переправлялись только разные персидские беки, хины и богатые купцы, простой же народ и товары возились исключительно на русском пароме, отличавшемся своими большими размерами и чрезвычайно прочной конструкцией.

Для верблюжьих караванов версты на полторы ниже паромов был брод, через который, для выигрыша времени и удобства, купцам было разрешено возить товары на верблюдах, не разгружая их, но под наблюдением солдат пограничной стражи.

Переправа на паромах начиналась с 9 часов утра и продолжалась до заката солнца, под непосредственным надзором таможенных солдат. С заходом же солнца русский паром запирался цепью на замок, поверх которого прицеплялась еще свинцовая пломба, и к нему ставился часовой от пограничной стражи, на обязанности которого лежало – не допускать никого к парому, а также следить, чтобы персидский паром,

остававшийся на ночь у персидского берега, не причаливал к русскому.

Наблюдение за порядком при переправах на паромах лежало на старшем таможенном досмотрщике, но в исключительных случаях, при сильном наплыве пассажиров и товаров на берег, командировался иногда канцелярский чиновник.

Старшим досмотрщиком при шах-абадской таможне был отставной фельдфебель Илья Ильич Сударчиков.

Это был старик лет шестидесяти, невысокого роста, широкоплечий, с длинными седыми бакенбардами и суровым лицом.

Несмотря на легкую сутуловатость и некоторое колебание в походке, приобретенные им на долголетней службе, старик выглядел еще молодцом, чему способствовала широкая грудь, увешанная крестами и медалями. Большая серебряная медаль на шее внушительно выглядывала из-за бакенбард и вселяла глубокое почтение толпящимся у парома мушам.

Стоя на берегу, с целой пачкой тэскэре в руках, Сударчиков неторопливо и степенно совал их в протянутые руки грязных, оборванных персов-рабочих, робко теснившихся вокруг него.

– Кэрбалай-Аласкэр! – выкрикивал он, строго глядя в надвинувшиеся со всех сторон, торопливо ды-

шашие, обожженные солнцем лица. – Машады-Измаил! Абудул-Мамед-оглы! Кэрбалай-Зэйнал! Ну, что же вы? Подходи, что ли!

Вызываемые приближались, брали из рук «старшего» свои замасленные, пропитанные потом тэскэре и, засунув их за пазуху, трусцой бежали к парому, где шла невообразимая суматоха. Здесь целый табун вьючных ослов сбился в одну кучу и меланхолично потряхивает ушами, под крик и брань о чем-то отчаянно спорящих между собой погонщиков. Там, дальше, огромный облезлый верблюд, издавая жалобный рев, осторожно и неохотно опускается на колени, подле груды каких-то ящиков, другой уже лежит, и два оборванных, невообразимо грязных татарина в косматых папах, с громкими криками, торопливо навьючивают на его израненную под седлом спину неуклюжие деревянные ящики. Верблюд, закинув голову, выпускает пронзительные стоны, точно апеллируя ко всему свету на жестокое обращение с ним людей.

Время от времени он умолкал и принимался злобно скрежетать огромными, длинными желтыми зубами, которыми мог бы, при желании, легко оторвать голову своему вожаку. Тут же, неподалеку, жалось друг к другу десятка четыре овец, около которых суетилось несколько татар, для чего-то разбивая их на два стада. Овцы пугливо блеяли, перебежали с места на

место; отбитые в сторону, всеми силами старались вновь соединиться с товарками, запыхавшиеся татары отчаянно голосили и махали палками, увеличивая и без того царящий кругом шум и гам. Седобородый мулла в белой чалме и в таком же поясе, угрюмо насупясь, сосредоточенно тянул за повод тощую, рыженькую, беломордую клячонку, оседланную высоким, неуклюжим куртинским седлом, с притороченными к нему туго набитыми хурджунами. Лошаденка, вытянув тощую шею, едва передвигала ноги, уныло пошевеливая хвостом, настолько длинным и пушистым, что, казалось, не хвост служил принадлежностью лошаденки, а, напротив – лошадь была дана в придачу к своему не по росту пышному хвосту.

Несколько курдов в живописных костюмах, увешанные целым арсеналом оружия, лениво облокотясь на седла своих крошечных лошадок, с терпеливым достоинством выжидали очереди, презрительно поглядывая на снующих мимо них персов. Когда паром нагружался людьми, товаром и животными до положенной нормы, Сударчиков махал рукой паромщику, канат натягивался, и паром, тяжело отвалив от берега, начинал медленно пересекать реку. Через некоторое время он возвращался обратно, привозя новую толпу людей, лошадей, ишаков, овец, которые, как только борт парома касался схода, стремительно, точно

спеша спастись от погони, бросались на берег, толкая и обгоняя друг друга.

Прибывшие из Персии «пассажиры» собирались в одну толпу и под конвоем двух солдат пограничной стражи следовали на таможду для визирования своих паспортов и предъявления к осмотру привезенных с собой вещей. Для тех, кто был хорошо одет и ехал на хороших собственных лошадях, делалась небольшая поблажка: их не заставляли ждать, пока партия соберется, а отправляли в таможду немедленно.

– Илья Ильич, – почтительно доложил младший досмотрщик, состоявший у Сударчикова в помощниках, – извольте взглянуть, никак хан Акадырский едет!

Он указал пальцем на приближающийся персидский паром, на платформе которого стояло несколько пестро одетых всадников. Впереди всех на рослом сером, блестящем, как серебро, жеребце сидел мужчина, одетый в персидский полукафтан и папаху с гербом. Сзади его, держа лошадей в поводу, стояло двое курдов в ярко-красных бархатных куртках и пестрых поясах. На голове у них были черные чалмы из шелковых платков, с выпущенной на глаза бахромой. Седла и чепраки их рослых и статных коней были расшиты шелком.

– Нет, это не хан, – пристально взглядываясь в лицо всадника, произнес Сударчиков, – хан много старше,

ростом ниже и из себя плотнее, это – какой-то незнакомый, я его впервой вижу. Должно, какой бек знатный или чиновник ихний!

Паром, тем временем, подошел к берегу; стоявшие до того смирно, лошади заволновались, особенно серый жеребец находившегося впереди всех всадника. Не успели паромщики настлать кое-как доски сходен, как он уже горячо рванулся вперед, но, почувствовав под ногами пляшущие, как клавиши фортепиано, доски, испугался, взвился на дыбы и одним огромным скачком, птицей перелетел на берег, не касаясь предательских сходен копытами. Сопровождавшие всадника курды осторожно провели лошадей в поводу.

– Ким-адам? – спросил Сударчиков, подходя к всаднику, с трудом сдерживавшему на строгом мундштуке разгорячившуюся, нервно танцующую лошадь.

– Муртуз-ага, секретарь Суджинского сардаря, – отвечал тот по-русски, – я к управляющему таможенной!

– Пожалуйте! – повел рукой Сударчиков.

Муртуз-ага толкнул лошадь широкими стремянами к коротким азиатским галопом поскакал к таможене, отстоявшей от берега менее чем в версте расстояния. Сударчиков проводил его глазами и задумался.

– Лицо как будто бы знакомое; где я его видел? Сюда, в таможеню, он никогда не приезжал, а между тем мне ясно помнится, словно бы я с ним где-то встре-

чался. Или, быть может, похожий на него; они, басурмане, все на одно лицо, немудрено, что и смешаешь!

В это время подошел русский паром; целая толпа «пассажиров» с криком и гамом повалила мимо Сударчикова и отвлекла его внимание.

Лидия Оскаровна сидела в своей комнате у окна, когда увидела проскакавшего мимо сада Муртуз-агу. Хотя на охоте Рожновский и звал Муртуза к себе в гости, но тот отвечал так уклончиво и неопределенно, что Лидия вывела заключение о нежелании, по известным ему одному причинам, приехать в Россию, а потому внезапное появление Муртуза явилось для нее крайней неожиданностью, немного даже взволновавшей ее.

– Ольга, Муртуз-ага приехал! – сказала Лидия, торопливо входя в столовую, где сестра ее что-то шила. – Должно быть, к нам в гости!

– Ну, что ж, – спокойно произнесла Ольга Оскаровна, – милости просим. Я думаю, он согласится с нами пообедать; он, кажется, не фанатик!

– Разумеется! – подтвердила Лидия и поспешила к себе в комнату, привести в порядок свой домашний, несколько небрежный костюм.

– Mesdames {мадам (фр.)}, – весело произнес Рожновский, входя в гостиную, куда Ольга и Лидия успели уже выйти, угадайте, кого я вам привел?

– Муртуз-агу! – весело крикнула Лидия. – Не стройте секрета, я сама видела из окна, как он подъехал к таможне!

– Глазки дам – за орлиные не отдам! – по своей привычке говорить иногда двустышиями, произнес Рожновский. – От вас ничего не скроется. Угадали, Муртуз-агу! Он пока еще в таможне, но сейчас придет. Кстати, Олечка, – обратился Рожновский к жене, – имей в виду, я его пригласил обедать!

– Ну, так что же? Небось, хватит всем, только не знаю, понравится ли?

– Понравится. Ты ведь у меня хозяйшкa первый сорт... А вот кстати и он! – дверь отворилась, и в комнату, неслышно ступая по разостланному ковру, вошел Мур-туз. Увидя дам, он учтиво поклонился и поспешил дружелюбно пожать протянутые руки.

– Милости просим, – радушно приветствовала его Ольга Оскаровна, – прошу, садитесь. Мы вас давно поджидали. Думали, что вы уже и не приедете!

XVI. Неожиданный гость

– Дела были; к тому же, сардар не любит отпускать своих приближенных в Россию. Надо было выбрать удобную минуту, чтобы получить разрешение!

– Почему же? – спросила Лидия.

– Аллах его ведает! – рассмеялся Муртуз. – Может быть, боится измены. Надо вам знать, он у нас очень болезненный и через это чрезвычайно мнительный и подозрительный. Чуть что, сейчас в измене обвинит; ему и так все мерещится, будто бы Россия хочет завладеть Суджинским хадством!

– Но раз уже вы вырвались, – засмеялась Ольга Оскаровна, – то надеюсь, вы к нам на целый день, будем обедать вместе. Не правда ли?

Муртуз вместо ответа низко склонил голову, Лидия, сидя у окна так, чтобы не быть прямо у него на глазах с любопытством разглядывала его. На этот раз Муртуз показался ей несколько иным, чем там, на охоте, но она долго не могла решить, был ли он сегодня лучше или хуже.

– Он сегодня более европеец, – решила она наконец, – и это, пожалуй, идет к нему!

Действительно и в одежде, и в манерах Муртуз-аги была большая разница. Мундирный кафтан из тон-

кого темно-синего сукна был, вопреки персидскому обычаю, застегнут на все пуговицы, из-под ворота выглядывали крахмальные воротнички, а из рукавов белоснежные манжеты, по борту шла золотая цепочка. Войдя в комнату, он снял свою папаху, чего персы тоже не делают, оставаясь всегда в головном уборе. Обычай не снимать шапок настолько прочно вкоренился у персов, что русское правительство сочло возможным, как своим подданным мусульманам, так и персидским – разрешить оставаться в шапках даже и там, где для всех прочих снятие головного убора признается обязательным, как, например, в суде, в присутственных местах и т. п.

В городе Ереване, во время богослужения в царские дни, в кафедральном соборе персидский консул присутствовал с надетой на голове папахой.

Держал себя Муртуз-ага тоже несколько иначе. Не прикладывал так часто руку к сердцу и не отвешивал низких, подобострастных поклонов.

– А вы знаете, я к вам с просьбой, – начал Муртуз-ага после первых незначительных фраз; обращаясь к Рожновскому, – не согласитесь ли вы с вашими дамами и тем офицером, что был с нами на охоте, пожаловать к нам в Суджу? Там много интересного: увидите, как живут наши ханы, посмотрите их дворцы, наконец, сама местность очень интересна. Суджа на-

поминает немного Северный Кавказ. Я уверен, если вы согласитесь приехать, то не раскаетесь!

– А как далеко до Суджей? – осведомился Осип Петрович. – И как туда проехать?

– Я думаю – и пятидесяти не будет, а ехать можно сначала до селения Туна в экипаже, а оттуда уже верхом, так как за Туном дорога пойдет ущельем, и на колесах ехать почти невозможно; до Туна же дорога очень порядочная!

– А до Туна сколько верст?

– Больше половины, так что верхом вам придется проехать не особенно много, верст 18–20. Зато дорога чрезвычайно интересная. Все время ущельем, по склонам гор; виды восхитительны, вы просто залюбуетесь. К тому же там горы не такие, как здесь, совершенно обнаженные, без всякой растительности; наши горы покрыты лесом и кустарниками, в которых водится очень много Дичи, горные козлы и даже медведи. Медведей мы, разумеется, не встретим, но козлов можем увидеть, правда, издали, как они прыгают со скалы на скалу!

– Что же я, пожалуй, не прочь, вот только как дамы! – согласился Рожновский. – Мне, признаться, самому давно хочется побывать в Персии подальше от границы, а то я за четыре года, что живу здесь, бывал только в приграничных селениях, да и то на какой-ни-

будь час, не больше!

– Ну, а об нас и толковать нечего! – воскликнула Лидия. – Мы, разумеется, едем с восторгом, не правда ли, Ольга?

– Конечно, такая поездка очень интересная вещь, и я охотно поеду. Воинов тоже наверное поедет!

– Разумеется, в этом не может быть никакого сомнения, мы ему просто-напросто прикажем. Теперь только надо выработать план поездки. Экипажи мы где достанем?

– Надо будет нанять фаэтонщиков из Нацавли. Они часто ездят в Суджу; из Нацавли туда есть даже прямая колесная дорога. Не правда ли?

– Есть, – кивнул головой Муртуз, – но эта дорога крайне неприятная, очень пустынная, каменистая и скучная. Мы поедем прямо отсюда!

– А как же с верховыми лошадьми? – поинтересовалась Лидия.

– Верховых лошадей я вам доставлю сколько угодно:

– О, нет! – замахала руками Лидия. – Я если поеду, то только на своем Копчике; на другую лошадь я не сяду ни под каким видом!

– Если желаете, то это легко устроить: накануне поездки я пришлю за вашей лошадью двух своих надежных курдов, они доведут ее до Туна и там заночуют.

Что касается меня, то я со своими людьми встречу вас у самого парома на персидской стороне и буду провожать до Суджей. В Туне мы устроим привал, слегка закусим, вы сядете на ваших лошадей, и к вечеру мы уже будем в Судже!

– Великолепно; ах, как я рада! – захлопала Лидия в ладоши. – Вы, Муртуз-ага, право премилый!

Муртуз слегка вспыхнул и опустил глаза.

– Помилуйте, – произнес он, – ваше посещение нам, суджинцам, будет большая честь и радость. Сардар сам хотя и болен, но будет искренно счастлив вас видеть!

– Когда же мы поедем?

– Я думаю, лучше всего в начале будущего месяца. Теперь еще чересчур жарко, а в первых числах сентября будет прекрасно! – заметил Рожновский. – В сентябре по утрам и к вечеру становится уже прохладно, а потом и дорога не так утомительна. Не правда ли, Муртуз-ага?

– Хотя для меня чем скорее вы приедете, тем приятнее, но, говоря откровенно, вы правы. Теперь действительно еще жарко, но в первых же числах сентября будет как раз впору. Надо вам знать, что в самых Суджах климат суровее, нежели в долине, а потому позднее начала сентября там уже значительно холодно, особенно по ночам.

– Нет, зачем же позднее! – возразил Рожновский. – Я надеюсь, мы соберемся числа 5–6; надо только с Воиновым условиться. Может быть, он сегодня вечером подъедет. Мы вместе все и обсудим, что и как, а теперь не пора ли обедать? Ты как, жинка, думаешь?

– Сейчас прикажу накрывать – ответила Ольга Оскаровна и вышла распорядиться по хозяйству.

– Вы что же, Лидия Оскаровна, – обернулся Рожновский к девушке, – так далеко сели? Садитесь поближе и будем балакать, пока жинка нам обед справляет.

Лидия пересела на диван против Муртуза.

Она была одета в светлую голубую кофточку, с вырезанным воротом и широкими рукавами. Серебряный кавказский пояс на галунной тесьме туго перетягивал ее стройную талию. Густые, пепельно-белокурые волосы были высоко подобраны и укреплены на маковке длинной булавкой в виде стрелы. Целый каскад мелких завитков ниспадал на ее высокий белый лоб.

Муртуз-ага с нескрываемым восхищением любовался молодой девушкой. В этом костюме она казалась ему еще лучше, чем в амазонке.

Если бы была его воля, он, кажется, сидел бы и только смотрел ей в лицо, молча, ничем не развлекаясь, никакими разговорами. Требовалось большое

усилие воли с его стороны, чтобы заставить себя не смотреть ей прямо и пристально в глаза, в эти чудные, темно-темно-голубые глаза, казавшиеся по временам черными, с изящными, словно кистью художника нарисованными бровями.

Слушая мелодичный голос девушки, Муртуз-ага с трудом улавливал смысл слов и только глядел, как шевелятся ее красивые, пунцовые губы, как зазорно сверкают за ними ее белые, ровные-ровные, изящные зубки.

«Если бы рай Магомета не был выдумкой мусульманской фантазии, и в нем действительно жили бы гурии, они не могли бы быть лучше», – думал Муртуз, любуясь Лидией.

Лидия не ошиблась. Только что успели встать от стола с чашками турецкого кофе перейти в гостиную, как приехал Воинов. Он очень часто посещал Рожновских. Если служба и занятия не позволяли ему пробыть весь вечер, он довольствовался тем, что, справившись о здоровье, сидел минут пятнадцать-двадцать, после чего уезжал назад к себе.

Ни для Осипа Петровича, ни для Ольги Оскаровны не было тайной, что Воинов без ума влюблен в Лидию, и так как он был им обоим весьма симпатичен, то они и не находили нужным мешать дружескому сближению между молодыми людьми. Вначале, с первых

дней знакомства, отношения Лидии к Владимиру Аркадьевичу были весьма дружественные: он заметно ей нравился, и она находила большое удовольствие в его обществе, но за последнее время в обращении Лидии с Воиновым была заметна какая-то нервность, иногда она бывала с ним особенно любезна, даже ласкова. Иногда же, ни с того ни с сего или принималась зло над ним подтрунивать, или совершенно игнорировала его присутствие. В такие дни на Воинова было жалко смотреть; он как-то весь съеживался, робел, не знал, что и как говорить, чтобы не усилить дурного расположения девушки, старался угодить ей и благодаря всему этому становился, действительно, немного смешным.

– Лидия, – пробовала Ольга Оскаровна урезонивать сестру, – ты просто невозможна в своем обращении с Воиновым, ты на каждом шагу обижаешь его!

– Ах, он настоящий теленок. Знаешь, такие бывают породистые, полуторагодовалые бычки, очень сильные и, пожалуй, страшные, когда разозлятся, но в обычном своем состоянии добродушно туповатые... Понимаешь, что я хочу сказать?

Ольга Оскаровна пожимала плечами и недовольно отворачивалась от сестры.

На этот раз Лидия была в очень хорошем расположении духа и встретила Воинова весьма любезно.

– Вас только недоставало! – воскликнула она, протягивая ему руку. – Мы проектируем поездку в Суджу, и я вперед дала за вас согласие!

– Отлично сделали, – влюбленными глазами глядя на девушку, произнес Воинов, – раз вы едете, я, разумеется, буду счастлив сопровождать вас!

– Муртуз-ага обещал приехать со своими курдами к нам на встречу, так что опасности никакой быть не может! – добавила девушка с какой-то неуловимой, особенной интонацией в голосе, которую различить могло только ухо влюбленного.

– Если вы, Лидия Оскаровна, – вспыхнул Воинов, – сообщением об отсутствии опасности хотите успокоить меня, то, уверяю вас, что я о ней не думал!

– Какое же может быть сомнение! – задорно воскликнула девушка. – Разве мы не знаем, что вы известный рыцарь Баярд, без страха и упрека!

Оно понятно
И для детей, и для детей,
Что жизнь приятна,
Но смерть честней...

шаловливо пропела она и вдруг скороговоркой добавила, как бы про себя: «но только зачем всем и каждому в нос тыкать своей храбростью!»

Воинов покраснел, хотел что-то сказать, но удержался.

жался и отошел к Ольге Оскаровне. Он чуть не плакал от обиды и огорчения.

«Вот и всегда так, – думал он про себя с мучительной тоской, – сначала любезна, мила, а через минуту начинает язвить, – и за что?»

Муртуз-ага, бывший свидетелем всей этой сцены, сделал вид, будто ничего не заметил, и поспешил заговорить о лошадях.

– Я понимаю, – начал он, – что вы, Лидия Оскаровна, любите вашего Копчика, это действительно прекрасный конь, но когда вы приедете в Суджу, вот там вы увидите лошадей... Наши ханы развели собственную породу, прекрасные лошади, рослые, статные, красивые, по виду – настоящие арабы!

– Вы, кажется, опять пикировались с Лидией? – спросила Ольга Оскаровна подсевшего к ней Воинова.

Тот принужденно улыбнулся.

– Лидия Оскаровна все надо мной подтрунивает! – сказал он, деланно веселым голосом.

– У ней уже такой характер! – постаралась успокоить его Ольга. – Она и на наш с мужем счет не прочь пройти, только бы случай представился!

Лидия между тем с большим любопытством расспрашивала Муртуз-агу об обычаях его страны. Ее очень интересовали свадебные и похоронные обря-

ды персов, взаимные отношения членов семьи между собой, государственный строй ханства и быт его жителей.

Муртуз рассказывал охотно и настолько интересно, что мало-помалу и остальные члены компании подсели ближе, желая послушать его рассказы.

– Положение женщины у нас, – говорил Муртуз, – действительно ужасное. Особенно в простом сословии она не имеет никаких прав, и жизнь ее совсем не обеспечена. Еще здесь, у русских, благодаря строгости законов и судебно-медицинскому следствию, женщины, хоть немного, да ограждены от насилия; у нас же, в Персии, убить жену так же легко, как всякое домашнее животное, если только у нее нет могущественных родственников, которые пожелали бы заступиться за нее. Впрочем, последнее случается очень редко, ибо по нашим адатам никто не имеет права вмешиваться в семейные дела другого, хотя бы ближайшего родственника. Если позволите, я расскажу вам два случая, из которых вы увидите, в каком беззащитном положении находится наша женщина.

XVII. Людская злоба

– Года три тому назад, – начал Муртуз свой рассказ, – в одном селении проживал молодой бек человек не богатый, но и не бедный. Отец у него умер, а всем домом заправляла мать-старуха. У бека были две сестры, одна вдова, другая еще девушка. Молодой бек – звали его Кербалай-Мустафа-Машади-Аласкер-оглы, занимался, как и большинство наших беков, скупкой и перепродажей пшеницы и хлопка. По роду своих занятий ему приходилось часто отлучаться от дому и разъезжать по разным селениям и местностям. Вот в одну из таких поездок он случайно увидел в одном селении молодую девушку, производящую на него сильное впечатление. Он тут же познакомился с отцом девушки и стал ее сватать себе в жены. Старик отец согласился, но заломил слишком большой кэбин. Кэбин – это плата отцу невесты. Долго спорили, торговались, наконец условились так, чтобы Мустафа уплатил половину выкупа и брал себе в дом невесту, но с тем, чтобы окончательно свадьба была совершена только после того, когда жених уплатит и вторую половину кэбина. Это было необходимо еще и потому, что невеста была слишком молода, ей не было 12-ти лет. Раньше этого возраста браков не заклю-

чают, делают только нечто вроде вашего обручения. Так поступил и Мустафа, обручился со своей невестой, уплатил тестю половину кэбина и повез девушку домой, но тут его ожидала большая неприятность. Старуха мать страшно рассердилась узнав о поступке сына. С одной стороны, она нашла, что кэбин слишком велик, и невеста его не стоит, с другой, а это главное, она рассчитывала женить своего сына на сестре покойного мужа своей дочери-вдовы. Благодаря такому браку, по нашим адатам, все имущество переходило в род Мустафы. Однако делать было нечего. Расторгнуть обручение не представлялось возможным: Мустафа, искренно полюбивший свою девочку-невесту, слышать не хотел об этом, да к тому же подобное расторжение представлялось и крайне невыгодным, так как в случае отказа жениха от невесты уплаченная половина кэбина не возвращалась. Таким образом, отец невесты получал и девушку назад, которую он мог снова отдать другому за такой же кэбин, и порядочную сумму денег, полученную от Мустафы.

Надо было предпринять что-нибудь другое, и старуха, недолго думая, решила убить девочку. Это было тем выгодней, что, по условию если невеста умрет раньше совершения брака, отец должен был вернуть полученную с жениха часть кэбина. Однако, решившись отделаться от невесты, старуха должна бы-

ла действовать крайне осмотрительно, ибо в случае открытия преступления, ей, с одной стороны, угрожал гнев сына, а с другой – судебное преследование отца невесты, который, если не из любви к дочери, то из нежелания возвратить полученную часть кэбина и стремясь дополучить остальную, не позволит замять дела и выведет убийство на чистую воду, а в этом случае у нас, в Судже, расправа короткая, – банка керосина на голову и кусок горячей ваты за пазуху. Сознавая, что одной ей не привести в исполнение свой план, старуха открылась старшей дочери-вдове, которая, будучи заинтересована в смерти девочки, охотно взялась помогать матери. Много планов перебрали они обе, но не один не оказывался подходящим. Тонких, медленно действующих ядов у нас не знают, а смерть от грубой отравы сейчас же возбудила бы подозрение.

Задушить, спихнуть в пропасть, утопить тоже было неудобно, принимая во внимание отца невесты. Надо было изобрести что-нибудь потоньше, позамысловатей. Пока женщины изобретали план убийства, время себе шло да шло. Подходил срок совершения свадьбы. Мустафа скопил требуемую сумму и уже назначил день, когда он решил поехать к отцу невесты отвезти ему вторую половину кэбина, как вдруг в доме его случилось несчастье. В одно утро старуха ве-

лела своей будущей невестке принести ей горсть муки. Мука находилась в мешке, помещавшемся в задней комнате, служившей кладовой. Не успела молодая девушка скрыться за дверью кладовки, как раздался отчаянный пронзительный вопль, и через минуту она выбежала назад бледнее полотна, с искаженным от ужаса лицом.

Держа высоко над головой правую руку, из которой капала кровь, она отчаянным голосом вопила:

– Юрза, юрза!

– Что случилось, что такое? – с напускной тревогой в голосе начала расспрашивать старуха, мать Мустафы. – Отчего у тебя кровь?

– Меня ужалила юрза! – трагическим голосом закричала молодая девушка. – Только я открыла мешок и сунула в него руку, как почувствовала, что меня что-то сильно укололо, я взглянула, а в мешке – юрза. Пошлите скорей за хакимом.

Старуха, продолжая разыгрывать роль испуганной и страшно огорченной, сама побежала к проживавшему в том селении знахарю, но по дороге, как назло, ей то и дело встречались соседки, которым она не могла не рассказать о поразившем ее несчастье. Благодаря этим остановкам, а отчасти и тому, что глухой хаким долго не мог взять в толк, о чем ему рассказывает так подробно и обстоятельно почтенная мать Му-

стафы, – прошло слишком много времени, настолько много, что, когда уразумевший, наконец, хаким с быстротой, на которую только были способны его старые ноги, прибежал в дом Мустафы, девушка находилась в агонии. Она билась на земле от нестерпимой муки и оглашала воздух отчаянными, душу надрывающими воплями. Через несколько минут несчастная скончалась, а часа два спустя прискакал сам Мустафа, бывший по делам в соседнем селении.

Весть о смерти невесты поразила его, как громом, он громко рыдал, забыв свое мужское достоинство. Старуха мать и сестра-вдова рыдали еще громче. Глядя на их печаль, никому бы не могло придти в голову, что смерть девушки была делом их рук. Они умудрились как-то изловить юрзу и сунуть в мучной мешок в надежде на то, что, когда невестка пойдет за мукой, змея, потревоженная в своем покое, непременно ужалит ее. Расчет их удался как нельзя лучше, ни подозрений, ни сомнений ни у кого не могло быть никаких. Появление змеи в домах, причем они забираются не только в мешки с провизией, но даже в постели и кувшины для воды, – у нас явление обыкновенное. Смерть от их страшных укусов тоже не редкость. Особенно часто гибнут дети и женщины. Тем бы так все и кончилось, если бы не замешался вопрос о возвращении отцом невесты кэбинных денег. Старик был при-

жимист и, как все персы, страшно жаден. Отдать назад то, что он уже считал своим, ему казалось прямо, невозможным. Под разными предлогами он стал откладывать расчет с Мустафой, а тем временем начал разносить о всех подробностях жизни своей дочери в доме жениха и ее смерти.

По некоторым данным он скоро убедился, что мать Мустафы ненавидела свою будущую невестку и прочила своему сыну в жены другую женщину. Это известие усилило подозрение старика, и он с большой настойчивостью отдался своему следствию, и вот, совершенно неожиданно, он наталкивается на мальчишку-пастушка, который сообщает ему, что видел своими глазами, как рано на заре мать Мустафы со своей старшей дочерью ловили в глиняный кувшин юрзу: «Это случилось как раз в тот день, когда умерла девушка, жившая у Мустафы», – окончил свой рассказ мальчик.

Получив такое важное сведение, отец пошел к Мустафе и высказал ему свои подозрения. Надо отдать справедливость молодому человеку, он поступил в этом случае вполне благородно. Внимательно выслушав старика, Мустафа позвал к себе младшую сестру и подверг ее строгому допросу. Молодая девушка сама ничего не знала, она могла только повторить несколько фраз, случайно подслушанных ею из раз-

говоров ее матери со старшей сестрой; но для Мустафы эти фразы не оставляли никакого сомнения в преступлении, совершенном его матерью. Он был страшно поражен, и бешенству его не было границ; но в то же время не мог же он выдать судьям свою родную мать и сестру. Надо было уладить дело. Отец невесты оказался сговорчивее, чем можно было ожидать. Он охотно согласился помириться на условиях не возвращать жениху полученной части кэбинных денег и уплаты сим последним еще ста рублей. Единственным последствием всей этой истории было то, что Мустафа, оставив мать и сестер в том доме, где они жили, сам уехал от них и поселился в одном селении. Теперь он уже женат и едва ли вспоминает свою погубленную невесту.

XVIII. Загубленная жизнь

Другой случай, если хотите, еще трагичней. Было это лет 10–12 тому назад. Жил в нашем краю богатый и знатный бек Гаджи-вали: было ему лет за 60, это был человек крайне свирепый и властный. Семья у него была большая, так как он имел много жен, но, кроме женской половины, в мужской жил с ним только младший сын Беюк-бек. Остальные сыновья, не желая подчиняться суровому деспотизму отца, жили сами по себе. Если сыновья имели основание жаловаться на суровость Гаджи-вали, то дочери его и жены просто изнывали от его грубого, подчас зверского обращения. Двое из сыновей Гаджи-вали жили здесь, в России, откуда родом были их жены, и вот однажды по какому-то делу Гаджи-вали послал к одному из них Беюк-агу.

Живя у брата, Беюк-ага познакомился с сестрой его жены, молоденькой 12-летней Гюзейль-ханум и пожелал взять ее в жены. Вернувшись домой, он сообщил об этом старику, причем не преминул в восторженных выражениях описать красоту своей возлюбленной. Гаджи-вали, против обыкновения, выслушал слова сына весьма снисходительно и, согласившись на его просьбу, лично отправился в Россию к родителям

Гюзейль-ханум просить ее в жены сыну.

Хотя слава о дурном характере Гаджи-вали была хорошо известна родным девушки и ей самой, но она не сочла нужным отказывать ему в его сватовстве, рассчитывая, что, женившись, Беюк-ага по примеру прочих братьев заживет самостоятельно.

Заклучив кэбикные условия и совершив обручение, которое у нас может быть заочное, Гаджи-вали повез молодую невесту к себе в селение, где должна была быть окончательная свадьба.

Беюк-ага, ожидавший с нетерпением возвращения отца, выехал ему навстречу. Он радостно поздоровался с ним и успел переглянуться с красавицей невестой, ехавшей сзади на белом катере. В дороге, по мусульманским обычаям, жених не имел права говорить с невестой, но, приехав домой, Беюк уловил удобную минуту и, пробравшись на женскую половину, успел переговорить с Гюзейль-ханум. Счастливые и довольные стояли они в темном уголку и шепотом говорили о своей скорой свадьбе и будущей жизни. Тут же в первый раз Гюзейль-ханум высказала неременное желание свое, чтобы после свадьбы Беюк-ага ушел от отца, который ей очень не нравился и вселял в нее страх. Беюк-ага, увлеченный красотой своей невесты, с неопытностью 15-летнего юноши обещал сделать так, как она пожелает, и влюбленные заключили свой

союз жаркими поцелуями. В своем увлечении они не заметили, что давно служат предметом ехидного наблюдения со стороны старшей дочери Гаджи-вали, старой и злой ведьмы, пережившей двух мужей и поселившейся в доме Гаджи-вали в качестве домоправительницы и смотрительницы его гарема. Будучи дочерью первой, давно уже умершей жены Гаджи-вали, Фатьма – так звали эту женщину, – была гораздо старше не только всех своих сестер и братьев от других жен своего отца, но и две последних жены старика были девочками по сравнению с ней и всецело находились в рабском у нее подчинении.

В тот же день весь разговор Гюзейль-ханум с Бек-агой, значительно извращенный и дополненный, стал известен Гаджи-вали. Против ожидания Фатьмы, старик, внимательно выслушал ее доклад, только усмехнулся, но ничего не сказал и махнул рукой, чтобы она уходила.

Прошло дня два-три, в течение которых шли торопливые приготовления к свадьбе. Бек-ага и Гюзейль каждый день украдкой встречались где-нибудь и торопливо обменивались несколькими, полными нежной ласки словами.

Их молодая страсть, вспыхнувшая при первой встрече, разгоралась все сильнее и сильнее. До свадьбы оставалось каких-нибудь два дня, как вдруг Га-

джи-вали позвал к себе Бейюк-агу и, вручив ему порядочную сумму, приказал немедленно ехать в Тавриз, отвезти эти деньги одному купцу, с которым Гаджи-вали вел дела.

– Отец, – осмелился возразить Бейюк-ага, – до Тавриза два дня езды, я не вернусь раньше 4–5 дней, а через два дня моя свадьба!

– Делай, что тебе приказывают! – грозно прикрикнул старик. – О свадьбе не твоя забота!

Огорченный до глубины души, вышел Бейюк-ага из отцовской комнаты, но послушаться его воли он не мог. а потому, не теряя времени, пошел в конюшню, заседлал резвого иноходца и поспешил выехать из дому. Перед отъездом он на минутку забежал в женскую половину и, встретив Гюзейль-ханум, сообщил ей неприятную новость.

Выслушав своего жениха, Гюзейль-ханум страшно перепугалась и с плачем упала к нему на грудь.

– Не уезжай, мой сокол, до свадьбы, – жалобно шептала она, прижимаясь к жениху, – я чувствую, нам грозит беда, я боюсь, боюсь! Сердце у меня замирает, как птичка в когтях у кошки; не оставляй меня одну, умоляю тебя!

– Нельзя, моя козочка, – успокаивал ее не менее встревоженный жених, – как можно не слушаться приказания отца? И чего тебе бояться? – Я скоро вернусь,

справим свадьбу, и тогда ты не будешь знать никого, кроме меня!

– Но почему твоему отцу вздумалось вдруг так неожиданно усылать тебя? Неужели нельзя подождать с отправкой этих денег после нашей свадьбы? Ведь всего только два дня!

– В торговых делах иногда два часа имеют большое значение; должно быть, случилось что-нибудь очень важное, не терпящее отлагательства!

– Пусть кто-нибудь другой везет деньги, а ты останься!

– Некому! Отец не доверяет своим слугам. Сумма слишком велика. Ты не плачь, я вернусь гораздо скорее, чем ты думаешь. На половине пути у меня есть хороший приятель, я возьму у него лошадь, а свою поставлю к нему в конюшню отдыхать, таким образом, я буду ехать день и ночь без отдыха и послезавтра к вечеру вернусь. За это время, поверь, ничего не случится с тобой!

Беюк-ага так и сделал. Проехав полпути, с быстротой, какую только можно было требовать от лошади, он сменил ее у своего приятеля на свежую и, не отдыхая, погнал дальше. К полдню другого дня он был в Тавризе, отдал купцу деньги, взял расписку, выпил несколько стаканов чаю и поскакал назад. Всю дорогу его мучило какое-то тяжелое предчувствие, и он

нещадно торопил свою лошадь. Голодный, измученный двухсуточной безостановочной ездой, едва держась на седле, въезжал в свое селение Беюк-ага. Еще издали услышал он шум, крики, звуки зурны и гул голосов большой толпы. Он ударил плетью усталого коня и рысью подъехал к своему дому. Странное зрелище поразило его. На большом широком дворе толпилось много народу вокруг чанов с пловом. Дымились огромные самовары, мальчики в чистых рубахах разносили чай.

В углу сидели зурначи и старательно наигрывали на своих инструментах. Перед ними, на широкой, утоптанной площадке, выплясывало несколько человек. Далее сквозь открытые двери дома виднелась толпа гостей почище, в богатых одеждах, с почетными бородами, оттуда тоже неслись звуки зурны и бубна.

В первую минуту Беюк-ага был совершенно ошеломлен. Он стоял, уставив глаза, ничего не понимая. Ему казалось, что он бредит наяву, но вдруг страшное подозрение молнией озарило его мозг. Он быстро слетел с седла и бегом бросился в дом. Там он увидел своего отца-старика на почетном месте, окруженного седобородами муллами и старшинами селения. Старик был одет во все «белое, папаха его была украшена цветным платком, перед ним стоял кальян и блюдо изюма. Увидя входящего сына, Гаджи-вали слегка

смутился; он никак не ожидал такого раннего возвращения, однако сейчас же оправился и, нахмутив брови, строго спросил:

– Что это значит, почему ты не поехал в Тавриз, как я тебе приказывал?

– Я был там, отдал деньги и привез расписку, вот она! – отвечал Бейук-ага прерывающимся голосом. – Теперь позволь и мне в свою очередь спросить тебя, что значит вся эта тамаша?

– Разве же ты, Бейук-ага, – вмешался сидевший ближе всех седой кадий, – забыл, сегодня ведь свадьба твоего достопочтимого отца Гаджи-вали-машади Зюль-фагор, ты хорошо сделал, что поторопился приехать и тем доставить твоему отцу и всем нам радость видеть тебя на этом славном празднике!

– Отец, на ком ты женишься? – впиваясь горящим взглядом в лицо отца, задыхающимся голосом спросил Бейук-ага.

Старик смущенно опустил очи, избегая взгляда сына и молчал; вместо него отвечал хитрый кадий.

– Что с тобой, Бейук-ага? – изумленным голосом воскликнул он. – Можно подумать, что ты с луны свалился, если задаешь такие вопросы. Всему селению известно, что Гаджи-вали женится на несравненной, прекраснейшей дочери Алавар-хана Гюзейль-ханум!..

Не успел старый кадий произнести это имя, как Бе-

юк-ага с диким воплем выхватил кинжал из ножен и бросился на отца.

К счастью, старик, очевидно, ожидал нечто подобное от своего сына, а потому успел вовремя отшатнуться и этим движением избежал удара. Тем временем гости успели схватить безумного юношу и оттащить его от отца.

Прибежали нукеры и по приказанию Гаджи-вали отвели его в отдельную комнату и там заперли.

На другой день рано утром Гаджи-вали приказал привести к себе Бейюк-агу и между ними произошел следующий разговор.

– Знаешь ли ты, что вчера наделал? – сурово спросил Гаджи-вали. – За твой проступок я имею право убить тебя или, по меньшей мере, отрубить тебе правую руку, но ты мне сын, и я жалею тебя, а потому предлагаю тебе следующее: ты сегодня же, не повидавшись ни с кем из домашних, уедешь из нашего селения в Россию к брату; твои вещи я пришлю тебе после, а также и письмо к старшему сыну, в котором прикажу ему выдать тебе две тысячи туманов из моих денег, находящихся у него в деле... На эти деньги начинай какое-нибудь свое дело; когда узнаю, что ты умно распоряжаешься данным тебе капиталом, я помогу тебе еще, сколько будет нужно. Живи и богатей, но ко мне сюда не смей являться до тех пор, пока

я тебя не позову. Ни с кем из моих домашних, помимо меня, не смей иметь каких бы то ни было сношений, никаких известий о себе, никаких поручений. Для них – ты умер. Понял?

– Понял! – тихо ответил Бейюк-ага, у которого усталость, голод и душевные волнения отняли всякую энергию.

– Согласен?

Вместо ответа Бейюк-ага почтительно склонил голову и смиренно прижал ладони к сердцу. Впрочем, ничего иного ему и не оставалось делать. Гюзейль-ханум была утрачена им навсегда. Став женой другого, она теряла для него всякое значение.

Ко всему этому надо прибавить, что в глазах мусульман женщина стоит слишком низко, чтобы из-за нее, как бы она ни была хороша и мила сердцу, стоило восставать против отца и всей семьи, лишаться денег и выгод. «Я молод, – подумал Бейюк-ага, – а красавиц на свете много, успею жениться. Во всем воля Аллаха!»

В тот же день он уехал из родительского дома. Выезжая за ворота, он даже не оглянулся, а потому и не видел, как из-за маленького узенького окошечка, пробитого в серой стене, глядела ему вслед пара прекрасных заплаканных черных глаз... Не видел искаженного отчаянием бледного личика, не слышал по-

давленного стопа, вырвавшегося из груди несчастной, покидаемой им навсегда Женщины.

Тяжелая жизнь наступила для Гюзейль-ханум. Несмотря на всю рабскую приниженность мусульманской женщины, она не в силах была скрывать своего отвращения к Гаджи-вали и безотчетного ужаса перед ним. Старика это чрезвычайно злило, и он вымещал свою злобу на остальных женщинах своего гарема, которые, в свою очередь, понимая истинную причину его недовольства, безжалостно преследовали несчастную Гюзейль-ханум. Но самым непримиримым, самым лютым врагом ее была Фатьма; эта ведьма прямо истязала молодую женщину и довела ее до того, что та, наконец, не выдержала и бросилась в колодец, где и утонула. Главной причиной, побудившей ее на самоубийство, было известие о женитьбе Беюк-аги. Известие это ей сообщил сам Гаджи-вали, успевший к тому времени сильно возненавидеть ее за ее холодность и отвращение к нему. Терпеливо выслушав злобные насмешки старика, Гюзейль-ханум выждала, когда он удалился наконец из комнаты, молча встала, накинула чадру и вышла на двор. Дело было вечером, и на дворе никого не было, никто не видел, как молодая женщина, завернувшись плотнее в свою чадру, не проронив слова, без крика, без стопа кинулась вниз, в черную зияющую пасть колодца, как

зубами, усеянную по бокам острыми камнями.

Так погибла красавица Гюзейль-ханум, погибла подобно тысяче мусульманских женщин, являющихся бесправной, безгласной игрушкой в руках их отцов, женихов, братьев и мужей!

XIX. Размолвка

– А вы, Муртуз-ага, женаты? – спросила Лидия, когда он кончил свой рассказ. – Был, давно, – неохотно отвечал тот, – но и то недолго. Моя жена умерла через год после нашей женитьбы, и с тех пор я не женюсь!

– Разве это у вас, у мусульман, возможно? – удивился Рожновский. – Я слышал, что все богатые и состоятельные персы должны быть неизбежно женаты.

– О, далеко не все, – улыбнулся Муртуз, – при дворе нашего хана есть много молодых людей хороших фамилий и не женатых. Я хотя не молодой, но тоже не женат и не собираюсь жениться. Однако мне пора! – добавил он, торопливо подымаясь. – Скоро, я думаю, паром перестанет ходить!

– Ну, для вас, как для дорогого гостя, – улыбнулся Осип Петрович, – мы сделаем исключение, пустим паром и после заката солнца!

Муртуз учтиво поклонился.

– Сердечно благодарю за любезность, тем не менее, мне надо торопиться! – Сказав это, он начал со всеми прощаться.

– Итак, вы приедете к нам в Суджу? – переспросил он еще раз.

– Всенепременнейше, – ответила за всех Лидия, –

а пока мы пойдем провожать вас до парома. Вечер чудеснейший, и мне хочется пройтись немного.

Муртуз-ага в знак глубокой признательности за такую любезность низко склонил голову.

Когда они подошли к парому, там уже стояли курды Муртуз-аги с его лошадью.

– Чудный у вас конь! – не удержался Воинов, искренно им любуюсь.

– Бэшкэш! – произнес Муртуз и протянул Воинову повод уздечки.

– Что вы, что вы! – испугался тот и даже руками замахал. – Я ведь это так!

– Нет, нет, зачем же, такой обычай! – настаивал Муртуз.

– Ну, я этого обычая не признаю! – несколько резко произнес Воинов. – Я – русский, да и вы не перс, чтобы нам строго придерживаться всех персидских обычаев!

– Нет, я перс! – холодно произнес Муртуз-ага. – И если вам кто-нибудь наболтал про меня о том, что будто бы я не природный перс, то прошу вас этому не верить. Глупые сплетни, основанные на моем хорошем знании русского языка!

Сказав это, Муртуз-ага еще раз поклонился всем, вспрыгнул на лошадь и, толкнув ее стремями, смело поехал на паром, по дребезжащим и подскакиваю-

щим доскам настилки.

– Почему вы не взяли лошадь? – невинным тоном спросила Лидия у Воинова, когда они остались одни. – Ведь она куда лучше вашей!

– Потому-то я ее и не взял, – сухо ответил Воинов, – хотя о том, какая лошадь лучше, можно решить, только испытав их быстроту и выносливость. Это так же, как и с людьми, – добавил он, – чтобы решить, кто из них более достоин внимания и дружбы, надо их испытать. Иногда под красноречием и вкрадчивыми манерами таится дурная душа, которой следует остерегаться!

– Надеюсь, вы намекаете не на Муртуз-агу, – резко перебила девушка, – по совести сказать, из вас обоих, по-моему, вы красноречивей!

Сказав это, Лидия отвернулась и пошла к дому, не обращая более никакого внимания на Воинова, который едва нашелся, чтобы пожать руку Ольге Оскаровне и ее мужу, после чего быстрыми шагами направился к площади, где его ожидал конвойный объездчик с лошадьми.

XX. Лидия Норденштраль

Грустный и печальный сидел Аркадий Владимирович в кабинете своей небольшой квартиры на посту Урюк-Даг и машинально глядел в окно, на унылый двор, с выходившими на него окнами и дверями казармы, конюшни, цейхгауза, кладовки, кухни и прочих служебных и хозяйственных построек.

Небольшая каменистая площадка дворика представляла из себя зверинец в миниатюре. Несколько собак разного возраста и масти лежали по всем углам дворика, откинув хвосты и вытянув лапы; между ними с озабоченным хрюканьем прогуливалась большая бурая свинья, всюду суя свое любознательное рыло. За ней, повизгивая и ежеминутно ссорясь между собой, семенило несколько штук белых, черных и пестреньких поросят.

Тут же стоял, с глупо-сосредоточенным выражением горбоносой морды, большой белый баран; около него, как нежно любящие друг друга подружки, жались одна к другой две лопухие овцы, козел с длинными рогами прохаживался из угла в угол и при встрече со свиньей подставлял ей лоб, как бы вызывая на единоборство. Маленький, хорошенький, молочно-белый ишачок, с черными веселыми глазками, шаловливо

потряхивая ушками, кружился вокруг старой губастой ослицы, которая, опустив уши и расставив ноги, флегматично дремала под тенью навеса. Тут же кокетливо грелась на солнце целая семья кошек, светло-рыжей масти и с пятнами, как у кугуара. К довершению всего, в дальнем углу, прикованная цепью к будочке, в скромной позе незаинтересованного наблюдателя, сидела молодая лисичка. По-видимому, она относилась совершенно равнодушно к прогуливающимся по двору курам, гусям, уткам, индюшкам, цесаркам и ручным красноперым гагарам. Только тогда, когда какая-нибудь из этих глупых птиц проходила мимо будки, лисица мгновенно настораживала остренькие ушки; ее дотоле прищуренные глаза широко раскрывались, и в них загорался жадный огонек. Она вся собиралась в комочек и, дрожа, как в лихорадке, готова была ежеминутно прыгнуть и схватить за горло зазевавшуюся жертву. Однако птица была, очевидно, достаточно опытна, чтобы чересчур близко подходить к будке, и хитрый зверек осужден был на муки Тантала.

Воинов был большой любитель всех вообще животных. Когда летом он обедал на крылечке, то вокруг его стола собирались все четвероногие и пернатые обитатели двора, и каждый из них получал свою подачку.

Грустный и задумчивый сидел Воинов, перебирая в уме подробности вчерашнего дня. Что Лидия к нему

относится враждебно – для него было ясно, но, вместе с тем, он решительно не мог понять, чем могло быть вызвано такое недоброжелательство.

Вначале, как только Лидия приехала в Шах-Абад и они познакомились, она относилась к нему с большой симпатией. Почти дня не проходило, чтобы Аркадий Владимирович не посещал Рожновских. Он приезжал к ним под вечер, и какие чудные вечера проводили они вдвоем, сидя в саду на скамейке, под густым пшатом. Во время своих долгих бесед он, с откровенностью молодости, рассказал о себе все, что сколько-нибудь могло интересовать ее; в свою очередь, она сообщила ему о своей жизни в институте и о своем отце, который, по ее словам, представлялся личностью далеко не заурядной. Он был швед по происхождению и в Россию попал пятилетним мальчиком, привезенный своими родителями. Отец его – дед Лидии – был управляющим на каком-то заводе в окрестностях Петербурга. Когда молодой Оскар подрос, его отдали в гимназию, откуда он впоследствии перешел в технологический институт. Тем временем отец его принял русское подданство, благодаря чему сын его, весьма успешно окончив курс наук, мог легко найти себе подходящую должность. Судьба забросила его на Украину, где он встретился со своей будущей женой, типичной хохлушкой, с первого же знакомства заполонив-

шей его холодное, северное сердце. Он сделал предложение, женился и надолго поселился в Малороссии. Однако, несколько лет спустя, он очутился уже в Финляндии совладельцем, вместе с двумя другими лицами, большой писчебумажной фабрики. Дела компании шли недурно, фабрика была поставлена удачно и давала хороший дивиденд. С тех пор Норденштрали жили зиму в Финляндии, а лето в Киевской губернии, где у матери Лидии и Ольги был небольшой, но благоустроенный хутор, доставшийся ей по наследству от тетки. Впрочем, сам Норденштраль, не имея возможности покинуть завод на более или менее продолжительное время, приезжал в Хатенково, – так звали имение его жены, – не более как на пять-шесть недель. Дети, – их было трое: старшая Ольга, второй – сын Петр и младшая Лидия, – очень любили, когда отец приезжал к ним на хутор.

С его появлением они получали полную свободу. Организовывались далекие экскурсии пешком, предпринимались поездки на лодках, появлялись 4 верховых лошади; правда, эти лошади только потому могли претендовать на название верховых, что на их спинах красовались два старых дамских седла, одно английское и одно казачье. В действительности же это были обыкновенные крестьянские коняги, весьма смиренные, кроткие и твердо усвоившие себе мудрое китайское

правило, что идти шагом лучше, чем бежать, стоять лучше, чем идти, а самое лучшее, – лежать на мягкой соломе, поджав под себя косматые ноги с безобразными подковами.

Во всех этих прогулках – верхами, пешком и на лодках – Норденштраль-отец являлся первым и самым неумолимым затейщиком.

Его эти прогулки интересовали и веселили не меньше, если даже не больше, чем детей; в нем было какое-то неудержимое стремление к движению, он дня не мог проси, деть дома и на все упреки жены отвечал, добродушно усмехаясь:

– Сидящим меня можешь видеть только в Финляндии на заводе; там я сижу иногда по 18 часов в сутки. Здесь же я хочу бегать, ходить, ездить, словом, приводить в движение весь свой мышечный аппарат, а так как одному проделывать все это очень скучно, то пусть дети сопровождают меня, им это полезно; пусть запасаются силами и здоровьем на будущее время, а главное, энергией. Энергия в жизни – все. Энергия – это тот рычаг, которым Архимед хотел повернуть Вселенную!

Образование свое Ольга и Лидия получили в одном из московских институтов. Причина, почему была избрана именно Москва, заключалась в том, что в Москве жила их тетка, двоюродная сестра матери,

которой и было поручено наблюдение за девочками. Предоставив дочерей на волю матери и почти не вмешиваясь в их воспитание, Норденштраль относительно сына держался иного взгляда и всецело подчинил его исключительно своему контролю. Не желая выпускать его из виду, он решил дать ему образование в Финляндии, с тем чтобы впоследствии он закончил его в Стокгольме.

Однако судьба распорядилась иначе. Семнадцати лет молодой Норденштраль, страстный моряк в душе, погиб, катаясь в море на парусной яхте.

На старика Норденштраля внезапная, трагическая смерть сына подействовала, как удар грома. Жизнь в его глазах потеряла всякий смысл, он ликвидировал дела и поехал с женой в Москву, где решил поселиться до окончания Лидией курса наук, а затем ехать на хутор, чтобы навсегда остаться жить там. Старшая, Ольга, была уже замужем за чиновником Щербо-Рожновским, который вскоре перешел в Таможенное ведомство и был назначен на Закавказье. В Москве Норденштрали прожили всего два года, в течение которых старик Норденштраль, отстранив от себя всякую работу, чрезвычайно тосковал и хандрил. Его неутолимая, кипучая натура не могла примириться с бездеятельностью и монотонностью прозябания на какой-то Плющихе; это дурно отзывалось на его здоро-

вье. Никогда ничем прежде не болевший, крепкий, как финляндский кедр, старик вдруг ни с того ни с сего получил воспаление легких и после непродолжительной болезни, совершенно неожиданно для всех его знакомых, помер.

Потеряв в короткое время сына и мужа, старуха Норденштраль переселилась из Москвы в свой хутор, где окружила себя богомолками, странницами и приживалками. Попав в такую жизнь, по выходе из института, Лидия затосковала и потому с удовольствием поехала гостить к сестре, в Закавказье.

XXI. Мечты

Все эти подробности Воинов узнал от Лидии, беседовавшей с ним с дружеской откровенностью. Если у Лидии по отношению к Воинову было чувство Дружеской симпатии, то у него это чувство очень скоро перешло в сильнейшую любовь. За какие-нибудь две-три недели знакомства Аркадий Владимирович окончательно влюбился в молодую девушку. Не будь он так застенчив и робок с женщинами, он давно бы сделал предложение, но страх получить отказ парализовал всю его решимость. Несколько раз приезжал он в Шах-Абад, с твердым намерением порешить этот мучительный для него вопрос, но всякий раз, в самую последнюю минуту, им овладевали сомнения, боязнь получить вместо страстно желаемого согласия насмешку над своим чувством. Будучи от природы очень скромным и мало искушенным жизнью, он искренно считал себя недостойным такой девушки, как Лидия Оскаровна, казавшейся ему собранием всевозможных достоинств. Ко всему этому Аркадия Владимировича удерживал и немного злой язычок Лидии Оскаровны; веселая и насмешливая, она иногда так беспощадно вышучивала его, что он терял всякий апломб и не только не решался высказать ей волно-

вавших его чувств, но, напротив, только о том и думал, как бы она их не заметила.

Зато, оставаясь один, он часто и подолгу мечтал, какое было бы счастье, если бы Лидия сделалась его женой. Как бы прекрасно зажили они! Как бы мило, уютно устроили свою квартирку. В первое же лето, после свадьбы, он взял бы отпуск на три месяца; поехали бы сначала к его матери в имение, пожили бы там недели две-три, а оттуда бы на Минеральные Воды в Кисловодск, Железноводск, Ессентуки, а еще лучше в Абас-Туман. Сколько поэзии было бы в этом путешествии с глазу на глаз, как заманчиво улыбается одиночество вдвоем среди большой толпы незнакомого люда, снующего взад и вперед по улицам и бульварам. В мечтах своих Воинов рисовал себе картину, как гуляют они под руку где-нибудь на музыке, по аллеям парка или модного бульвара. Лидия такая стройная, изящная, со вкусом одетая; все, невольно преклоняясь перед ее красотой, почтительно дают им дорогу. «Кто эта красавица? Как фамилия? Откуда?» – раздаются кругом торопливые вопросы.

– Ах, как хороша; какая дивная красота! – слышатся произносимые полусшепотом восклицания неудержимого восторга, а они идут, не обращая ни на кого внимания, полные взаимной любви, чувствуя близость один другого, радостные и довольные, богатые моло-

достью, здоровьем и той жизнерадостностью, которая окрыляет человека и окрашивает для него весь окружающий мир яркими, сияющими красками.

Все любят и завидуют им, а они никому; они счастливы, счастливы без границ, вся душа их проникнута этим счастьем, как лучами солнца... Сознание, что эта красавица, гипнотизирующая толпу, возбуждающая восторг, удивление и любопытство, – его, всецело его, и душой и телом, любит его, живет с ним одной жизнью, думает его мыслями, интересуется его интересами, – вселяет в него чувство неизреченной гордости. Он – владелец этого сокровища, он, и только он!

При одной мысли кружится голова, дух захватывает в груди, а внутри все поет, все ликует и сливается в один неудержимый крик восторга: «Ах, как хороша, как дивно хороша жизнь!»

– Господи, неужели это только мечты, которым не суждено никогда осуществиться? – в порыве отчаяния восклицал Аркадий Владимирович, хватаясь руками за голову и в волнении принимаясь шагать по комнате.

«Иногда ему казалось, что все это так просто, так легко достижимо. Стоит поехать в Шах-Абад, переговорить с Лидией. Она же ведь относится к нему хорошо, даже больше чем хорошо, да, наконец, и Рожнов-

ский, и Ольга Оскаровна, хотя ничего не говорят, но, очевидно, всецело на его стороне, охотно будут его союзниками...

О чем же думать? Сесть на коня и поехать! Смелость города берет! Аркадий Владимирович торопливо приказывает седлать коня, в нетерпении сам выбегает на двор, торопит, помогает подтянуть подпруги. Вскakiвает в седло и с места от ворот кордона пускает лошадь в галоп, но чем ближе подъезжает он к Шах-Абаду, тем больше ослабевает в нем его решимость.

«Нет, никогда она не согласится выйти за меня замуж. Такая красавица, такая образованная, разве захочет она похоронить себя на всю жизнь в какой-нибудь пограничной трущобе, вроде моего поста Урюк-Дага? Безумие мечтать даже об этом! Ее место в столице, среди избранного общества, на балах, где она будет царицей, в театрах, на торжественных съездах. Разве я, простой армейский поручик, пара ей? Она легко найдет себе мужа среди московских тузов, ей стоит только вернуться к своей тетке, у которой собирается все лучшее московское общество, чтобы без труда выбрать себе мужа, который положит к ее восхитительным ножкам огромные капиталы и положение в свете...»

Под влиянием таких мыслей к Шах-Абаду Воинов подъезжал в совершенно другом настроении. От

прежней решимости и самоуверенности не оставалось и следа, ему казалось прямо чудовищным безумием предложить Лидии разделить его скромное существование, на глухом, забытом Богом и людьми посту, где-то на границе с Персией, где нет никаких увлечений, никакой пищи уму и сердцу, и где вся жизнь исчерпывается едой и сном.

Если в то время, когда отношения Лидии к Аркадию Владимировичу были вполне дружественными, он не находил в себе достаточной смелости сделать ей предложение, заранее уверенный в отказе, то в последнее время, когда она стала относиться к нему явно враждебно, он уже подавно потерял всякую надежду, а между тем неугомонное воображение, как назло, рисовало ему радужными красками картинку счастья. Бедняга просто места себе не находил и по сто раз задавал себе один и тот же вопрос:

– За что, за что? Что я такое сделал?

Он усиленно копался и рылся в своей памяти, но ничего не мог оттуда выудить, кроме того, что резкая перемена, происшедшая в обращении с ним Лидии, началась со времени кабаньей охоты там, в Персии, и знакомства с Муртуз-агой.

– Неужели Лидии Оскарковне понравился этот татарин? – болезненно стучало в голове Воинова. – Быть не может!

«Положим, он молодец, к тому же человек, бесспорно замечательный и выдающийся среди остальных татар, но все же он татарин, кербалай и больше ничего, а если он и в самом деле не татарин, как про него говорят, то это еще хуже, стало быть, он какой-нибудь беглый, может быть, даже из тюрьмы или поселения... Нет, нет! Такой человек никак не может возбудить к себе чувства любви, да еще в такой барышне, как Лидия Оскаровна! Он ее интересуется как невиданный ею доселе зверек, никак не больше, но если так, то почему же такая резкая перемена в обращении с ним, Воиновым? От прежней дружбы, интимности не осталось и следа, все это заменило едва скрываемое раздражение и насмешка... За что, за что? В чем тут причина и корень? Особенно вчерашнее обращение было невыносимо оскорбительно; при воспоминании об этом щеки Воинова невольно вспыхивали, а сердце болезненно замирало. Он не знал, что ему теперь делать. Продолжать ездить к Рожновским это значит спрятать в карман всякое самолюбие, перестать бывать у них – не видеть Лидии – лишение, превосходившее его силы. Разве переговорить с Рожновским, он с ним искренно дружен, может быть, тот знает что-нибудь и даст какой-нибудь благой совет?»

Эта мысль так понравилась Аркадию Владимировичу, что он решил при первом удобном случае при-

вести ее в исполнение и на этом немного успокоился.

– Что будет, то будет! – произнес он и тяжело вздохнул. – Если станет невтерпёж, выхлопочу перевод в другой отдел, подальше отсюда, а то и совсем в другую бригаду. Разлука, говорят, исцеляет!

XXII. По тому же поводу

– Знаешь, твоя сестра последнее время совершенно невозможна в своем обращении с Воиновым, – говорил как-то вечером Осип Петрович, оставшись с глазу на глаз с женой. – Она третирует его, оскорбляет ни за что ни про что. Бедняга так ее любит, готов жизнь за нее отдать, а она держится с ним как с врагом!

– Я тоже это замечаю, – задумчиво произнесла Ольга Оскаровна, – и никак не могу доискаться причины. Вначале они были так дружны, постоянно вместе. Лидия была с ним так любезна; я со дня на день ждала, что вот-вот он сделает предложение и, признаюсь, радовалась за сестру. Аркадий Владимирович человек вполне прекрасный, скромный, не кутит, в карты не играет. Правда, погresti себя на веки вечные в каком-нибудь Урюк-Даге – невеселая перспектива, но ведь никто не мешает Воинову, женившись, хлопотать о переводе на другую границу, куда-нибудь на запад, где жизнь несравненно веселее и лучше. У него, я знаю, есть влиятельные родственники в Петербурге. Средства у него есть, помимо жалованья, прекрасно могли бы жить! Не правда ли?

– Совершенно с тобой согласен. Я тоже нахожу Аркадия Владимировича вполне приличным мужем для

Лидии!

– Да, и вот, однако, кажется, все расстраивается. Лидия не только совершенно охладела к Воинову, но начинает относиться к нему прямо враждебно, и я просто не понимаю, с чего бы это?

– А ты не заметила, с какого времени началось это охлаждение? – спросил Рожновский, с хитрой улыбкой глядя в глаза жене.

– Не заметила, но кажется, чуть ли не с нашей поездки в Персию, на кабанью охоту!

– Совершенно верно, с того самого дня, и ты не понимаешь почему? А еще сама женщина! Подумай-ка хорошенько!

– Не понимаю! – недоумевающе покачала головой Ольга Оскаровна.

– А между тем, дело ясно, как день. Твоя сестра просто-напросто чрезвычайно заинтересовалась Муртуз-агой; интерес этот перешел мало-помалу в нечто более существенное, не в любовь еще, конечно, но все же в довольно сильное увлечение. Инстинктивно, она, разумеется, как девушка умная, сама понимает всю нелепость подобного чувства, но тем не менее стряхнуть его с себя не может. Это ее раздражает, портит настроение духа, и, как все женщины, она спешит выместить волнующую ее досаду на другом. Кто же может быть этот другой? Разумеется тот, кого лег-

че можно уязвить, кто болезненнее будет чувствовать удары, – в данном случае Воинов. Лидия прекрасно знает, что ни я, ни ты неспособны так огорчаться и страдать от ее выходок, как Аркадий Владимирович, а потому именно его-то она избрала жертвой, на которой вымещает накапливающееся у нее в душе недовольство. Вы, женщины, в этом одинаковы, ни с кем так не безжалостны, как с теми, кто вас любит. На этом построено большинство драм, происходящих между влюбленными. Для вас особое наслаждение бить по самому больному месту любящего вас человека, вы в этом видите своеобразное удовольствие, и чем удар метче, чем глубже рана, чем болезненнее, тем вам приятнее. В этом есть, конечно, свое историческое начало, это – месть вечного раба своему господину, месть жестокая и беспощадная!

– Ты так красноречиво об этом говоришь, что можно подумать, будто и сам был много и часто ранен! – полушутливо, полудосадливо прервала мужа Ольга. – Но дело не в этом. Для меня, признаться, сделанное тобой открытие относительно Лидии является неожиданностью и чрезвычайно удивляет!

– Не понимаю, что ты видишь тут удивительного! – пожал плечами Рожновский. – Ты, значит, совершенно забыла, что Лидия всего полгода как вышла из института, а отличительная черта институток – предавать-

ся всевозможным фантазиям, их любимое занятие извращать факты действительной жизни и подменивать чем-то несуществующим и даже неправдоподобным!

– Какая-нибудь классная дама, Матильда Федоровна, глупая, злая, старая дева, отравляющая существование всем, кто так или иначе приходит в соприкосновение с нею, старается уверить всех и сама искренно верит, что она ниспосланный на землю ангел, всеми обижаемый, всеми гонимый за ее кротость и незлобие. Воспитанница старшего класса m-Ile {мадмуазель (фр.)} Булкина, съедающая за один присест пятнадцать слоеных пирожков и целый фунт шоколадных конфет и бегущая по залу, как шотландский пони вдруг начинает воображать, будто она жертва рокового недуга, кандидатка на холодную сень могилы. Она заказывает себе специальную тетрадь с траурной каймой и черным образом, на первой страничке пишет:

«*После моей смерти милым подругам*» и начинает изливать в этой тетради, уснащая ее кляксами и капающими слезинками, «души непонятной признанья».

– Тут и заветы подругам, и философские мысли, и укору по адресу учителей и классных дам, и воззвание к «татап {здесь в смысле директрисы учебного заведения (фр.)}» проявлять более сердца в своих отношениях к воспитанницам, жаждущим ее обожать,

но близоруко ею отталкиваемым...

Кончается все это так же неожиданно, как началось. Булкина убеждается в своем здоровье, о могиле нет уже и помину, слоеные пирожки поедаются в утроенном количестве, и кандидатка на гробовую сень начинает носиться по залу, как молодой гиппопотам, приводя в ужас кроткую Матильду Федоровну, со змеиным шипением посылающую ей вслед нелестный эпитет «тумбы».

Какой-нибудь учитель географии, курносый и прыщеватый, всецело поглощаемый заботами о 20-м числе и приобретением частных уроков, обладатель полдюжины ребят, старообразной жены, с никогда не исчезающими флюсами, тайный поклонник смазливых горничных и веселой компании за графинчиком водки где-нибудь в задней комнате недорогого трактирчика, – почему-то делается в воображении его учениц похожим на разочарованного Чайльд-Гарольда, убежденного человеконенавистника, демонической натурой.

Юнкер Прыщ, старший брат m-lle Прыщ, приходящий по воскресеньям навестить сестру и похожий на неуклюжего большого легавого щенка, обладающий волчьим аппетитом и способный после шоколада переходить к борщу, а воздушный пирог закусывать сосисками, ни с того ни с сего начинает возбуждать в

сердцах многих девиц трагическое участие. Они начинают видеть в нем: одна – Печорина, другая – Ленского и хором предсказывают ему или великое будущее, или гибель во цвете лет.

«Он будет убит на дуэли!» – с сокрушением говорит одна.

«Ах, нет, он влюбится в коварную кокетку, она разобьет его сердце, и он кончит самоубийством!»

«А я уверена, из него выйдет великий полководец, вроде Скобелева, – авторитетно утверждает третья, – посмотрите, какое у него смелое, энергичное лицо!»

– Ну, теперь скажи сама, что же удивительного в том, что даже неглупая девушка, какой я считаю Лидию, но возросшей в такой атмосфере, надышавшаяся и напившаяся ею, при встрече с субъектом, подобным Муртуз-аге, по крайней мере, на первое время утрачивает некоторую логичность мышления? Необычная обстановка и условия этой встречи, дикая страна, дикие обычаи, столь непохожие на все, до сих пор ею виденное, только усиливают впечатление. Наконец, и с этим надо согласиться: Муртуз-ага, действительно лицо очень оригинальное, человек с темным, загадочным прошлым, с таинственным настоящим, окруженный легендой, с сильной волей и печатью какого-то затаенного горя на душе – он в состоянии заинтересовать даже и не институтку!

– Но, в таком случае, если все, что ты говоришь – правда, то я очень беспокоюсь! Что же нам делать, чтобы предотвратить опасность?

– Не вижу никакой опасности, и предотвращать что-либо, по-моему, решительно не предстоит надобности.

– Пусть все идет по-прежнему, а время свое возьмет. Пройдет первая острота интереса, уляжется возбужденное им волнение, и все кончится. Необходимо лишь дать понять Воинову, чтобы он не приходил в отчаяние, а то бедняк совсем повесил нос и ходит как в воду опущенный!

– Что касается меня, – возразила Ольга Оскаровна, – я смотрю далеко не так просто, как ты, на это дело. Лидия – девушка с особенным темпераментом, и если она, чего не дай Бог, увлечется серьезно, то может выйти целая драма!

– Ну, это, матушка, в тебе еще институт не выдохся, и ты до сих пор способна в пятипудовой m-lle Булкиной видеть жертву неумолимой чахотки. Лидия гораздо умнее, чем ты, стало быть, о ней думаешь; в свое время она отлично поймет, что мусульманин-перс, полудикарь, полубродяга – не пара ей; русской интеллигентной, образованной девушке – увлекаться всерьез такой фигурой! Не быть в этом убежденным – это значит не уважать совсем Лидию или придавать Мур-

туртуз-аге то значение, какого он вовсе не имеет!

– Нет, нет, ты не знаешь Лидии, – упрямо покачала головой Ольга Оскаровна, – а я с этой минуты не буду знать покоя. Нужно что-нибудь предпринять, а прежде всего отказаться от этой поездки в Суджу!

– Ну, это уже совсем будет глупо. Всякое насилие, всякие неумело поставленные преграды только увеличат интерес и желание более тесного сближения. Повторяю, оставь все, как есть, и поверь, что вся эта история уляжется скорее, чем ты даже предполагаешь!

– А если Муртуз-ага... – нерешительно начала Ольга Оскаровна и остановилась, ища подходящего выражения своей мысли.

– Что Муртуз-ага? – с нетерпеливой досадой переспросил Рожновский. – За Муртуз-агу я тебе поручусь, он всецело зависит от Хайлар-хана Суджинского, а потому и в мыслях не посмеет сделать что-либо, могущее вызвать неприятный инцидент. Он прекрасно понимает, что хан ни на минуту не задумается выдать его с головой русским, а эта перспектива едва ли может улыбаться Муртуз-аге, у которого с русскими властями, очевидно, есть свои особые счета, далеко им не уплаченные!

В то время, когда между супругами Рожновскими велся вышеприведенный разговор, предмет и причи-

на его, Лидия, сидела задумчивая и печальная в своей комнате, с тревожной внимательностью прислушиваясь к тому, что творилось в ее внутреннем «я». Последнее время она чувствовала в себе странную, гнетущую ее двойственность; она была всем и всеми недовольна, а больше всего сама собой. Припоминая резкие выходы, которые она позволяла себе по отношению к Воину, она не могла не чувствовать укоров совести, она понимала, как несправедливо, нетактично, даже неблагоприятно она поступала, и сознание это еще больше раздражало ее против Аркадия Владимировича.

Но еще большее недовольство чувствовала она, когда мысль ее останавливалась на Муртуз-аге. Таинственность, которой был окружен этот человек, завлекала и вместе с тем сердила ее. Кто он такой? Герой ли какой-нибудь драмы или ловко ускользнувший от тюрьмы мошенник? В последнее как-то не хотелось верить, также не хотелось верить и в то, что он действительно только обыкновенный перс, живший долго в России у дяди-торговца восточными товарами. Против этого предположения говорила его благородная осанка, гордая, презирующая всякую опасность, смелость и неуловимая грусть, как бы разлитая во всем его существе, сквозящая в гордых, жгучих глазах, слагающая в печальную улыбку его характерные губы,

под мягкими шелковистыми усами.

Если бы кто-нибудь сказал Лидии, что она не равнодушна к Муртуз-аге и чувствует к нему сердечное влечение, она или рассмеялась бы, или бы рассердилась, смотря по тому, в каком настроении духа была бы в ту минуту, но во всяком случае никогда бы не придала серьезного значения такому заявлению.

– Влюбилась, вот вздор какой! – искренно воскликнула бы она. – Просто он заинтересовал меня, как человек крайне оригинальный, не похожий на остальных здешних людей. Мне хочется приглядеться к нему поближе, разгадать, что он такое, изучить этот новый невиданный мной тип.

Так она думала, но не так оно было на самом деле.

Сердце и душа девичья – инструмент весьма сложный, настолько сложный, что нередко девушка сама себя не понимает.

XXIII. По дороге в Суджу

Самое лучшее время года на Закавказье – конец сентября и начало октября. Убийственная жара, свирепствовавшая в течение трех летних месяцев, значительно спадает, так что по утрам и по вечерам бывает порядочно прохладно. Благодаря этому, исчезает самый жестокий, беспощадный бич страны – мошка; ложась спать, уже не нужно завешивать кровать густым пологом, под которым всю ночь томишься от нестерпимой духоты. Дни стоят светлые, небо безоблачно; период осенних дождей еще далек, и для всяких путешествий это время самое благоприятное. Все, кому нужно совершать дальние поездки по торговым или иным делам, приурочивают их именно к этим месяцам, когда даже малоподвижные, ленивые сыны Востока начинают ощущать в себе пробуждение некоторой энергии.

Вот в один из таких-то погожих дней по каменистой, разбитой дороге, изрезанной водопроводными канавами, быстро катилась четырехместная, допотопная коляска, или, как говорят на Закавказье – «фаэтон». На козлах этого расхлябанного, развинченного, жалобно дребезжащего экипажа сидел совершенно коричневый, обожженный солнцем татарин-извозчик в

огромной папахе и белой холщовой черкеске, с кинжалом на поясе.

Четыре тощих клячи, в которых, между тем, знаток сейчас же бы признал присутствие благородной карабахской крови, бежали вприпрыжку, потряхивая длинными, острыми, породистыми ушами.

В коляске сидели Лидия и Ольга, а против них, на передней скамеечке, помещались Осин Петрович и Воинов.

С левой стороны коляски, где сидела Лидия, на раскормленном довольно безобразном, но ходком иноходце, ехал Муртуз-ага. За коляской, в значительном от нее расстоянии, чтобы не поднимать пыли, скакало человек десять курдов, по обыкновению вооруженных с ног до головы.

– Далеко до того селения, откуда мы поедем верхом? – спросила Лидия Муртуз-агу. – Мне уже надоело трястись в экипаже и хочется поскорее пересесть на своего Копчика!

– Через полчаса доедем, – ответил Муртуз-ага. – Видите впереди гору, похожую на лежащего верблюда, сейчас же за ней расположено и селение Тун. Там ждут нас лошади и другой конвой!

При въезде в селение Тун коляску встретила небольшая толпа народа; впереди стояли несколько седобородых стариков, «почетных» селения, со стар-

шиной во славе.

Низко кланяясь и прижимая руки к груди, они настоятельно: приглашали дорогих путешественников не отказать выпить стакан чаю и закусить. Пренебречь таким радушным приглашением было невозможно, не нанося хозяевам жестокого оскорбления, пришлось согласиться. Угощение было приготовлено в доме старшины и состояло, по обыкновению, из чая, кислого молока, паныра, шашлыка и разной съедобной травки.

После закуски подали лошадей.

Муртуз-ага помог Лидии вскочить в седло, а сам сел на подведенного ему белого, как снег, жеребца, под богатым малинового бархата седлом, сплошь расши-тым разноцветными шелками и украшенным серебряной вызолоченной насечкой. На шее лошади звенели и сверкали на солнце вызолоченные цепочки, на которых были привешены, величиной в маленькое блюдечко, круглые бляхи из низкосортной бирюзы, употребляемой только на конские украшения.

Для Ольги Оскаровны и Лидии были приведены их собственные лошади из Шах-Абада, специально командированными для этой цели Муртуз-агой курдами под наблюдением таможенного солдата, который, прибыв с ними накануне в сел. Тун, ночевал там в скале у старшины, ожидая приезда господ. Что касается

Рожновского и Воинова, то для них были приготовлены куртинские иноходцы из конюшни Муртуз-аги.

Когда вся кавалькада тронулась в путь, сопровождавшие ее курды рассыпались во все стороны, и началась дикая, но не лишенная лихости и своеобразной красоты джигитовка.

Высокие, рослые, худощавые курды, в красных куртках и черных чалмах, сидя на своих маленьких, но чрезвычайно шустрых и сильных лошадках, старались перещеголять один другого своею лихостью и ловкостью. Поодиночке и маленькими группами, по два и по три человека, выскакивали они вперед, делая вид, что гоняются один за другим, замахивались друг на друга кривыми ятаганами, прицеливаясь из ружей и пистолетов. При этом они с удивительной увертливостью бросались то вправо, то влево или вдруг, мгновенно остановившись на всем скаку, поворачивались налево кругом и мчались назад, быстро кружа над головой винтовками.

Некоторые перевертывались на седлах и неслись, чуть не волочась спинами по земле, и вдруг, мгновенно поднявшись, прицеливались в ближайшего товарища.

Многие, отскакав в сторону, круто и сразу останавливали варварскими мундштуками лошадей и, скинув винтовку, стреляли вверх, после чего неслись сломя

голову назад.

Долго гарцевали курды и, только измучив вконец своих лошадей, успокоились и, сбившись в беспорядочную кучу, потрусили сзади всех, оставляя за собой облака густой пыли.

– Мне очень нравятся ваши курды, – сказала Лидия ехавшему рядом с ней Муртуз-аге, – такие они brave на вид и, наверное, очень храбрый народ?

– Да, сравнительно с персами, – отвечал Муртуз, – но настоящими храбрецами я их не назову. Во всяком случае, народ малонадежный. Мне случалось предводительствовать ими в стычках с разбойниками, турецкими курдами, наконец, в междоусобицах, столь частых в Суджинском ханстве – и я всякий раз убеждался, насколько опасно доверяться их кажущемуся молодечеству. Они храбры, когда вдесятером нападают на одного, но при малейшем энергичном отпоре бегут без оглядки, оставляя своих вождей на произвол судьбы. Лет десять тому назад у нас произошло маленькое приграничное столкновение с турками; они неправильно заняли наше селение и не хотели добровольно уйти. Я с двумя сотнями курдов хотел выбить их оттуда и ничего не мог поделать, хотя турок не было и пятидесяти человек. Рассыпавшись в виноградниках, турки встретили нас беглым ружейным огнем; они стреляли не торопясь, с выдержкой, и этого бы-

ло достаточно, чтобы удержать курдов на почтительном расстоянии, никакие мои усилия не могли заставить их идти вперед. Как полоумные, носились курды по степи, оглашая окрестность гиком, воем, визгом; бесцельно и торопливо стреляли, не заботясь вовсе, куда летят их пули, но на виноградники не шли. К вечеру, утомись этим бесцельным и бестолковым маячением, я отвел своих курдов от селения и расположился бивуаком, решив произвести на турок ночное нападение; затея не удалась; среди ночи прибежали пастухи и сообщили, что турки сами ушли обратно в Турцию. Тем тогда и кончилась наша война.

Другой раз я уже вместе с турками преследовал большую шайку разбойников. Турок было человек двадцать, у меня же больше пятидесяти, и я с грустью должен был убедиться, насколько мои курды хуже турок. Турецкие солдаты шли вперед спокойно, уверенно, не выходя из повиновения своему офицеру. По команде останавливались, по команде стреляли, старательно прицеливаясь и сберегая патроны. На сыпавшиеся на них пули они не обращали внимания, и когда разбойники были окружены на высокой скале, — они, как один человек, по команде офицера, дружно полезли вверх и бросились в штыки. Следом за ними устремились и мои курды, которые до этого времени больше визжали и метались во все стороны, чем дело

делали... Нет, плохие из них выходят воины, хвалить нельзя!

– Вам на своем веку, как видно, много воевать приходилось? – сказала Лидия. – Неприятное занятие!

– Не скажите! Война – вещь хорошая! – с воодушевлением возражал Муртуз. – Сознание, что вот-вот каждую минуту ты можешь быть убитым и что жизнь твоя зависит от судьбы, от малейшей случайности, наполняет душу каким-то особенным чувством. Сердце начинает биться сильнее, и во всем теле чувствуется какая-то особая легкость; голод, усталость, жажда, жар, холод – все забыто, ни на что не обращаешь внимания, все мысли сосредоточены на одном – уничтожить врага. Когда кто-нибудь из своих падает около убитым или раненым, то это возбуждает не чувство жалости, а непримиримую ненависть к врагу и страстное желание, в свою очередь, убивать, убивать без конца!

– Не понимаю я этого! – пожала плечами Лидия. – По-моему – это зверство, проявление самых низких животных инстинктов. Убивать своего ближнего и находить в этом наслаждение! Это просто чудовищно!

Она с содроганием повела плечами и замолчала. Несколько минут они ехали молча.

– Послушайте, – нерешительным тоном заговорила девушка, – не примите это за праздное любопытство;

я вовсе не любопытна, и если спрашиваю, то имею на это свои причины; скажите, вы ведь не персиянин?

Муртуз-ага нахмурился, хотел отвечать, но замаялся.

– Не все ли вам равно? – спросил он в свою очередь, помолчав.

– Если спрашиваю, то значит, не все равно; впрочем, если не хотите, не отвечайте! – холодно произнесла девушка и отвернулась.

– За что же вы сердитесь? – улыбнулся Муртуз-ага. – Если вас это так интересуется, и вы обещаете оставить наш разговор между нами, то я, так и быть, сознаюсь вам: да, я действительно не персиянин родом!

– Вы русский, не правда ли? – живо обернулась к нему Лидия, пытливо заглядывая ему в глаза.

– И да, и нет. Я действительно русский подданный, но не русский!

– Армянин?

– Армянин?.. О, нет! – со стремительной живостью воскликнул Муртуз. – Только не армянин, клянусь вам!

– Верю! – улыбнулась Лидия его порыву. – Впрочем, это и так сейчас же видно. В вас нет ничего армянского. Но какие причины заставили вас уйти из России?

– Этого я не могу вам сказать, – глухо произнес Муртуз, – не могу ни под каким видом. Что хотите, но толь-

ко не это, и, наконец, скажите, для чего вам знать о том, о чем вот уже около двадцати лет я сам стараюсь забыть, о том, что гложет мою душу, делает меня глубоко несчастным? Впрочем, я отчасти понимаю; вас интересует вопрос, с кем вы имеете дело. Вы вправе подозревать во мне беглого каторжника, вора из тюрьмы или мошенника. Клянусь вам, я ни то, ни другое, ни третье. Я человек честный, и никакого темного, грязного дела на моей совести нет; я не вор, не фальшивый монетчик, подлогов не совершал, словом, не делал ничего такого, что люди называют бесчестным... Вот все, что я могу вам сказать, а там верьте мне или не верьте – ваше дело!

Лидия внимательно поглядела в его взволнованное, слегка покрасневшее лицо и протянула ему свою затянутую в перчатку изящную ручку.

– Верю! – твердо и искренно произнесла она, крепко пожимая его руку.

Воинов ехал подле Ольги Оскаровны, в нескольких сажнях сзади Лидии и Муртуза, и по временам бросал на них тревожные взгляды.

«О чем они так жарко и оживленно беседуют? – мучительно вертелось у него в голове. За топотом копыт по каменистой почве ему не было слышно ни одного слова, и он видел только жесты, сопровождавшие разговор. От ревнивого внимания Аркадия Владими-

ровича не ускользнуло мимолетное пожатие руки, которым обменялись Лидия и Муртуз-ага. Он вспыхнул до корня волос и, будучи не в силах совладать с собой, дал шпоры коню и в один миг очутился подле Лидии. Бесцеремонно оттолкнув грудью своего коня лошадь Муртуз-аги, Воинов смело втиснулся между ним и Лидией. В этом месте дорога была узка и шла по крутому обрыву, над глубокой пропастью; Муртуз-ага, ехавший с края и рисковавший ежеминутно сорваться вниз, принужден был, наконец, осадить своего жеребца и следовать сзади.

Ольга Оскаровна, видевшая всю эту сцену, поспешила прийти на выручку; она рысью подъехала к Муртуз-аге и, ласково дотронувшись ручкой хлыстика до его руки, заговорила:

– Какой чудный вид отсюда на долину! Точно панорама! Как красиво выглядит этот хребет гор там, вправо, не правда ли? А как хорош Араке, словно серебряный пояс, или, еще вернее, огромная серебристая змея. Удивительно красиво!

– Дальше будет еще лучше! – поспешил любезно ответить Муртуз-ага. – Видите ту вершинку? Когда мы подыдемся на нее, я вам советую остановиться, оттуда вы увидите всю окрестность как на ладони. В светлые дни, а сегодня как раз такой день, – с этой вершины видна не только вся Араксинская долина, но и

Араратская. Отсюда Арарат еще не виден, но с вершины вы увидите его во всей красе, с его турецкой стороны!

XXIV. Хотя бы на дно пропасти

– Вы, кажется, с луны соскочили? – недовольным тоном бросила Лидия, едва взглянув на поровнявшегося с ней Воинова. – Так стремительно подъехали, чуть обоих нас в пропасть не столкнули!

– Вы были далеко от края, – отвечал Воинов, – моей лошадью я мог скорее отодвинуть вас ближе к скале, чем к пропасти, но я даже не дотронулся до вашей амазонки!

– Вы чуть-чуть не сшибли туда Муртуз-агу! – с возрастающим раздражением произнесла девушка.

– Муртуз-агу, это дело другое! – спокойно согласился Воинов. – Но и тут вы напрасно беспокоитесь, дорога достаточно широкая, чтобы ехать втроем. Впрочем, Мур-туз хороший наездник и никогда бы не свалился в пропасть, если бы даже дорога и была уже!

– Не понимаю, причем тут наездничество, – пожал плечами Лидия, – самого лучшего ездока можно столкнуть, наскочив на него так неожиданно, как это сделали вы!

– Удивляюсь, из чего вы так сильно волнуетесь? Уверен, если бы такую шутку проделал Муртуз со мной, вы бы не обратили внимание, а теперь вы столько беспокоитесь, точно случилось и не весть Бог

что!

Лидия досадливо передернула плечами, но ничего не сказала.

Некоторое время они ехали молча.

– Лидия Оскаровна, – заговорил снова Воинов, переходя из деланно-спокойного тона в мягко-задушевный, – перестаньте сердиться! Если бы вы знали, как мне тяжело видеть вас такой недовольной, нахмуренной и сознавать, что это недовольство вызываю я своей особой. Я, – который готов за вас хоть на смерть. Видите эту пропасть? Скажите слово – и я, как есть, с конем брошусь вниз, ни на минуту не задумавшись!

При этих словах голос Воинова дрогнул. Он был сильно взволнован. Лидия мельком взглянула ему в лицо и почувствовала нечто похожее на раскаяние.

– Ну, полноте, – заговорила она дружеским тоном, и обворожительная улыбка мелькнула у ней на губах, – вы, кажется, начинаете нервничать. Такой большой и такой капризный! – добавила она шутливо, обводя его ласковым взглядом своих красивых выразительных глаз.

При этом чарующем взгляде Воинов совершенно расцвел. Он забыл все обиды и неприятности, сыпавшиеся на него в последнее время, и с благодарностью и обожанием взглянул в лицо Лидии.

– Вы, Лидия Оскаровна, ангел, ангел и ничто боль-

ше! – восторженным тоном и с глубоким уважением произнес он.

– Ну, уж и ангел! – искренно рассмеялась Лидия.

Когда все пятеро поднялись на крутую и высокую вершинку, о которой говорил Ольге Оскаровне Муртуз-ага, глазам их представилась роскошная, величественная картина. Прямо перед ними, на десятки верст, раскинулась необъятная Араксинская долина, с прихотливо извивающейся по ней, сверкающей, как серебро на солнце, рекой. Бесчисленное множество озер, прудков и водоемов, подобно рассыпанным осколкам зеркала, блестели в ярких лучах солнца, окруженные, как бархатной рамой, темной зеленью деревьев. Утопая в яркой зелени садов, виднелись живописно разбросанные селения, с белыми домиками, издали похожими на детские кубики. Темной громадой, понижаясь по мере своего удаления и постепенно закутываясь в прозрачно-розовую дымку тумана, как чешуйчатый хребет дракона, тянулся каменистый кряж обнаженных, лишенных всякой растительности скал. По ним, глубокими морщинами, чернели трещины, овраги и пропасти, принимавшие чем далее, тем более причудливые формы.

Налюбовавшись видом Араксинской долины, Лидия повернула лошадь, и глазам ее представилась еще более величественная картина. Прямо перед

ней, подавляя своей громадой и прямыми очертаниями контуров, сверкал снеговой вершиной чудовищно огромный Арарат.

Его снеговая шапка сияла в лучах солнца, искрилась и переливалась, как усыпанная бриллиантами. Малый Арарат, с которого давно уже сбежал последний снег, покорно прижимался курчавой головой к плечу своего старшего, могучего брата; ниже снеговой полосы, от которой, казалось, так и веяло несокрушимой вечностью, начиналась зелень, сначала темная, слабая, прерываемая местами целыми площадями сплошных камней, но чем ниже, тем более яркая, веселая, как бы улыбающаяся. Подошва же и вся долина, примыкающая к горе, на Десятки верст представляла один сплошной зеленый ковер, с бегущими по нему, по всем направлениям, искусственными ручьями и рассеянными куртинскими чадрами.

Бесчисленное множество скота, лошадей и овец, отдельными табунами и стадами ползало глубоко внизу, как пестрые мухи, оживляя своим присутствием величественно-девственную картину природы. Далее зеленая степь переходила в желто-красные пески, которые мало-помалу терялись, сливаясь с горизонтом. В стороне виднелись едва уловимые очертания большого города, как бы повиснувшего в воздухе.

– Вы были правы, – произнесла Ольга Оскаровна,

обращаясь в Муртуз-аге, – виды действительно чудесны! Не правда ли, Лидия?

Лидия ничего не ответила, но бросила на Муртуз-агу такой ласковый, благодарный взгляд, как будто этот вид был его собственностью, и он преподнес его им в подарок.

Постояв около получаса, путники двинулись дальше.

– Скоро стемнеет, – заметил Муртуз, – надо спешить!

Все прибавили шагу, но, несмотря на это, в Суджу приехали довольно поздно.

Все селение давно уже спало, и Муртуз-ага повел их прямо к приготовленному для их приема дому. Дом этот, архитектурой своей напомилавший большую шкатулку, с куполообразной башней посередине, примыкал ко дворцу сардаря и окнами своими выходил в парк, окружавший этот дворец с трех сторон.

На пороге приехавших встретило несколько человек слуг, очевидно, их поджидавших. С низкими поклонами они провели их в дом и указали приготовленные для ночлега комнаты. Комнат оказалось несколько, но все они были маленькие, с низкими потолками, и лишены почти всякой обстановки. Кроме ковров на полу да грубой работы стульев под красное дерево и нескольких маленьких круглых столиков, ничего дру-

того не было. Стены украшали повешенные в близком расстоянии друг от друга разных величин и фасонов зеркальца в медной оправе и какие-то дощечки из разноцветного стекла с написанными на них черной жирной краской изречениями из Корана. В одной комнате, побольше других, с потолка спускалась стеклянная люстра, а в стену было вделано большое зеркало, с вызолоченной деревянной рамой. По бокам зеркала красовались две бронзовые лампы, одна под красным, а другая под голубым шаром. Одна из этих ламп – с голубым колпаком была зажжена и бросала мягкий, лунный свет на всю комнату. Посредине комнаты, как раз против зеркала, в аршинном друг от друга расстоянии, стояли две низких железных кровати, самого простого, больничного фасона. На каждой из этих кроватей лежало по два обтянутых шелковой материей матрасика из верблюжьей шерсти и по одной длинной, кишкообразной, тоже шелковой подушке. Застланы кровати были шелковыми джеджимами. Ни наволочек, ни простынь не было.

– Эта комната для вас и Ольги Оскаровны, – сказал Муртуз-ага, обращаясь к Лидии, – сейчас принесут сюда ваши вещи. Здесь, я надеюсь, вам будет хорошо!

– А двери запираются? – не без некоторой боязливости в голосе спросила Ольга.

Муртуз-ага чуть заметно улыбнулся.

– Если желаете – заприте, но только это напрасно. Сюда никто не войдет. У дверей дома сторожа, которые никого не пропустят!

«Да, но кто будет сторожить нас от самих сторожей? – подумала Ольга. – Нет, запереться покрепче – будет дело надежней».

– Теперь, господа, когда дамы устроены, я поведу вас в ваши комнаты, – обратился Муртуз к Воинову и Рожновскому, – пожалуйста за мной, прошу вас!

– Надеюсь, вы нас устроите обоих в одной комнате, – сказал Рожновский, идя за Муртуз-агой, – а то поодиночке спать в чужом месте скучно! Не правда ли, Аркадий Владимирович?

– Разумеется, – подтвердил Воинов, – нас, пожалуйста, вместе!

– Это как вам будет угодно! – любезно согласился Муртуз-ага. – Хотя для каждого из вас приготовлено по отдельной комнате, но раз вы не желаете расставаться, то я сейчас прикажу снести обе кровати в одну!

– Да, уж если можно, то, пожалуйста, распорядитесь не разлучать нас!

Когда мужчины вышли, Ольга Оскаровна первым делом осмотрела дверь и осталась ею очень недовольна. Большой медный замок со стеклянной руч-

кой не действовал, ключ хотя и торчал в скважине, но был, очевидно, сломан и без пользы вертелся во все стороны. Приходилось довольствоваться маленькой медной задвижкой.

– Да полно тебе, – прервала Лидия сетования сестры по поводу неисправности замка, – вот трусиха, кто тебя здесь тронет, подумай только! Под боком у хана и под охраной Муртуз-аги ты можешь спать так же спокойно, как на нашем хуторе, под крылышком у маменьки. Помоги лучше достать мне из хурджин простыни, да ляжем скорей. Смерть спать хочется! Шутка сказать, больше тридцати верст в фаэтоне и около двадцати верст верхом и все в один день. Можно устать, я думаю...

Когда обе сестры легли и успели уже задремать, вдруг к ним в двери кто-то осторожно стукнул.

– Что такое, что надо, кто там? – испуганно подняла голову Ольга Оскаровна. В ответ за дверями послышалось какое-то неясное бормотание. Долго ни Лидия, ни Ольга не могли понять, кто и о чем с ними толкует.

– Да ведь это слуга принес нам чай! – догадалась, наконец, Лидия и громко и весело расхохоталась, глядя на встревоженное, недоумевающее лицо сестры.

– Какой чай, зачем? – замахала та рукой. – Не надо, чох-саол, гэт, тэт, не надо! – торопливо закричала она,

обращаясь к продолжавшему царапаться за дверью нукеру. – Чох-саол!

Лидия продолжала хохотать, приведенная в восторг неожиданно, со страху, открывшимися у ее сестры познаниями в татарском языке.

– Эк тебя! – укоризненно покачала головой Ольга, опуская голову на подушку. – Вот ты говорила, никто не войдет – никто не войдет, а не запри я дверей, он бы со своим чаем так-таки прямо и прилез бы к нам сюда, к самым постелям!

– Воображаю, как бы ты переполошилась!

– Воображай, сколько хочешь, а я спать буду – поздно!

XXV. В Судже

На другой день, едва Лидия и Ольга успели одеться и умыться из медного, высеребренного затейливого кунгана, стоявшего в углу на низком табурете, как в комнату к ним громко постучали.

– Татары! – трагическим голосом произнесла Лидия, делая шутливо-испуганное лицо.

– Mesdames {мадам – во множ. числе (фр.)}, – слышался голос Осипа Петровича, – вы спите?

– Нет, мы уже одеты; что тебе? – спросила Ольга, отворяя дверь и подставляя мужу румяную щечку для поцелуя.

– Пожалуйста чай пить. Давно уже готово!

Комната, где сервирован был чай, представляла из себя круглую башню, с окнами наверху, пропускавшими сквозь свои матовые стекла мягкий приятный свет. Посередине ее, на разостланном ковре, оригинального старинного рисунка, поверх полосатой скатерти стояло несколько подносов с закусками. Тут были: катых, паныр, нарезанные ломтики арбуза и дыни, сотовый мед в чашках, разного сорта варенье и целая грудa белого, как снег, испеченного по особому образцу, на цельном молоке, лаваша. В стороне возвышался большой, никогда, должно быть, не чи-

ценный самовар. Вокруг него хлопотали два замечательно красивых мальчика-подростка, с томным выражением влажных черных глаз и легким румянцем на нежных, молочной белизны лицах. Одеты они были совершенно одинаково: в темно-синие суконные казакины с красными кантами, такие же шаровары, узкие на щиколотке и широкие у пояса. Пуговицы на казакинах, с гербом Льва и Солнца, были вызолочены; на голове у обоих красовались конусообразные папахи из мелкого блестящего черного барашка. Один из мальчиков – постарше – занимался разливанием чая по маленьким разрисованным золотом и красками стаканчикам, а другой разносил их гостям, причем каждый стаканчик помещался на отдельном подносице, с изображением шаха. Чай был душистый, сильно подслащенный и особого терпкого вкуса. Осип Петрович объяснил Лидии, обратившей внимание на особенности подаваемого чая, что этот чай не китайский, а индийский, к которому персы примешивают какое-то наркотическое снадобье, кажется, опиум, отчего он в большом количестве сильно действует на нервы.

– Вообрази себе, – обратился Рожновский к жене, со смехом качая головой на Муртуз-агу, сидевшего подле него, – каков наш Муртуз-ага! Он вчера не пошел домой, а ночевал в первой комнате, у входных дверей. Там ему приготовили постель, и он спал во-

оруженный, охраняя ваш покой. Каков?

– Не знаем, как вас и благодарить, – улыбнулась Ольга Оскаровна, – вы чрезвычайно любезны и предупредительны!

– Ваш раб! – низко, по-восточному склонил голову Муртуз-ага, бросая в то же время горячий взгляд на сидевшую подле сестры Лидию. – Моя жизнь и моя голова у ног ваших! – закончил он персидским изречением. Когда все напились чаю и закусили, в комнату вошел высокий худощавый молодой человек и, низко поклонившись присутствующим, произнес несколько персидских слов.

– Хан спрашивает, как дорогие гости почивали, – перевел Муртуз-ага слова юноши, – и просит, если желаете его видеть, пожаловать к нему на его половину. Он извиняется, что сам не в состоянии прийти: он болен и не выходит из своей комнаты. Впрочем, – уже от своего имени добавил Муртуз, – если дамы считают для себя унизительным идти первыми к сардарю, то они могут подождать его в соседней комнате; он сам туда выйдет, хотя, по совести говоря, ему это будет трудно. От сильного ревматизма он почти без ног!

– Нет, почему же, мы охотно сами пойдём к нему! – воскликнула Лидия. – Зачем его утруждать, если он в самом деле болен?! К тому же, – добавила она, смеясь, – как-никак, а все-таки же он владетельный

князь. Применяясь к нашим титулам, «светлость» – так ведь?

– Совершенно верно! – кивнул головой Муртуз.

Пройдя крытой стеклянной галереей из дома, где они ночевали, в соседний с ним сардарский дворец и миновав две совершенно пустых комнаты, с выкрашенными сажею стенами и мутными окнами, гости вступили в обширный зал, со множеством колонн, поддерживавших сводчатый, высокий потолок. Стены, потолок и колонны зала были зеркальные, причем зеркала не были сплошными, а состояли в виде замысловатого узора, из бесчисленного множества мелких зеркальных кусочков, всевозможных форм и величин, замечательно искусно скомбинированных между собой. Каждая группа таких зеркалец изображала особый рисунок и была окружена белым гипсовым барельефом. Поставленные под разными углами и уклонами, эти крошечные, бесчисленные кусочки издали представлялись сверкающей чешуей, как бы густо-густо унизанной бриллиантами. Колонны, кроме зеркалец, были в верхней своей части украшены еще и разноцветными стеклышками. Из таких же стеклышек, в соединении с зеркальцами, были выведены замысловатые узоры на потолке, посередине которого красовался сложенный из тех же цветных стекол больших размеров персидский герб Льва и Солнца.

Вокруг большого герба было рассеяно еще несколько подобных же гербов, но несравненно меньших размеров.

Три огромных окна, по форме своей похожих на венецианские, занимали одну стену. Окна эти представляли из себя искусной резьбы дубовые рамы, в которые были вделаны посередине белые, а по краям разноцветные стекла. Сочетание красок и узора хотя и было несколько смело и резко, но в общем носило печать своеобразной красоты.

Украшением этого фантастического зала служила прежде всего чудовищных размеров хрустальная люстра, с бесчисленным множеством граненых висюлек. Люстра эта была повешена посередине, а справа и слева от нее переливались всеми цветами радуги еще две такие же, но значительно меньше. Кроме этих люстр, со вставленными в них свечами, соединенными моментально воспламеняющимся шнурком, на всех трех стенах, не занятых окнами, были прибиты хрустальные бра на 5 свечей каждое. От ярких солнечных лучей, широкой волной проникавших через огромные окна, вся эта тяжелая масса хрусталя горела и сверкала миллионами разноцветных искр; искры эти, в свою очередь отражаясь бесчисленное множество раз в зеркальных осколочках потолка и стен, придавали всей комнате сказочно волшебный вид. Пол

зала был застлан коврами, причем средний ковер был шелковый, удивительно изящного рисунка и огромной ценности.

Немало внимания заслуживали также и двое дверей, расположенных одна против другой. Очень высокие, двустворчатые, они были сделаны из темного дуба и украшены художественно исполненной резьбой и барельефами. Бронзовые литые вызолоченные ручки в виде львиных голов сами по себе могли быть причислены к высокохудожественным произведениям. Как впоследствии узнала Лидия, двери эти были выписаны из Англии, и стоимость их равнялась целому состоянию.

Пройдя зеркальный зал, путники наши вступили в сравнительно небольшую комнату, довольно изящно убранную. Ковры на полу, ковры на стенах и множество развешанного по стенам оружия – составляли богатство и украшение этой комнаты. При входе их с противоположного конца комнаты навстречу им поднялся человек высокого роста, болезненно-худой и мертвенно-бледный, с глубоко провалившимися глазами, одетый в темно-синий кафтан с бриллиантовой звездой «Льва и Солнца» на груди и в турецкой феске на голове. На вид ему было лет 35, хотя на самом деле он был гораздо моложе; но упорная, застарелая болезнь согнула его высокий стан и сильно состарила

его от природы красивое и выразительное лицо. Это был сам сардар, хан Суджинский, Хайлар-ага.

Сделав два-три шага колеблющейся походкой, с трудом волоча ноги, обтянутые в теплые туфли, Хайлар-хан с любезной улыбкой пожал руки сначала дамам, а затем Воинову и Рожновскому.

– Милости просим! – произнес он глухим голосом по-русски, но с сильным акцентом, любезно показывая рукой на стоявшие перед ним стулья, обитые зеленым бархатом. – Очень рад вас видеть; хорошо ли доехали?

Гости поспешили поблагодарить любезного хозяина, и разговор мало-помалу завязался. Впрочем, Хайлар-хан сам почти ничего не говорил, а только время от времени задавал короткие, односложные вопросы, внимательно выслушивая ответы и время от времени одобрительно покачивая головой.

Хан сидел в мягких, широких креслах, гости же помещались против него на стульях, которые были низки, жестки и крайне неудобны. Кроме Хайлар-хана в комнате находилось еще несколько человек: высокий сухопарый старик, с длинной белой бородой и мрачным взглядом из-под нахмуренных клочковатых бровей, главный управитель и казначей хана, Халил-бек, сидел у ног хана, уткнув бороду в грудь и пытливо, исподлобья поглядывая на гостей. Молодой, красноще-

кий юноша, с блестящими глазами и ярко-пунцовыми губами, заведующий ханским столом, – неподвижно помещался за креслом хана. На его бесстрастном лице не отражалось никакого внешнего впечатления.

С другой стороны ханского кресла сидел рыжебородый толстяк, смотритель ханской челяди. Подальше у окна, на мягких матрасиках, один против другого, помещались еще двое: древний старец-кадий, седой как лунь, с мутным потухшим взором, одетый, поверх белого халата, в белую аббу и белую чалму, с четками в руках, которые он медленно и методично перебирал длинными, сухими пальцами, и небольшого роста жилистый старичок, с красным, гладко выбритым лицом, украшенным длинными, сивыми, закрученными вниз усами.

Одет он был в серый дешевой материи кафтан домашнего покроя и шитья, на котором как-то странно выделялась небольшая бриллиантовая звезда на зеленой муаровой ленточке. Человек этот сидел, слегка повернув голову и, очевидно, с большим вниманием прислушиваясь к разговору хана с его гостями. По временам он торопливо оглядывался своими выразительными, быстро бегущими и вглядчивыми глазами, но сейчас же снова опускал их вниз и даже слегка прищуривался, как бы желая совершенно скрыть свои проницательные зрачки за занавеской гу-

стых, длинных ресниц. Старик этот был замечательнейший человек во всем ханстве и в действительности настоящий его правитель, так как постоянно болеющий Хайлар-хан давно уже всецело отдался ему в руки и беспрекословно следовал всем его советам. Звали старика – Алакпер-Бабэй-хан. Он занимал пост старшего секретаря сардаря, исправляя при нем роль как бы министра иностранных дел. Несмотря на всю слабость и мизерность Суджинского ханства, Алакпер-Бабэй-хану было немало работы, и его, по справедливости, можно было сравнить с пловцом, принужденным лавировать между острыми подводными камнями на утлом челноке.

Ему надо было уметь ладить одновременно с двумя могущественными соседками – Турцией и Россией, и в то же время угождать деспотичному, алчному персидскому правительству, постоянно покушавшемуся на независимость ханства. Ко всему этому приходилось то и дело подавлять внутренние междоусобицы. Года не проходило, чтобы тот или другой из младших ханов не затевал ссоры с кем-нибудь из родственников, ссоры, кончавшейся кровопролитием. Селение подымалось на селение, вассалы ханские жгли и убивали друг друга, и правителю иногда приходилось самому собирать многочисленное войско, чтобы силой водворить спокойствие среди своих строп-

тивных родичей. Но больше всего хлопот и неприятностей было с курдами. Этот самовольный, дикий и воинственный народ, видевший главный источник добывания средств к жизни в грабежах, решительно не хотел признавать никаких границ, бесцеремонно врывался в приграничные владения соседних государств и нагло там хозяйничал.

В свою очередь, курды России и Турции, будучи одинакового мировоззрения со своими собратьями в Персии, поступали точно так же по отношению к ним. Из-за этого между теми и другими возникали постоянные конфликты, возбуждавшие дипломатические переговоры с пограничными турецкими и русскими властями. Положение Алакпера-Бабэй-хана было тем труднее и щекотливее, что в душе он не мог не сознавать полной невозможности прекратить эти ненормальные отношения. Суджинские курды были слишком бедны, слишком безземельны, а в то же время слишком обременены поборами, чтобы иметь возможность существовать исключительно трудами своих рук, не прибегая к грабежу богатых, сравнительно с ними, соседей.

Ввиду таких условий даже исправность поступления податей зависела от удачи в разбойничьих набегах.

Надо было много ума и хитрости, чтобы извора-

чиваться среди всех этих, по-видимому, исключаяющих одно другое, положений; но Алакпер-Бабэй-хан умудрялся каким-то ему одному известным способом устраивать так, что в большинстве случаев и овцы были целы, и волки сыты.

XXVI. Сардар Хайлар-хан

– Скажи, – неожиданно спросил Хайлар-хан Рожновского в середине разговора, – где лучше доктора, в России или у ференгов? Я хочу ехать лечиться. Мне советуют ехать в Париж. Там самые лучшие доктора. Не правда ли?

– Где доктора лучше, я не берусь судить! – отвечал Осип Петрович. – В Петербурге и в Москве есть прекрасные, знающие врачи!

– Знаю, но они сами не будут лечить, а пошлют лечиться во Францию или Германию, стало быть, для чего же мне ехать так далеко – в Москву? Не проще ли прямо обратиться к ференгам?

Сказав это, Хайлар-хан лукаво улыбнулся и хитро посмотрел на собеседника. Рожновский должен был признать всю разумность приведенного ханом сообщения.

– Русские доктора, – подумав немного, сказал он, – могли бы посоветовать вам отправиться в Пятигорск, Кисловодск или Железноводск...

– О, нет, нет! – с живостью перебил его хан. – Туда мой ехать не можно, никак не можно!

– Почему это? – удивился немного Рожновский.

– Пятигорск, Кисловодск, Сентука, – все мой знают.

Армянин есть, татар есть, персиянин есть, – бэшкэш приносить будет, он давал бэшкэш яман, а я ему давай бэшкэш яхши. Для меня нехорошо будет, а другой придет – дэньги дай, – третий – посмотрэть желает, гаварыт будет, – скажет знаком бывал. Улицам идэш – палициум знай, торговцем знай. Один клянутся, другой клянутся – тому дай, и того купи, наш хан, говорят. Много беспокойством будет!

Рожновский не мог не улыбнуться в душе, слушая хана и сознавая справедливость его слов и опасений.

«А ведь хан прав, – подумал он, – в Пятигорске или в другом каком-нибудь кавказском курорте ему часу не дадут спокойно вздохнуть всякие его соотечественники из русско-подданных».

Посидев еще несколько минут и Перекинувшись двумя-тремя незначительными фразами, гости поднялись и стали прощаться с ханом, который, ослабев от продолжительного сиденья в кресле и разговора, не стал очень сильно их удерживать. На прощанье он предложил им осмотреть его дворец, для каковой цели назначил в проводники, помимо Муртуза-аги, еще и Алакпер-Бабэй-хана.

Прежде всего вышли в сад, чтобы оттуда осмотреть наружный фасад здания.

Снаружи дворец сардаря представлял из себя двухэтажное, довольно неопределенной, смешанной

архитектуры здание, на высоком фундаменте и с башней наверху. Характерной особенностью этого здания было множество маленьких висячих балкончиков, со стенами и потолком из разноцветного стекла. Балкончики эти, как гнезда стрижей, лепились в беспорядке одни выше других, резко выделяясь на ярко-белом фоне стен здания. Возвышавшаяся посредине дворца высокая башня с куполообразной крышей из пестрых изразцов окружена была колоннадой с блестящими на солнце между колоннами металлическими, вызолоченными перилами. Колоннада эта, очевидно, была местом прогулок самого хана, где он мог прохаживаться, наблюдая с высоты жизнь всего селения и оставаясь сам в то же время невидимым для постороннего любопытного взгляда. На фронте здания красовалось барельефное, грубо размалеванное изображение персидского герба; канареечного цвета, лев, с бабьим лицом и с выглядывающим из-за его спины оранжево-золотистым солнцем, от которого во все стороны расходились ярко-желтые, топорно сделанные лучи. Над башней, на высоком шесте, развешивалось, как повешенная для просушки простыня, темно-зеленое знамя.

К главному зданию справа и слева примыкали флигели, соединенные с ним крытыми стеклянными галереями на столбах. В общем, дворец выглядел до-

вольно неуклюжим, но его скрашивало то обстоятельство, что он был выстроен на вершине крутого холма и окружен роскошным садом. Оглядев здание снаружи, приступили к внутреннему осмотру его бесчисленных комнат.

Некоторые из этих комнат походили на виденный уже зеркальный зал, смежный с комнатой сардаря. Такие же зеркальные стены, потолки и колонны, такие же люстры и бра, такие же разноцветные окна и паркетные, узорчатые полы. Только размером эти комнаты были меньше и в высоту – ниже.

Другие же покои выглядели совершенно ordinarily. Отштукатуренные, выкрашенные белой масляной краской стены, гажевые, обклеенные кирпичного цвета бумагой полы и простые двустворчатые белые двери.

Мебель, которой было немного, состояла из разнокалиберных стульев, круглых столиков и нескольких пузатых, украшенных инкрустацией комодов на высоких, изогнутых ножках. Остальное убранство комнат заключалось в разостланных на полу коврах и небольших матрасиках из шелка, бархата и сукна, разложенных по углам и вдоль стен. Некоторые из этих матрасиков представляли из себя огромную ценность, так как были затканы золотом и унизаны жемчугом, бирюзой и другими самоцветными камнями.

Сидеть на таких матрасиках, разумеется, было немислимо, и они, очевидно, играли роль только как украшение комнаты. Кроме матрасиков, повсюду гурдами лежали бархатные и суконные, расшитые шелками продолговатые подушки – мутаки. Впрочем, самым оригинальным в убранстве этих комнат являлось изобилие всевозможной стеклянной, фаянсовой и фарфоровой посуды, служившей не прямому своему назначению, а являвшейся в виде своеобразного украшения. Почти в каждой комнате посредине, или у одной из ее стен, стояло по одному, а где и по два небольших стола, на которых, как в ламповом магазине, теснилось с десятков ламп. Каких-каких только тут не было! Высокие, низкие, бронзовые и фарфоровые, чугунные и разных имитаций, вызолоченные, высеребренные, цвета старой бронзы и просто-напросто пестро раскрашенные. На одних колпаки были красные, на других голубые, на третьих белые матовые или белые блестящие, наконец, темно-зеленые; абажуры, тюльпаны, шары, простые колпаки пестрели в глазах, как на выставке. Большинство ламп было без стекол, горелки без фитиля. Вид этих горелок, совершенно чистых и не закопченных, ясно указывал, что все эти лампы ни разу не зажигались. Другим украшением комнат служила фарфоровая и стеклянная посуда. Вдоль стен, в два-три яруса шли стек-

лянные полки, тесно заставленные стаканами, рюмками, чашечками, вазочками, солонками и сахарницами. Даже аптечные разноцветные шары нашли себе место и торжественно возвышались среди беспорядочной груды прочего хлама, между которым попадались вещи большого изящества и ценности, как, например, восхитительные фарфоровые подсвечники, подчасники, куколки и т. п. Все эти вещи частью были выписаны из Англии, а частью куплены в приграничных армянских лавчонках, и надо было удивляться отсутствию вкуса и всякого художественного понимания, допускавшему такое безобразное смешение. Рядом с художественно исполненной вазой из дорогого тонкого фарфора стояла простая фаянсовая масленка, изображающая белого барашка с золотыми рогами, одна из тех, какими торгуют в молочных лавочках. Около старинного канделябра с порхающей на нем толпой крошечных амуров, из которых каждый, взятый в отдельности, являлся верхом искусства, ютилась глиняная, голая, раскрашенная богиня с зелеными волосами и ярко-пунцовыми щеками, поддерживающая размалеванный тюльпан-подсвечник. Дорогие хрустальные бокалы, украшенные гравировкой, были перемешаны со стаканами из зеленоватого стекла с намазанными на них яркой краской букетами, видами и портретами. Остальное убранство комнат было

в том же роде; так, например, в одной из комнат о двух окнах, на первом окне, спускаясь мягкими пышными складками от самого потолка, висела тюлевая занавеска, вся затканная золотой канителью. Рисунок был чрезвычайно сложен и замысловат. Глядя на него, даже трудно было представить себе, сколько терпеливого, упорного труда потребовала эта действительно роскошная вещь, а рядом с такой драгоценностью, на другом окне висел кусок ситца с какими-то нелепыми птицами и букетами.

– О, дикари, дикари! – невольно воскликнула Лидия, пораженная таким безвкусием; но вспомнив, что сзади нее стоит Алакпер-Бабэй-хан, понимавший по-русски, она смутилась и прикусила язык, но хитрый старик сделал вид, будто ничего не слышал и самым невинным тоном спросил ее, какое впечатление вынесла она из осмотра Дворца.

– Дворец прекрасный! – поспешила любезно успокоить его Лидия.

Осмотрев дворец и спустившись по крутой лестнице вниз, все вышли на широкий, выложенный плитняком и обнесенный высокой стеной двор, посреди которого монотонно журчал и искрился небольшой фонтанчик. Муртуз-ага предложил пройти в конюшню взглянуть на ханских лошадей. Предложение было охотно принято, но впечатление от осмотра бла-

городных животных оказалось далеко не таким, какое ожидалось. Все лошади выглядели чрезвычайно раскормленными, и почти каждая имела какой-нибудь бросающийся прямо в глаза порок. Одна была чересчур седлиста, у другой облезлый хвост, третья выглядела чрезмерно узкогрудой, четвертая имела неправильный постав ног; было две-три лошади с бельмом на глазу, а одна и совершенно слепая; по всему было заметно, что о правильном коневодстве здесь, в Судже, не имеют никакого понятия. Ухода за лошадьми в европейском значении этого слова не было вовсе: лошади были не чищены, а конюшни грязны, душны и переполнены навозом. Чтобы не отгороженные ничем друг от друга жеребцы не лягались, они были прикованы короткими цепями к вбитым в землю кольям. От этих нелепых цепей нижняя часть ног лошадей была покрыта никогда не заживающими струпьями, переходящими в конце концов в бородавки и наросты.

Между лошадьми помещалось несколько катеров, – великолепные животные, молочного цвета, с черными глазами и умеренной длины ушами. Головы их были украшены разноцветными ленточками, и они, очевидно, пользовались большим вниманием, чем лошади.

Воинов, большой любитель и знаток лошадей, ожидавший увидеть что-нибудь особенное, был сильно

разочарован и не удержался, чтобы не высказать этого Муртуз-аге.

– Так вот это-то и есть знаменитые суджинские лошади, о которых так много говорят. Признаюсь, не вижу в них ничего особенного, разве только одно – то что все они раскормлены, как кабаны!

– Суджинских лошадей надо смотреть в езде, – спокойно возразил Муртуз, – под седлом они совершенно преображаются. В конюшне они действительно выглядят немного вялыми, неуклюжими и не совсем хорошо сложенными, но когда на них садится всадник, они подбираются, шея делается гибкой, и вся лошадь точно разгорается от скрытого в ней внутреннего огня. Впрочем, с тех пор, как сардар начал болеть и совершенно перестал ездить верхом, а этому уже будет года три-четыре, в его конюшне перевелись хорошие лошади. Которые подошли, которых он раздарил или пустил в табун. Во всей Судже его лошади теперь считаются худшими. Зато катера у него очень хороши.

– А для чего ему катера, он не может ездить верхом?

– Нет, на катерах он ездит. Катер гораздо спокойнее лошади, не горячится, не прыгает, идет осторожно, плавно. Особенно у катеров этой породы – так называемых египетских – замечательно плавный ход; они несут своего всадника на своей спине, как мать

ребенка, – нигде не трянут, не толкнут. У нас на них ездят дряхлые старики, больные и женщины, и ценятся они вдвое дороже лошади.

XXVII. В старом дворце

– Не хотите ли пройти в другой дворец, принадлежащий дяде сардаря, Халил-хану? Самого хана нет, он уехал в Мекку, но дворец стоит посмотреть. Он построен очень давно; это единственный старинный дворец, который уцелел в Судже, прочие ханы давно уже перестроили свои дворцы по-новому, и все они как две капли воды похожи на сардарский: такие же зеркальные залы, такое же множество стеклянной посуды, в виде украшения, словом, все одно и то же, и только один Халил-хан не пожелал изменить старине.

– Что ж, пойдёмте, – согласилась Лидия, – все равно делать ведь нам нечего!

Они пошли.

Дворец Халил-хана находился на другом конце селения. Всю дорогу, пока они шли, толпа ребятишек бежала за ними, с испуганным любопытством глядя на невиданные костюмы «кяфиров». Попадавшие им навстречу татары отвешивали низкие поклоны и, миновав, останавливались и смотрели им вслед. Женщины в длинных чадрах, завидя их, торопливо выбежали из дворов и, распахнув немного чадру, с каким-то испугом и недоумением глядели во все глаза, слегка разинув рот и замирая от любопытства. Видно было,

что их больше всего поражали амазонки Лидии и Ольги. Одна даже не утерпела и в то время, когда Лидия проходила мимо нее, слегка дотронулась пальцем до ее длинной замшевой перчатки с твердыми крагами – раструбом.

Лидия остановилась и ласково улыбнулась; татарка в свою очередь оскалила белые, как молоко, зубы и весело рассмеялась.

– Какая хорошенькая! – невольно воскликнула Лидия, любуясь продолговатым овалом лица татарочки, ее миндалевидными, темными глазами и густыми-густыми, длинными ресницами. Белая, с желтоватым отливом, как старинная слоновая кость, кожа слегка румянилась на щеках, придавая татарочке своеобразную прелесть.

– Да, хорошенькая! – согласился Рожновский, в свою очередь оглянувшись на татарку, которая, заметив на себе взгляд мужчины, сконфузилась и пустилась бежать, звеня монистами и мелькая голыми пятками загорелых ног.

Пройдя обширный двор, с беспорядочно настроенными на нем сараями и клетушками, путники, в сопровождении нескольких нукеров, выскочивших им навстречу, вошли в густой, запущенный тенистый сад. В этом саду, скрываясь за купах темно-зеленых чинар и нарбаидов, возвышалось длинное одноэтажное

здание, облицованное красными, белыми и темно-коричневыми кирпичами, уложенными так, что получался замысловатый рисунок. Широкие окна, из небольших стекол в частом переплете рамы, были украшены ярко размалеванными барельефами. Часть передней стены занимала стеклянная веранда, над которой на фронтоне дома красовался, как и во дворце Хайлар-хана, лепной, раскрашенный герб Персии; по всем четырем углам здания возвышались круглые башенки с узкими бойницами вместо окон.

Поднявшись по крутой лестнице на веранду, путники очутились в низкой, полутемной комнате, служившей передней, с тремя одностворчатыми дверями, ведущими во внутренние покои. Следующая за передней комната была значительно просторнее, длиннее и светлее. Лидии она живо напоминала старинные московские терема.

Толстые массивные стены с глубокими нишами и окнами-амбразурами были пестро расписаны от потолка до низу причудливыми узорами, такие же узоры покрывали низкие сводчатые потолки. Ярко-зеленая, огненно-красная, голубая краски мешались с густой позолотой. Чудовищные цветы переплетались с замысловатыми завитками и арабесками и рябили в глазах своей яркой дикой пестротой. Пол комнаты был устлан коврами, с набросанными в беспорядке

по углам ворохами суконных, шелковых и бархатных мутак и подушек. Низенькие, богато украшенные перламутровой инкрустацией восьмиугольные табуреты, заменяющие столики, стояли вдоль стен и посередине комнаты. В правом углу было устроено нечто вроде трона: небольшая низкая оттоманка, обтянутая золотистым бархатом, и над ней балдахин из шелковых джеджимов, украшенный по углам парчовыми золотыми кистями. По стенам в одинаковом друг от друга расстоянии висели в ряд, небольшой величины, но разные по своей форме зеркала, в бронзовых, золоченых рамах; круглые, овальные, многоугольные и квадратные, наподобие звезды и полулуния. Зеркала эти были единственным украшением; ни ламп, ни стеклянной посуды, как во дворце сардаря, – здесь не было, что, конечно, могло только усилить приятное впечатление, производимое своеобразным видом комнат.

Пройдя эту комнату, компания очутилась в следующей, гораздо меньшей по величине, но еще более оригинальной. Комната эта была овальной, наподобие башенки, с круглыми окнами, помещавшимися под куполообразным потолком. Потолок, ярко-белого цвета, был окаймлен пестрым широким бордюром.

Что же касается стен, то разрисовка их сразу приковала всеобщее внимание. Не надобно было быть

знатоком, чтобы понять, насколько работа была художественна. Нижняя часть стены, от пола на высоту человеческого пояса, была искусно раскрашена под малахит, выше же фон был бледно-бирюзовый, и по этому фону тянулись, прихотливо завиваясь и переплетаясь между собой, густые гирлянды цветов, перемешанные с виноградными гроздьями и разными другими фруктами. Приблизительно через аршин расстояния гирлянды эти образовывали красивые, овальной формы рамы, в которых была нарисована одна и та же женская головка, хотя и в разных видах, то прямо, то в полуобороте в ту или другую сторону. Головка эта изображала красивую молодую женщину с восточным типом лица и густыми, распущенными по плечам волосами, которые только одни и служили ей одеянием. Впрочем, кроме глаз, губ и носа, остальное все было недоделано и как бы слегка только намечено.

– Какой оригинальный и в то же время странный рисунок! – воскликнула Лидия, внимательно разглядывая изображение женской головки.

– А вы не обратили внимания, – сказал Воинов, – что в одном месте стена осталась неразрисованной и просто-напросто грубо закрашена зеленой краской.

– Ах и в самом деле, смотрите, какое безобразие! – возмутилась Лидия. – Точно здесь когда-то была дверь, ее впоследствии заделали и замазали зе-

ленной краской. Удивительный народ эти персы! Отсутствие понимания всякого изящества. Ну, можно ли оставлять подобное пятно рядом с таким художественным рисунком?

– Это пятно, как вы называете, сделано нарочно и имеет свою историю, – вмешался Муртуз-ага, – если хотите, я расскажу вам ее.

– Ах, пожалуйста! Мы очень рады будем послушать!

XXVIII. История одной стены

– Вы не смотрите, господа, – начал Муртуз, – на то, что краски на этих рисунках так живы и яркие; рисовал их хороший мастер, потому они, должно быть, так и сохранились, несмотря на пятьдесят лет, пролетевших с той поры, как эта комната была отделана.

Когда построен этот дворец – в точности никто не знает, во всяком случае гораздо более ста лет; но лет пятьдесят тому назад, бывший владелец его, отец Халил-хана, Юзуф-хан, вздумал капитально его отремонтировать. На это у хана были свои причины, о которых я сообщу вам после, а теперь пока скажу несколько слов о Юзуф-хане. Это был человек страшно жестокий и неумолимый. Когда кто-нибудь из подданных Юзуф-хана имел несчастье его рассердить, то не только самому провинившемуся, но и всему его семейству не было пощады. В Судже до сих пор рассказывают, как Юзуф-хан приказывал сбрасывать со скалы в пропасть ни в чем не повинных жен и детей осужденных им на смерть нукеров, причем грудных младенцев привязывали на шею матерям, и в таком виде сталкивали вниз. С другими ханами, своими родственниками, Юзуф-хан не знался, никогда ни к кому из них не ходил и к себе не звал. Особенно нена-

видел он своего родного брата, знаменитого сардара Чингиз-хана, отца теперешнего сардаря Хайлар-хана, но Чингиз-хан был сам человек очень суровый и потому, ненавидя его всей душой, Юзуф-хан тем не менее не смел явно высказывать своей вражды к могущественному владыке. К довершению всего Юзуф-хан, несмотря на свое огромное богатство, был чрезвычайно скуп; скупость его не имела границ, о ней со смехом рассказывали на базарах, а потому все были поражены, когда в один прекрасный день Юзуф-хан выказал при одном случае небывалую щедрость.

Случай этот был следующий.

Однажды курды, после своего набега на русскую границу, привезли на базар, для продажи, в числе прочего награбленного добра, молодую девушку поразительной красоты. Где и как они ее добыли, курды, по своему обыкновению, никому не рассказывали, да по всей вероятности, никто их об этом и не расспрашивал, говорили только, что пленница по происхождению своему была армянка.

Когда весть о появлении на базаре такого редкого товара облетела все население, к курдам явилось множество покупателей из числа ханов и богатых беков, но разбойники заломили такую баснословную цену, что никто не решался заплатить столько, хотя многим пленница чрезвычайно нравилась. Она

стояла потупя голову, полуобнаженная, с волосами, ниспадавшими ей почти до пят, со стыдливым румянцем на щеках и заплаканными грустными глазами. Красота ее была настолько ослепительна, что один из ханов уже готов был уплатить требуемую курдами сумму и пошел за деньгами, но в это время на базаре появился Юзуф-хан. В то время ему было больше шестидесяти лет, но он еще был бодрый и сильный, хотя уже и совсем седой старик.

Увидя его, кто-то из присутствовавших молодых ханков со смехом закричал ему:

– Юзуф-хан, купи себе красавицу. Ты у нас самый богатый, и то, что другим не по карману, – для тебя пустяки! Никто из нас не в состоянии заплатить курдам столько, сколько они хотят!

– А сколько ты за нее хочешь? – не взглянув на говорившего ханка, спросил Юзуф-хан, обращаясь к предводителю шайки. Тот сказал свою цену. Юзуф-хан несколько минут молча в раздумье разглядывал замершую перед ним от страха красавицу, и вдруг глаза его вспыхнули, как у волка, и на лице появилась легкая краска волнения. Он взял красавицу за руку и грубо дернул ее к себе.

– Согласен! – угрюмо сказал он курду. – Хотя ты просишь чересчур дорого, но пусть будет по-твоему. Веди ее ко мне во дворец и там получишь деньги!

Прошло около года. О купленной Юзуф-ханом пленнице давно все забыли, и никто ею не интересовался. Она жила в доме своего повелителя за толстыми стенами и дальше сада нигде не появлялась. Что она испытывала, и какова была ее жизнь – никто не знал, и никому до этого не было дела, но, принимая во внимание злой характер Юзуф-хана, его старость и скупость, можно с уверенностью сказать, что житье бедной рабыни было нерадостное.

Вдруг по селению разнеслась удивившая всех новость: скупой и угрюмый Юзуф-хан, упорно не соглашавшийся дотопе переменить подгнившей балки, подправить обвалившийся угол наружной стены, ни с того ни с сего неожиданно пожелал приступить к общей переделке своего старого, медленно разрушавшегося дворца. Сначала никто не хотел этому верить, но вскоре слух вполне оправдался. Появились вызванные из России и Турции мастера: печники, штукатуры, плотники; из принадлежащих хану селений сгонялись простые рабочие. Закипела лихорадочно-торопливая работа.

Старые стены разламывались, и на их месте воздвигались новые; маленькие и тесные помещения расширялись и надстраивались; гнилые, ветхие рамы и двери заменялись другими – словом, весь дворец принимал совершенно другой, более роскошный вид.

Между приглашенными из России мастерами был один, обязанность которого была разукрасить стены дворца живописью. Это был молодой человек, армянин, державший себя весьма независимо, не как какой-нибудь бедняк мастеровой, а скорее как настоящий господин. По мере того как комнаты отделялись, он принимался их расписывать. Первой он нарисовал большую комнату, рядом с прихожей, а затем приступил вот к этой, где мы сейчас находимся. Хан оказался большим любителем живописи и целыми часами просиживал на одном месте, глядя на работу художника. Его занимало следить, как на гладкой, загрунтованной стене под ударами кисти, постепенно один за другим рождались все новые и новые узоры, один причудливее другого; как они ярко расцветали, покрывались позолотой, получали живость и законченность. Раза два он сам брал в руки кисть и пробовал проводить ею по стене, но, разумеется, у него ничего не выходило, кроме грязных, уродливых пятен. При виде таких попыток со стороны старика художник весело смеялся и начинал рассказывать ему о том, как люди учатся искусству живописи. Как и все армяне, он хорошо говорил по-татарски, и хан охотно слушал его болтовню. В первый раз в жизни в суровом, свирепом старике шевельнулось нечто похожее на расположение к другому человеку; остава-

сь с глазу на глаз с молодым живописцем, он переставал хмуриться, лицо его прояснялось, и голос звучал не так строго. В одну из хороших минут он, Должно быть, рассказал своей пленнице о художнике, и та стала просить старика дозволить и ей посмотреть, как он рисует. Юзуф-хан по-своему, очевидно, сильно любил молодую женщину, ради нее и дворец начал перестраивать, а потому не мог отказать ей в ее просьбе.

С тех пор каждый день, когда хан являлся в комнату, где работал художник, вместе с ним приходила и пленница, закутанная с ног до головы в густую чадру. Она садилась подле хана и сидела молча и неподвижно. Сначала ревнивый хан украдкой, подозрительно поглядывал то на того, то на другого, но, убедившись, что ни его пленница, ни художник не делают ни малейшей попытки завязать между собой знакомства, успокоился.

На первых порах художник действительно не обращал никакого внимания на закутанную фигуру женщины, которую принял за одну из жен хана, но однажды, провожая глазами удалившегося хана и его спутницу, он увидел, как та незаметно бросила на пол плотно скомканную бумажку, подкатившуюся ему под ноги. Развернув ее, он, к большому изумлению, прочел: «Я, как и ты, армянка; зовут меня Зара Унаньянц,

курды похитили меня и продали в Суджу здешнему хану. Мне очень худо. Спаси меня. Отец мой очень богат, и если ты отвезешь меня к нему, он озолотит тебя. Я уговорила хана перестроить дворец в надежде, что между мастерами будут, наверное, армяне, и мне удастся переговорить с которым-нибудь из них. Еще раз умоляю – помоги!»

Прочитав эту записку, художник сильно взволновался. Хотя лично он не был знаком со старым Унаньянцем, но много слышал о дивной красоте его дочери и о таинственном ее исчезновении.

Она была похищена на большой дороге, когда ехала со своим дядей в гости к родственникам матери. В кругу Родных и знакомых ее давно считали умершей.

Когда на другой день Юзуф-хан снова появился в сопровождении Зары, художник, рисуя замысловатую арабеску, написал на стене:

«Я весь к вашим услугам, надо только обдумать!»

Хан, разумеется, по-армянски не знал, а потому, несмотря на то, что глядел во все глаза, не понял зарисованных художником завитушек и черточек, которые были не что иное, как слова, понятные для его пленницы.

В ту минуту, когда старик особенно внимательно углубился в разглядывание рисунка, Зара быстрым движением на мгновение распахнула чадру и гла-

зам художника предстало дивное личико, с большими грустными глазами. Когда молодой человек остался один, он начал в волнении прохаживаться взад и вперед по комнате, вызывая в своем уме образ молодой женщины. Потом он снова взялся за кисти и осторожно стал набрасывать на память мгновенно промелькнувшие перед ним черты красавицы. Тогда-то ему и пришла мысль поместить между гирляндами головку, которую вы видите. Это было очень смело и могло возбудить подозрение хана, но молодой человек не мог преодолеть своего художественного увлечения. Чтобы несколько замаскировать сходство рисуемой им головки с Зарой, он изменил ей прическу, и все лицо оставил недоделанным, закончив только глаза, губы и нос. Юзуф-хан ничего не понял, но красавица сразу узнала себя. Сначала она страшно испугалась, но, видя, что хан ничего не замечает, успокоилась и при всяком удобном случае спешила распахнуть чадру и показать живописцу свое красивое личико, чтобы он мог получше запечатлеть его в своей памяти.

С этого времени между молодыми людьми установилась правильная переписка. Приходя в комнату, Зара всегда садилась на одно и то же место и, опускаясь на ковер, незаметно подымала одну из множества валявшихся повсюду бумажек, о которые худож-

ник во время работы обтирал кисти. Надо ли прибавлять, что эти бумажки содержали в себе послание художника пленнице, в котором он извещал ее о том, что он предпринимает для достижения успеха в намеченной им цели спасти ее из неволи Юзуф-хана. В свою очередь, когда молодая женщина удалялась, художник всякий раз находил на том месте, где она сидела, скомканную в комочек бумажку с несколькими нацарапанными на ней словами Юзуф-хан по-прежнему ничего не видел и не подозревал. Выдумка художника изобразить на стенах медальоны с женской головой ему чрезвычайно понравилась, он только пожелал, чтобы художник не довольствовался верхним контуром плеч, а рисовал и грудь, почти до пояса.

Чтобы его задобрить, художник охотно исполнил его желание, почему, как вы сами видите, некоторые фигуры не отличаются особой скромностью.

XXIX. Замуравленные

Работа по разрисовке комнаты подходила к концу; подходила к концу и другая работа – по подготовке всего нужного к побегу. Оставалось сделать только последний, главный и самый опасный шаг – устранить старика и похитить пленницу. Задача эта казалась невыполнимой, но художник, очевидно, был человек смелый и решительный, и вот однажды, когда Юзуф-хан, в сопровождении Зары, по обыкновению пришел к художнику, тот, низко кланяясь, поманил его к себе, желая, очевидно, показать что-то интересное, но в ту минуту, когда старый хан углубился в рассматривание данной ему в руки художником картинки, последний, сделав шаг назад, незаметно вытащил из-за рукава острый, кривой сбичак и одним метким и ловким ударом перехватил ему глотку. Удар был так силен, что хан не успел даже вскрикнуть и, как прирезанный баран, повалился на землю. Наступив ему коленом на грудь, художник другим ударом почти отделил ему голову от туловища, после чего, вытащив из угла мешок, бросил его Заре. В этом мешке были припасены старая армянская черкеска, шаровары, чувяки и огромная косматая папаха, длинная курчавая шерсть которой доходила чуть не до плеч. Сбросив чадру и

лишнюю одежду, Зара быстро переоделась, и оба вышли через противоположные двери на двор, предварительно заперев другие снутри на крючок. Прошмыгнув незамеченными через сад, они перелезли стену и очутились в глухом переулке между садами. Здесь их ждал сообщник, тоже армянин, из числа рабочих, с двумя лошадьми в поводу. Вскочив на седла, беглецы осторожно спустились вниз по крутому обрыву, переехали вброд протекавшую внизу горную быструю речку и пустили лошадей вскачь. Так как русская граница была гораздо дальше, и дорога к ней шла открытой степью, мимо многих селений, то художник, составляя план побега, решил направиться в Турцию, путь в которую лежал по горным глухим тропинкам, где они легко могли избежать всяких встреч. Попасть же из Турции в Россию не представляло никакого труда.

Давая время от времени лошадям перевести дух, беглецы снова пускали их вскачь, и с каждой минутой турецкая граница, а за ней и спасение, становилась к ним все ближе и ближе.

Тем временем наступила ночь. Все рассчитал, все предусмотрел смелый художник, обдумывая план побега, но не принял во внимание одного – это крошечной тьмы, которая наступает в горах ночью. Как бы ни была темна ночь на равнине, но хоть что-нибудь да можно различить, в горах же в безлунную

ночь темно, как в могиле. Не видать ушей лошади, на которой сидишь, «не чувствуешь своих собственных глаз», как говорят татары. Самое лучшее было бы путникам укрыться где-нибудь в пещере и дожидаться появления луны; тогда бы они наверно спаслись, но страх погони помутил их разум, и они сделали непростительную ошибку, двинувшись дальше. Хотя художник, нарочно несколько раз съездивший перед этим в Турцию, для лучшего ознакомления с местностью, прекрасно изучил дорогу, но в такую темноту не сбиться с пути можно было только благодаря счастливому случаю. На их беду счастье отвернулось от них. Проехав порядочное расстояние, молодой армянин с ужасом заметил, что он заблудился. Открытие это, должно быть, окончательно сбilo их с толку, и они принялись безрассудно метаться по горам, то в ту, то в другую сторону. Это было самое худшее, что они могли сделать. Вместо того чтобы беречь своих лошадей, они напрасно утомляли их, и когда, наконец, взошла луна, то оба с ужасом увидели себя в более далеком расстоянии от турецкой границы, чем-то, где их застала ночь; к тому же лошади их совершенно выбились из сил и еле волочили ноги.

Дав им немного отдохнуть, беглецы снова погнали их вперед, но, поднявшись на одну из вершин и оглянувшись назад, с отчаянием увидели большую толпу

курдов, подобно стае борзых собак, несшихся по их следам. Это была погоня. К счастью, до турецкой границы было уже недалеко теперь: все спасение зависело от того, насколько велик запас сил, остававшийся у их лошадей. Началась скачка на жизнь и смерть. Вот и граница. Добежав из последних сил до вершины горы, лошади беглецов остановились, не будучи в состоянии сделать хотя бы один шаг далее; впрочем, теперь они уже были больше не нужны. С этого места шел крутой спуск вниз, по которому гораздо удобнее было сбегать, чем съезжать верхом, а потому наши беглецы, не теряя времени соскочили с лошадей и пустились сломя голову вниз. Курды тем временем только взбирались по противоположной крутизне, а потому беглецы успели значительно опередить их. Сбегая вниз, художник, к большой своей радости, увидел издали небольшую глиняную караулку, а подле нее несколько человек турецких аскеров, на покровительство которых он мог вполне рассчитывать, раз бы объяснил им, с присовокуплением хорошего бэшкеша, что состоит в русском подданстве и подлежит отправке в Россию.

В ту минуту, когда беглецы были недалеко от турок, курды, взобравшись на вершину, быстро врасыпную стали спускаться вниз. Увидя это, турецкие солдаты, которых было человек десять, встрепену-

лись и по приказанию начальствовавшего ими пожилого унтер-офицера, быстро стали заряжать ружья.

Увидя враждебное движение турок, очевидно, с оружием в руках готовившихся не допускать нарушения своей границы, курды тотчас же остановились, сбились в кучу и рысью отъехали назад.

Художник и Зара, наблюдавшие за всем происходящим из окна караулки, куда они пробежали, повинувшись молчаливому указанию турецкого унтер-офицера, вздохнули свободно. Всякая опасность миновала; хотя курдов было втрое больше, но они никогда бы не осмелились напасть на солдат регулярных турецких войск, раз те решили серьезно защищать отдавшихся под их покровительство беглецов.

Несколько минут стояли оба отряда один против другого, взаимно наблюдая друг друга, как вдруг со стороны курдов выделился один всадник, – это был старший сын Юзуф-хана, нынешний владетель дворца, – Халил-хан; тогда ему было двадцать лет, не больше.

Махая туркам рукой, чтобы они не стреляли, он смело подскакал к стоявшему впереди всех унтер-офицеру.

Стоя у окна, Зара и художник внимательно и с возрастающим беспокойством глядели, как между турком и молодым ханом завязалась оживленная бесе-

да. Оба сильно жестикулировали, часто оборачиваясь лицом к сторожке и указывая на нее руками.

Страшное подозрение закралось в душу художника.

– Проклятые! – закричал он вдруг в бессильном, яростном отчаянии. – Они нас, кажется, продают!

Он не ошибся. Молодой хан, действительно, предложил турку порядочную сумму денег за выдачу беглецов. Хитрый старик сначала долго не соглашался, но когда хан удвоил предложенную вначале сумму – он, наконец, согласился.

– Конечно, если бы они не убили мусульманина, – я бы их вам ни за что не выдал, – философствовал турок, пересчитывая полученные им деньги, – но раз проклятые гяуры осмелились нечестивыми своими руками зарезать правоверного, хотя бы и шиита, они подлежат тяжкой каре. Берите их и делайте с ними, что хотите, во славу Аллаха. Эй – обратился он к своим солдатам, – вытащите этих двух негодяев и отдайте молодому хану, который так милостив, что подарил нам целую горсть монет. Да будет прославлено его имя!

Турки не заставили повторять приказания, и через минуту художник и Зара уже бились в сильных руках курдов. Напрасно молодой человек кричал, что он русский подданный, и что за выдачу его они ответят

перед русским правительством, турки оставались глухи к его воплям, нисколько не опасаясь его угроз, отлично понимая, что персы его живого не выпустят, стало быть, и жаловаться он уже не будет.

В тот же день к вечеру художник и Зара снова очутились в той самой комнате, где они сговаривались совершить побег и откуда так неудачно бежали, обливая ее кровью старого Юзуф-хана.

– Пусть эта комната, где ты замыслил свое злое дело, – сказал Халил-хан художнику, – послужит тебе и ей, – он указал на Зару, – могилой. Смотри: один кусок стены тобой еще не разрисован, пусть же, вместо твоего рисунка, ляжет туда твое тело!

По приказанию хана пришедшие рабочие живо разобрали часть стены настолько, чтобы в образовавшееся углубление можно было поместить стоящего во весь рост человека. Когда все было готово, с художника и Зары сняли всю одежду, скрутили их веревками и, вставив в стену, заложили кирпичами, а сверху обмазали стену известью.

Так погибли эти двое несчастных, и никто никогда не узнал об их судьбе.

– Неужели они еще до сих пор в стене? – прошептала Лидия, с ужасом оглядываясь на зеленый четырехугольник.

– О, нет! – отвечал Муртуз, – лет десять тому назад,

когда Халил-хан уступил эту половину дворца своему сыну Мехти-хану, тот приказал сломать стену, вынуть оттуда кости замурованных и выбросить их вон. После этого стену снова заделали и покрасили ее пока зеленой краской, а осенью обещал приехать один мастер, чтобы зарисовать это место, наподобие прочих стен, такими же гирляндами и цветами. Не знаю только, удастся ли этому художнику нарисовать так же хорошо, как нарисовал его предшественник, нашедший в этой комнате свою могилу!

– Откуда вы знаете все эти подробности, точно сами присутствовали там? – спросила Ольга Оскаровна.

– Мне об этой истории подробно рассказывал сам Халил-хан. Он тогда же подверг допросу всех армян-рабочих, и те сообщили ему все, что сами знали, а известно им было многое, так как молодой художник рассказывал им обо всем сам.

– А рабочим ничего не сделали?

– Нет. Когда они окончили отделку дворца, их отпустили с миром; только одного, кто помогал беглецам, задержали во дворце хана еще на год, но затем и тот был отпущен на все четыре стороны. Халил-хан был не в отца: тот бы не пощадил никого!

– Ужасная история! – нервно потерев рукой лоб, произнесла Лидия. – Ну, уж и страна же, ваша Пер-

сия! Тут каждый камень кажется свидетелем какого-нибудь убийства!.. Я уже устала ходить и хочу вернуться в свою комнату отдохнуть немного!

– И я тоже! – поддержала сестру Ольга Оскаровна. Вся компания двинулась обратно.

Однако отдохнуть ни Лидии, ни Ольге не удалось. Только что они вернулись, как явился посланец с докладом, что мать и жена Хайлар-хана очень желают видеть русских барынь.

Отказаться было неловко и пришлось идти на женскую половину.

XXX. Ханши

В противоположность своему болезненному, худощавому мужу, жена Хайлар-хана, Изаргэль-ханум — была высокая, тучная, дебелая молодая женщина, которая могла бы назваться красивой, если бы не дурной обычай знатных мусульманок безобразно белить и румянить щеки, разрисовывать брови и подводить глаза, отчего самое красивое лицо напоминает маску клоуна.

Костюм Изаргэль-ханум был богат, но крайне безвкусен. Вокруг бедер, обвисая спереди, было надето несколько шелковых, коротких до колен юбок, одна поверх другой, придававших татарке вид балерины. Белая кисейная рубаша, затканная мишурой, была так коротка, что едва доходила до талии, так что между подолом ее и поясом юбки обнажалось тело. Поверх рубашки была надета алая бархатная кофточка, вся расшитая золотом, с прорезами на боках и кармашками, где лежали зеркальце, притирания и амулеты. Обнаженные ноги были обуты в коротенькие, достигающие до щиколотки джуранки, связанные из шелковых оческов. Волосы заплетены в бесчисленное, множество косичек, висевших со всех сторон, как черные змеи.

На голове красовалась небольшая кругленькая бархатная, расшитая золотом и украшенная бирюзой, шапочка, поверх которой был укреплен идущий от шеи по подбородку ожерельем кусок кисеи. На обнаженной груди, на шее, на голове болтались и звенели повешенные в несколько рядов золотые монеты и жемчужные нити. В ушах сверкали большие бриллиантовые серьги; руки почти от плеча были унизаны золотыми браслетами, а пальцы не сгибались от множества колец, покрывавших их сплошь до ногтей, выкрашенных в желтую краску.

Мать Хайлар-хана, одетая так же, как и ее невестка, была уже старуха лет за пятьдесят и выглядела совершенной дурочкой. Она бессмысленно тарацила свои выпуклые серые глаза и поводила головой, как механическая кукла. Ее раскрашенное, как у арлекина, лицо ничего не выражало, кроме тупого пресыщения и непомерной чванности. Своим неподвижным лицом, выпученными глазами и величественно расплывшейся фигурой она напоминала китайского божка. На учтивый поклон Лидии и Ольги старуха не сочла нужным ответить хотя бы кивком головы и с идиотической бесцеремонностью во все глаза принялась их разглядывать. Зато Изаргэль-ханум оказалась в высшей степени любезной. С веселой улыбкой, жестом руки она пригласила их занять место подле се-

бя, подсунула им под локоть мягкую мутаку и тут же принялась быстро и весело что-то им сообщать, но, видя по их недоумевающим лицам, что они ее не понимают, ханша добродушно рассмеялась.

– Кэрош, кэрош, ха, кэрош! – несколько раз повторила она, вся так и колыхаясь от хохота.

Глядя на ее непринужденную веселость, Лидия и Ольга невольно тоже улыбнулись. В это время служанка, очень хорошенькая девочка лет двенадцати, внесла на большом подносе крошечные чашечки кофе и бесчисленное множество хрустальных блюдец с вареньем.

– Праашю! – нараспев произнесла Изаргэль-ханум и снова неудержимо расхохоталась.

Лидии положительно начинала нравиться эта веселая жизнерадостная толстушка, показавшаяся ей очень доброй, но случившееся вскоре происшествие сразу вывело молодую девушку из ее заблуждения, представив в настоящем свете кажущееся добродушие ханши. Когда кофе был выпит, убрать пустую посуду вошла другая девушка, постарше первой, с бледным, грустным, болезненным лицом. Молча составив чашки и блюдечки из-под варенья на поднос, она направилась к выходу; но, подстрекаемая любопытством, уже у самых дверей еще раз оглянулась на странных, невиданных ею русских женщин. Она так

засмотрелась на них, что не заметила подвернувшейся ей под ноги подушки, споткнулась на нее и чуть не упала, причем одна из чашечек покатила на пол и, ударившись о стенку, разбилась.

– Гет-бурда! – самым спокойным и добродушным тоном произнесла Изаргэль-ханум. Девочка задрожала всем телом, но повиновалась. Продолжая любезно улыбаться и по-прежнему что-то рассказывать своим гостям, Изаргэль-ханум, не оглядываясь, неторопливым жестом вытащила откуда-то длинную булавку с бирюзовой головкой и, не смотря на девочку, глубоко запустила острие ей в бок. Девочка вздрогнула и слегка ахнула, но кричать и плакать не посмела. Стиснув зубы и смигивая навернувшиеся на глаза слезы, она поспешила подобрать черепки чашки и проворно шмыгнула из комнаты. На Лидию Оскаровну и ее сестру этот случай произвел неприятное впечатление, и они поспешили распрощаться с ханшами. Выходя из комнаты, Лидия невольно воскликнула:

– Какая мерзость и подлость! А ведь какие-нибудь сорок лет тому назад такие же ужасы творились и у нас, при крепостном праве!

Когда они вернулись от ханш к себе в комнату, они застали там Рожновского.

– Где вы пропадали? – встретил он их вопросом. – Обедать пора. Хайлар-хан прислал сказать, что ввиду

болезни не может обедать с нами за общим столом и просит простить его. Вместо себя он прислал своего секретаря Алакпер-хана и еще какого-то важного перса. Ну, идемте скорей, смертельно есть хочется.

Обед был приготовлен в той же круглой зале, где утром пили чай, и состоял он из неизменного плова, чахар-тмы, люля-кэбаба, шашлыка, жареных цыплят и сладостей в виде кишмиша, миндаля, леденцов, паточных конфет и варенья. Все кушанья были разложены по тарелкам и расставлены на нескольких подносах. Гости разделились на группы, и перед каждой из них стояло по подносу с несколькими сортами кушаний. Приборов было мало и то только для русских; татары: Алакпер-хан, Муртуз и еще третий старик ели руками с помощью кусочков лаваша, из которого они устраивали род лодочек и этими лодочками захватывали не только мясо и рис, но и соус из поджаренного масла с поджаренным в нем изюмом и разными пряностями.

Лидию очень изумило, что при колоссальном богатстве Хайлар-хана обеденные приборы были самого дешевого сорта: обыкновенные мельхиоровые ложки, железные ножи и вилки, с деревянными черенками. К тому же все это было страшно запущено, изогнуто, измято и поломано. Она не утерпела и поделилась своими мыслями с Рожновским.

– Ничего нет удивительного, – ответил тот, – зачем хану приборы, когда он ест руками?

Несмотря на довольно-таки неряшливое приготовление, обед оказался, против ожидания, весьма вкусным; особенно понравился всем плов, сваренный из какого-то особенного, продолговатого, крупного, молочного вкуса, риса.

До обеда и после него все присутствующие свершили омовение рук. Для этой цели прислуживавший у стола мальчик принес старинный серебряный, чеканный кунган с теплой душистой водой и богато расшитые по краям золотом и шелком полотенца. После обеда, ближе к вечеру, когда жара спала, Воинов и Рожновский, по приглашению Муртуз-аги, отправились с визитами к остальным ханам, проживавшим в Судже. Таких, кроме Халил-хана, дяди Хайлар-хана, было четыре человека; трое – двоюродные братья Хайлара и один – племянник его.

Лидия и Ольга, узнав о том, что все дворцы ханов построены по одному шаблону, с той только разницей, что одни из них были богаче, другие – беднее, отказались идти «Христа славить», как выразилась Лидия, предпочитая остаться дома и отдохнуть. Муртуз-ага посоветовал им вечером выйти в сардарский сад, где, по его словам, бывает по вечерам очень хорошо.

Они так и сделали. Когда солнце начало склоняться

к закату, Лидия и Ольга незаметно вышли в сад и пошли по крайней густой аллее, мимо высокого каменного забора. Вечер был прекрасный. Слегка прохладный ветерок колебал чистый, прозрачный воздух, насыщенный ароматом цветов и фруктовых деревьев. Тишина была мертвая; неугомонное пернатое царство, утомившееся дневной суетой, давно уже дремало среди ветвей. Только изредка тревожно зачиликает в густой чаще испуганная чем-нибудь неведомая пичужка или завозятся драчливые, беспокойные воробьи, но тотчас же и утихнут, и лишь легкий шелест листьев да унылый, неизвестно откуда доносящийся крик филина – нарушают глубокую, чарующую тишину...

Ночь наступила, как всегда на юге, сразу, без сумерек. Солнце закатилось; на его место на темно-синее, недосыгаемое, прозрачное небо всплыла яркая луна и озарила таинственно-матовым светом вершины деревьев, прогалины и полянки. Водоем посреди сада заблестел, как серебро, а в струях фонтана засверкали мириады голубоватых огоньков. Фантастические тени легли вдоль дорожек, поползли по стенам, пересекая одна другую, свиваясь и сплетаясь в причудливые, гигантские узоры. Цветы, издававшие раньше тонкий, ароматический запах, теперь благоухали со всей своей сладострастной мощью; они, казалось, ожили, за-

шептались между собой, открыли ведра своих чашечек, из которых нежными, невиданными струйками полился в природу неотразимый опьяняющий яд.

...E man maladetta
Per vovoi, o fiori,
Dall' olezzo sottile,
Vi faccia tufti aprire,
La miai Topra d'averuo sia compita.
Fruite di tendare
S'il cordi Marghereta

Сколько глубокого понимания тайны природы и человеческой души, в их постоянном взаимодействии, таится в этих дивных строках.

Нагулявшись до усталости по тенистым аллеям уснувшего сада, Лидия и Ольга сели на ступеньку дворцовой террасы и обе задумались. Им было как-то особенно хорошо, спокойно на душе и в то же время грустно. Рой неясных воспоминаний, туманных образов, обрывки мыслей, целый хаос ощущений всецело овладел ими, убаюкивая и вместе с тем слегка раздражая; время утратило свое значение: прошлое, настоящее, будущее слилось в одно представление чего-то неясного, чего-то когда-то пережитого.

– Ольга, – прошептала Лидия, мечтательно склоняя свою головку на руку, – мне кажется, будто бы мы с то-

бой когда-то уже переживали эту самую ночь в такой же самой обстановке; такая же светлая, яркая луна, такой же сад, такие же восточные оригинальные здания... Словом – все то же, все до мельчайших подробностей. Даже аромат такой же, сладостно-раздражающий, смесь разных неопределенных запахов...

– Можешь себе представить – и я ощущаю нечто подобное. Глубоко-глубоко, где-то там в тайниках моей души, вопреки здравому смыслу, таится твердое убеждение в том, будто бы я когда-то все это видела, пережила, перечувствовала. Как и чем объяснить это странное ощущение?

– Не знаю... Я где-то читала об этом, но теперь положительно не помню!

Обе замолчали и долго сидели, озаряемые серебристым светом луны, убаюкиваемые дыханием теплой южной ночи.

– Ну, однако, и спать пора! – сказала Ольга. – Пойдем, Лидия. Я думаю, уже поздно!

– Иди... – с оттенком легкого недовольствия на то, что сестра своими словами нарушила ее созерцательный покой, ответила Лидия. – Мне спать еще не хочется и я посижу еще немного!

– Как хочешь, а я иду спать! – сладко зевнула Ольга и, поцеловав Лидию в лоб, ленивым шагом направилась в дом.

XXXI. В Сардарском саду

Оставшись одна, Лидия поднялась со ступеней террасы и медленным шагом пошла по крайней, погруженной в тень аллеи, огибавшей весь сад.

Отойдя довольно далеко от дома, она вдруг услышала за стеной легкий шорох, – и одновременно с этим чья-то темная фигура проворно и мягко перескочила невысокую в этом месте ограду.

Лидия испуганно отшатнулась в тень кустов и замерла с тревожно бьющимся сердцем.

– Простите, пожалуйста, – раздался подле нее тихий знакомый голос, – я вас, кажется, испугал?

– Ах, это вы, Муртуз-ага, – обрадовалась девушка, – а я уже думала, не разбойник ли.

– Ну, разбойник сюда не посмеет пробраться; кругом дворца стража, и всякий, кто бы вздумал прошмыгнуть через ограду, был бы немедленно убит.

– А вот вы же перелезли и живы... – усмехнулась Лидия.

– Я – дело другое. Мой дом рядом с дворцом, я перескочил сюда из своего сада; за этим забором ведь моя земля.

– Ах, вот что! – произнесла девушка и замолкла. С минуту оба хранили молчание.

– Страшная ваша страна! – заговорила Лидия, как бы продолжая вслух прерванные мысли. – На каждом шагу убийства, жизнь человеческая ничто, в каждом встречном можно предполагать убийцу. Я просто не понимаю, как можно жить в такой стране!

При последних словах молодой девушки неуловимая скорбная тень пробежала по лицу Муртуз-аги.

– Вы нас не любите... – уныло произнес он.

– Кого – нас? – прищурилась Лидия.

– Персиян.

– А вы персиянин? Полноте, Муртуз-ага, для чего мы будем морочить друг друга? Ведь вы же сами сознались мне, что вы не персиянин.

– А разве для вас не все равно, кто я такой? – горько усмехнулся Муртуз.

– Если хотите знать правду, не все равно! – горячо заговорила Лидия. – Узнав вас ближе, я убедилась, что вы человек не вполне обыкновенный, в вас есть нечто, возбуждающее симпатию. Вместе с тем я вполне ясно вижу, как вы глубоко несчастны. Не спорьте, вы несчастны и несчастны давно, наверно с того самого дня, как вы покинули вашу родину, по которой вы тоскуете, хотя тщательно скрываете это. Я не знаю причин, заставивших вас бежать в эту дикую страну, но мне почему-то кажется, что как бы эти причины ни были серьезны, они исключают для вас возможности

вернуться к прежней жизни. Нет ли тут какого-нибудь рокового недоразумения, неосновательных опасений, которые могли бы рассеяться под влиянием дружеского участия... Из этого видите, что вопрос идет не о простом любопытстве.

– От всего сердца благодарю вас!.. – взволнованным голосом ответил Муртуз-ага. – Не умею сказать, как ценю я ваше участие ко мне... Да, вы правы, я глубоко, глубоко несчастен с того самого дня, когда очутился в роли безродного бродяги. Персия приютила меня, дала мне некоторое положение, дала богатство, но счастья не могла дать. Двадцать лет я не имел ни одной счастливой минуты и только сегодня, услышав от вас слово участия, почувствовал, что невыразимо счастлив... первый раз в двадцать лет!.. К сожалению, вы ошибаетесь, предполагая, будто в моей судьбе играют роль какие-нибудь неосновательные опасения. На мое горе – я не заблуждаюсь, говоря о невозможности для меня вернуться на родину... Если бы мне угрожала только смерть, я бы, пожалуй, не испугался; бывают минуты, когда мне жизнь в тягость, и я охотно бы рискнул ею в надежде на удачный исход, но мне грозит нечто хуже смерти. Долгие годы заточения в далекой, ужасной стране, где солнце почти не светит, где ночь тянется убийственно долго, где три четверти года лежит глубокий, холодный снег, во-

ют вьюги и волки, и в этой страшной, особенно для меня – южанина, стране я принужден буду влачить свое существование, окруженный ворами, убийцами, преступниками, под постоянным опасением подвергнуться побоям от руки озлобленных, беспощадных зрителей, под угрозой занесенной над головою плети!..

Он закрыл глаза руками, и по всему его телу пробежала нервная дрожь.

– Но кто же вы такой, наконец? – с ужасом шепотом произнесла Лидия, в волнении наклоняясь к самому лицу Муртуз-аги. – Если, по вашему мнению, вам угрожает неминуемая каторга, то какое ужасное преступление совершено вами?

– Я – убийца... Я убил, зарезал своего доброжелателя, своего лучшего друга и вместе с тем начальника... Умоляю, не спрашивайте больше! Я не могу, не могу ничего больше сказать... Прощайте!

Сказав это, Муртуз-ага торопливо направился к забору и с ловкостью кошки перепрыгнул его, исчез из глаз пораженной девушки.

XXXII. Тревоги

– Лидия, что с тобой? – с тревогой в голосе спрашивала Ольга Оскаровна сестру месяц спустя после их поездки в Суджу. – Тебя узнать нельзя, ты стала какая-то странная, задумчивая, нервная, раздражительная. Здорова ли ты, мой друг? Или тебе очень скучно у нас. Но ведь первое время тебе здесь нравилось.

– Ах, почему я знаю, – нетерпеливо тряхнула головой Лидия, – что со мной, вернее, что ничего; я здорова, а что у меня на душе – я сама не понимаю. Прошу только об одном – не обращать никакого внимания!

– Легко сказать, не обращать внимания, когда ты так страшно изменилась. Похудела, побледнела, можно подумать, что ты влюблена... Впрочем, Аркадий Владимирович не на шутку убежден в этом...

– В чем в этом? – резким тоном спросила Лидия. – В чем убежден Аркадий Владимирович?

– В том, что ты влюблена!

– Не в него ли?

– То-то и беда, что не в него, а в Муртуз-агу! Лидия стремительно вскочила со стула, на котором сидела. Лицо ее вспыхнуло.

– Ваш Аркадий Владимирович дурак! – гневно сверкнув глазами, крикнула она и даже ногой притоп-

нула от негодования. – Передайте ему, чтобы он больше не смел мне на глаза показываться, довольно нагяделась я на его пошлую физиономию, больше не желаю! Так и передайте!

– Лидия, опомнись, что с тобой? – всплеснула руками Ольга. – Ты сумасшедшая, право сумасшедшая. За что ты так на бедного Аркадия Владимировича? Он любит тебя, на него смотреть жалко, весь он истрадался; чем он виноват перед тобою? Вспомни, как вначале ты хорошо относилась к нему, а теперь такая резкая и, главное дело, незаслуженная переменна... Знаешь, воля твоя, я сестра тебе, люблю тебя, но я всецело осуждаю твое поведение, оно положительно недостойно умной, сердечной девушки, какой я тебя считала до сих пор... Спроси Осипа Петровича, и он тебе скажет как ты. виновата перед Воиновым!

– Ну и пусть! – упрямо произнесла Лидия, отворачиваясь к окну, и сквозь зубы добавила: – Вот еще адвокаты выискались!

Ольга Оскаровна посмотрела на сестру и пожала плечами.

– Знаешь, пожалуй, теперь и я готова признать, что ты действительно равнодушна к Муртузу, но в таком случае, в таком случае... – Она затруднилась подыскать подходящее выражение.

– Что в таком случае? – быстро обернулась Лидия

и, скрестив на груди руки, пристальным взглядом поглядела в лицо сестры.

– В таком случае, это даже не безумие, а какая-то психопатия, извращенность чувств, безнравственность, если хочешь знать! – в крайнем раздражении закричала Ольга Оскаровна. – Кто такой Муртуз-ага? Ну, сама подумай, что это за личность. Татарин, мусульманин...впрочем, даже и не татарин, а может быть, беглый арестант, вор, убийца или фальшивый монетчик. Кто его знает, откуда он родом и какое у него прошлое!

– Почему же непременно вор и фальшивый монетчик? – совершенно спокойным тоном спросила Лидия, не спуская пристального взгляда со взволнованного лица Ольги.

– Да ведь не из-за добродетелей он бежал из России, принял мусульманство и поселился в Судже?

– А тебе наверно известно, что Муртуз-ага из России?

– Положим, не наверно; верного о нем никто ничего не знает, но так говорят!

– Мало ли что говорят, а я слышала, будто бы он из Турции!

– Может быть, и из Турции, почем я знаю, во всяком случае личность темная; неизвестно даже, какой он народности: армянин, турок, грек, грузин, жид! Никто

ничего не знает. Вернее всего армянин.

– Нет, не армянин!

– А ты почему знаешь?

– Знаю!

– Гм... Странно, однако и на русского не похож.

– Он не русский!

– Ты и это знаешь?

– Знаю!

– От кого же ты это знаешь?

– От него самого!

– Выходит, что ты с ним в большом приятельстве, раз он с тобой откровенничает! – поморщилась Ольга. – Ну, Лидия, смотри – берегись, такая дружба до добра не доведет!

– Не понимаю, чего ты так волнуешься? – пожала плечами молодая девушка. – Ведь если на то пошло, вы все с ним знакомы – и ты, и твой муж, и сам Воинов. Он бывал у вас в доме, вы с ним любезничали и на охоте, и здесь, и в Судже, находили его интересным, интеллигентным, оригинальным, не гнушались его обществом и вдруг, откуда ни возьмись, такая щепетильность и подозрительность! Теперь он у вас и фальшивый монетчик, и вор, и арестант, и все что хотите!

– Ах, Лидия, ничего-то ты не понимаешь! – сокрушенно вздохнула Ольга. – В этой полудикой стране, окруженные Бог знает кем, мы иногда поневоле снис-

ходительно смотрим на завязывающиеся у нас знакомства, но эти знакомства, в сущности, ни к чему не обязывают. В свой интимный кружок и в свою интимную жизнь мы никого из этих татар и армян, коммиссионеров, подрядчиков, торговых агентов, купцов и т. п. господ не допускаем. Сегодня какой-нибудь Аслам-бек у нас в гостях чай пьет, а завтра он может попасться с контрабандой, и Осип Петрович с легким сердцем прикажет его бесцеремонно обыскать с ног до головы и затем под конвоем отправить в полицию для привлечения к ответственности и взыскания с него штрафа. Кстати, ты знаешь – Воинов уже собрал точные сведения; оказывается, Муртуз-ага в прошлом и запрошлом году переправлялся тайно на нашу сторону. Спрашивается, для чего он это делал? Если у него были дела на русской стороне, то по делу он всегда мог беспрепятственно переправляться днем на пароме, открыто, через таможеню, между тем он предпочитает переезжать границу по ночам, в неуказанных местах, тайно. Из этого можно заключить, что он занимается или контрабандой, или другим каким предосудительным делом. Воинов убежден в том, будто бы он и теперь продолжает делать то же, и решил проследить его в надежде поймать на месте преступления.

– Что же, пускай! – презрительно пожала плечами

Лидия. – Но только мне сдается, не такому губошлепу, как ваш Воинов, изловить Муртуза, если он и действительно захочет ездить на нашу сторону!

– Давно ли ты Аркадия Владимировича считала героем, а теперь он у тебя уже губошлеп?! Скоро же! – укоризненно покачала головой Ольга.

Лидия ничего не отвечала, но в душу к ней закрапилось беспокойство и сомнение.

«Не может быть, чтобы Муртуз-ага занимался контрабандным промыслом, – размышляла она про себя, – это так мало похоже на него! Но в таком случае зачем он ездил в Россию тайно через границу?.. Не ездит ли он и теперь? Хорошо было бы повидать его и предупредить!

Так думала молодая девушка, теряясь в догадках и сомнениях.

Наступила зима. Малоснежная южная зима, с морозными ветренными ночами, с теплыми, яркими, солнечными днями, когда в полночь мороз достигает иногда пятнадцати и более градусов, а в полдень градусник показывает два-три градуса тепла. Снег лежит только на полях, где никто не ходит, да и то таким тонким слоем, что пасущиеся всю зиму на вольном воздухе овцы легко разгребают его своими копытцами в поисках прошлогодней засохшей травы. На дорогах же и караванных тропах снега нет и в помине.

В один из таких погожих дней Лидия, одетая в легкую шубку и боярскую шапочку, особенно шедшую к ее красивому, раздумяившемуся на легком морозе личику, вышла на берег Аракса к парому. Благодаря зимнему времени движение «пассажиров» значительно уменьшилось, но товары шли по-прежнему безостановочно. Лидия особенно любила следить за проходящими караванами верблюдов. Спесиво подняв голову, с отвислой нижней губой и черными, как агат, блестящими, огромными глазами, тяжело колыхаясь всем своим уродливым туловищем, медленно и величаво выступают огромные дромадеры, уныло погромыхая колоколами. Татары очень любят украшать своих верблюдов, вследствие чего сбруя их, если и не изящна, то в достаточной мере пестра и оригинальна. На морды надеваются недоуздки из широкой тесьмы, с нашитыми на ней раковинами, цветными камешками, крупными стеклянными бусами белого и голубого цвета. Недоуздки украшены кистями, бахромой, лентами и высоким султанчиком. На спину, круп и бока верблюдов набрасываются, поверх войлочных попон, пестрые, узорчатые ковры и полосатые паласы, концы которых спускаются почти до земли.

Глядя надвигающиеся мимо нее бесконечные караваны, прислушиваясь к стону колоколов, Лидия невольно припоминала изученное ею еще в дет-

стве чудное стихотворение Лермонтова «Три пальмы» и должна была сознаться, что лучшей картины идущего каравана, чем та, какую нарисовал великий поэт, нельзя придумать. Только, к сожалению, около этих караванов не гарцевал воспетый поэтом араб на прекрасном вороном коне. Вместо него лениво брели почернелые от грязи полудикие, звероподобные черводары, в безобразных косматых папах и жалком рубище, и тащился караван-баши, не имеющий ничего общего с гордым наездником аравийской пустыни. Это был, обыкновенно, толстый, пузатый татарин или армянин в засаленной черкеске, верхом на смиренном катере или добронравной, истощенной за долгий путь клячонке. Он медленно, плелся сзади своего каравана, покуривая из длинной трубочки отвратительный турецкий табак, и с бессмысленным выражением в лице флегматично поплевывал по сторонам. <...>

XXXIII. Смертельная опасность

Подойдя к реке, Лидия остановилась на крутом берегу и рассеянным взглядом стала смотреть на глухо грохочущие темно-свинцовые волны. Ей нравилась эта буйная, непокорная река, усеянная торчащими из воды острыми камнями, о холодную грудь которых в бессильной ярости целые столетия разбивается клочущая пена волн.

В это время к противоположному берегу подъехало трое всадников. Лидия сначала не обратила на них внимания, но когда паром уже был на середине реки, она, случайно взглянув в его сторону, не без волнения узнала в стоящем впереди всех Муртуз-агу. Он сидел на рослом рыжем жеребце, который, очевидно, испуганный ревом реки, нервно топтался на месте, нетерпеливо тряс головой, прижимал уши и выказывал стремление соскочить с гудящего и гремящего под его ногами парома. По мере приближения парома к берегу росло нетерпение горячего коня, и когда паром наконец причалил и татары-паромщики кинулись настилать сходни, натерпевшаяся страху лошадь неожиданно взбесилась. Не слушая повода, она взвилась на дыбы, присела на задние ноги и бешеным скачком рванулась на берег. Лидия видела, как

в воздухе промелькнула темная масса коня, и вслед за тем раздался всплеск воды от тяжело упавшего тела, Она вскрикнула и подбежала к обрыву. Внизу под берегом, тщетно стараясь вскарабкаться на его почти отвесную крутизну, билась лошадь Муртуз-аги, но самого его не было видно. Лидия бросила растерянный взгляд на паром и увидела, как сопровождавшие Муртуз-агу курды проворно сбрасывали с себя оружие и лишнюю одежду. Еще мгновение – и оба они уже были в реке; нырнув раза два, они появились снова на поверхности воды, но уже гораздо ниже парома и быстро поплыли к берегу. Рассекая воду правой рукой, левой они волочили за собой что-то длинное, темное, бесформенное. Находившиеся на берегу татары и таможенные солдаты – кто с веревкой, кто с шестом-устремились им на помощь. Лидия тоже бросилась туда. Когда она приблизилась, курды были уже на берегу; они стояли с посиневшими лицами, дрожа всем телом, но такие же смелые и спокойные, как всегда. На земле, раскинув руки, с запрокинутой головой, лежал Муртуз-ага, бледный и неподвижный, с закрытыми глазами и крепко стиснутыми зубами. Поперек высокого белого лба шла глубокая рана, из которой обильно текла кровь.

– Что же вы стали? – громким, начальническим тоном закричал Сударчиков на столпившихся татар. –

Бери, неси скорей, хоть в казарму, что ли, а ты, Иванов, – обратился он к своему помощнику, – живо беги за фельдшером, пусть поспешает!

Привыкшие к беспрекословному повиновению татары подхватили Муртуз-агу и бегом потащили его в находящуюся недалеко от берега казарму.

Когда его унесли, курды, несмотря на образовавшуюся на них от намокшей одежды ледяную кору, поспешили на выручку коня Муртуз-аги, но умное животное уже само позаботилось о своем спасении. Убедившись, что в том месте, где он пытался вскарабкаться, берег слишком крут, жеребец поплыл вниз по течению к видневшейся вдали отмели; через минуту он уже отряхивался на берегу, до мозга костей прозябший от столь неожиданной, хотя и по своей вине полученной ледяной ванны.

Перепуганная насмерть случившимся на ее глазах происшествием и не зная, жив ли Муртуз-ага или нет, Лидия хотела было тоже проскользнуть в казарму, но строгий блюститель порядка Сударчиков остановил ее.

– Помилуйте, сударыня, – пробасил он над самым ее ухом, загораживая дверь, – нешто вам, барышне, прилично идти сюда? Здесь солдаты живут, а к тому же мы сейчас раздевать его начинаем, так вам смотреть на это вовсе не пристало!

– А как вы думаете, Сударчиков, он жив? – тревожным голосом спросила Лидия, стараясь через его плечо еще раз взглянуть на Муртуз-агу, которого солдаты, уловив на койку, уже торопливо раздевали.

– Должно, жив! – успокоил ее старик. – Они, татарва эта самая, до страсти живучи, ничего им не делается!

В эту минуту мимо их прошмыгнула тощая сутуловатая фигура служащего при таможене фельдшера Конопатова, в сером потертом пиджаке и в гражданской с бархатным околышком фуражке.

Сознавая, что ей действительно не место вертеться около казармы таможенных досмотрщиков и в то же время чрезвычайно беспокоясь за судьбу Муртуза, Лидия решила бежать скорее домой и попросить Осипа Петровича, чтобы он сходил и узнал обо всем подробно и обстоятельно. Она так и сделала.

– Ну что, как, что с ним, есть какая-нибудь опасность? – такими вопросами встретили обе сестры вернувшегося из казармы Рожновского.

Тот пожал плечами.

– Бог его знает! Конопатов уверяет, будто бы это все пустяки, и через неделю Муртуз-ага будет здоров, но насколько такой диагноз верен – трудно сказать. Я, по крайней мере, нахожу его рану опасной. Очевидно, падая с конем в воду, он ударился или о торчащий камень, или о седло; от сильного удара лишился созна-

ния и наверно бы пошел ко дну, если бы не его курды. Вот, молодцы-то, отважный народ, не побоялись ни течения, ни холода! С такими телохранителями не пропадешь.

– А теперь он как, пришел в сознание?

– Пришел, его даже унесли из казармы.

– Куда?

– К нашему комиссионеру Али-беку, который предложил Муртуз-аге поселиться у него, пока он не выздоровеет. Там ему будет прекрасно.

В тот же день вечером за чаем Осип Петрович, обращаясь к Лидии, смеясь, воскликнул:

– А ведь недаром французы говорят, что во всяком происшествии надо искать женщину. Вот и в сегодняшней истории с Муртуз-агой виновницей является прелестная дочь Евы и притом не кто иная, как вы, глубокоуважаемая Лидия Оскаровна.

– Я, каким это образом? – удивилась девушка.

– Самым простым. Вы стояли на берегу в ту минуту, когда паром подходил к пристани. Муртуз-ага загляделся на вас и на мгновение забыл о своей лошади, которая и выкинула ему курбет, едва-едва не отправивший его к праотцам.

– Почему вы знаете о том, будто бы Муртуз-ага на меня загляделся? Все вы сочиняете! – с легким неудовольствием произнесла девушка.

– Почему? Ах, мой Создатель, да от самого Муртуз-аги, рассказавшего мне об этом. Я недавно заходил навестить его и между прочим спросил, как мог случиться такой казус с ним, прославленным наездником. Он улыбнулся и отвечал: «Это моя вина; я увидел вашу родственницу, барышню Лидию, и после этого мои глаза не могли смотреть ни на что, как только на нее. Я забыл, где я, забыл о своей лошади, которая, как только мы въехали на паром, принялась беситься от страха, так как в первый раз в жизни переезжает реку...

– Ну, хорошо, хорошо, – поспешила прервать Рожновского Лидия, – скажите лучше, как его здоровье?

– Ничего особенного. Али-бек пригласил татарского хакима; тот сидит подле Муртуза, поит его крепким чаем с коньяком, а на голову кладет холодные ароматические примочки. Я предложил было послать в Нацвалы за доктором, но все трое об этом не хотят и слышать, находя своего хакима более сведущим и опытным.

– Я завтра навещу его! – решительно произнесла Лидия.

Осип Петрович комическим жестом почесал себе затылок.

– Отто буде нашим шах-абадцам ще брехаты, ма-будь на цилый рок хватать!

– Что ж тут предосудительного, если я пойду навестить больного?

– Оно у вас там, в Москве, може даже и дуже добре, а тилько здесь, в Шах-абаде, люди добрые злякаются. Дивчина молодесенька, гарнесенька пидеть в хату к бусурманину дывыться, як вин у в постели лыжыть расхристаний. Добрая штука, то вже и я кажу, добрая штука!

– Конечно же, Лидия, – вмешалась Ольга, – разве это возможно! Будь еще он человек свой, сослуживец, ну тогда куда ни шло, все вместе пошли бы навестить больного, но идти к малознакомому татарину, лежащему в постели, в доме другого татарина – это, прости меня, безумие. Довольно того, что Осип Петрович будет каждый день навещать его и рассказывать нам обо всем.

– Вот уже не думала, – капризно надула губки Лидия, – чтобы в каком-нибудь Шах-абаде, на краю света, так строго соблюдались законы светского приличия!

Однако на сей раз она решила послушаться совета сестры и зятя и отказалась от задуманного ею посещения Муртуз-аги, тем более что Рожновский заверил их обоих, будто бы не пройдет и двух-трех дней, как он выздоровеет настолько, что будет в состоянии сам прийти к ним.

XXXIV. Ночь над пропастью

Осип Петрович не ошибся – на третий день к вечеру, как раз к тому времени, когда у Рожновских подавался вечером чай, пришел в сопровождении самого Рожновского Муртуз-ага. Он был бледен и, хотя держался бодро, но, очевидно, чувствовал себя еще очень слабым. Голова его была повязана персидским шелковым платком с расшитыми концами, красиво падавшими на плечи и придававшими его лицу какое-то особенное, странное выражение. Одет он был в белую шерстяную аббу, чрезвычайно шедшую к его прямому стройному стану и всей худощавой фигуре.

«Какой он сегодня интересный», – невольно подумали Ольга Оскаровна и Лидия, весело здороваясь с Муртузом.

– Я пришел, – заговорил он, опускаясь на предложенный ему стул, – чтобы поблагодарить вас за ваше участие. Осип Петрович был так добр, навещал меня каждый день и говорил, что вы интересовались моим здоровьем, – от всего сердца приношу вам мою признательность! – Он приложил руку к сердцу и низко наклонил голову, затем продолжал, обращаясь к Лидии: – А перед вами я чувствую себя страшно виновата-

тым, я, говорят, очень испугал вас!

– Если верить Осипу Петровичу, то во всем этом происшествии виновницей являюсь я, – засмеялась Лидия, – а потому не вам у меня, а мне у вас надо просить прощения!

Муртуз-ага с недоумением посмотрел на Лидию, потом на Осипа Петровича, но, уловив коварную усмешку на его лице, догадался и в свою очередь улыбнулся.

– Я знал одного старого хана, – сказал он, по восточному обычаю прибегая к притче, – который любил глядеть на солнце и через то ослеп. Кто-то из друзей дома стал при нем обвинять за это солнце, но хан улыбнулся и сказал: «Ты не прав, мой друг, не солнце виновато в моей слепоте, виноват я, что осмелился глядеть своими слабыми глазами на яркое светило!»

– Ай да Муртуз-ага, – засмеялся Осип Петрович, – да вы настоящий поэт; не ожидал от вас!

– Вы умеете льстить, как настоящий перс! – делая ударение на последних словах, сказала Лидия. – Мне, признаться, эта черта не особенно по сердцу. Скажите лучше, как чувствуют себя после такой холодной ванны ваши курды?

– О, им это нипочем, – рассмеялся Муртуз. – Я знаю один случай, когда один курд, спасаясь от турецких солдат, раненый, не шевелясь, просидел зимой более

часу в воде по самое горло и затем еще принужден был пройти несколько верст до своего селения. Курд этот до сих пор жив и прекрасно себя чувствует!

– Вот-то лошадиное здоровье! – изумился Осип Петрович.

– Ну, нет, у лошади здоровье далеко не такое крепкое, – ведь мой жеребец пропал!

– Как пропал? – изумилась Лидия, большая любительница лошадей. – Такой чудный конь!

– Дураки мои люди, – с досадой махнул рукой Муртуз-ага, – им надо было, как только лошадь вылезла из воды, сесть на нее и хорошенько прогнать вскачь, до сильной пены, и только после этого поставить в конюшню где-нибудь в угол, подальше от дверей, – а они прямо отвели коня в караван-сарай и поставили на сквозном ветру. Он, конечно, в тот же день заболел, а сегодня утром издох!

– Ах, какая жалость! – воскликнула Лидия. – Я хотя и не успела хорошенько рассмотреть его, но мне он очень понравился; такая масть оригинальная, точно кофе со сливками!

– Конь хороший, – вздохнул Муртуз-ага, – это была лучшая моя лошадь. Я, зная, какая вы любительница, нарочно приехал на ней, чтобы показать вам её.

– *Cherchez la femme* {Шерше ля фам – ищите женщину (фр.)}, – захохотал Рожновский.

– Господи! – с комическим ужасом воскликнула Лидия. – Стало быть, и в гибели вашей лошади я тоже виновата!

Все весело рассмеялись.

Вечер прошел очень оживленно. Муртуз-ага рассказал несколько случаев из своей жизни, где ему так или иначе угрожала гибель. Так, однажды проезжая ночью в горах, конь его сорвался в пропасть, сам же он, непонятным для него образом, как-то успел соскочить и хотя тоже покатился вниз, но на пути зацепился за кусты горной розы.

– Была теплая, безлунная ночь, – рассказывал Муртуз, – я лежал на спине, стиснутый густым кустарником, боясь шевельнуться, чтобы неосторожным движением не поломать поддерживающих меня ветвей, которые и без того предательскигнулись под тяжестью моего тела. Прямо предо мной возвышалась крутая, почти отвесная стена, по которой я катился. В темноте я не мог ничего разглядеть, мне не видны были даже края обрыва, я только чувствовал, что внизу подо мной бездонная пропасть, усеянная острыми камнями, о которые я неминуемо должен буду разбиться, если мой куст не выдержит и обломится. Всего ужаснее было то, что за темнотой я не мог предпринять ничего для моего спасения и принужден был терпеливо ожидать рассвета. Никогда время не тяну-

лось для меня так медленно, как в ту ужасную ночь, и немудрено: с каждой следующей минутой я мог ожидать полететь вниз... Много передумал я за эти три-четыре часа, проведенных мной в моей воздушной качалке! Наконец, небо начало слегка светлеть, поредели ночные тени и из мрака выступили скрытые до толе очертания гор. Я увидел себя лежащим среди кустарника на небольшом выступе, подо мной зияла глубокая пропасть, еще погруженная в ночную тьму, надо мной высилась почти отвесная каменистая скала, по стенам которой уже скользили первые робкие солнечные лучи. Осмотревшись настолько, насколько позволяло мне мое положение, я принялся усиленно раздумывать о своем спасении. Вдруг я услышал где-то близко-близко над головой пронзительный крик, и в лицо мне пахнуло холодом, точно от большого опала; в то же время я увидел огромную тень двух распластанных крыльев: это гигантских размеров орел, чуя во мне скорую добычу, кружил над моей головой, растопырив острые длинные кривые когти и полураскрыв жадный крючковатый клюв... Появление этого орла повергло меня в окончательный ужас; я затрепетал всем телом, сделал отчаянное усилие и, ухватившись руками за торчащий над моей головой камень, как змея, пополз вверх. Не знаю, долго ли я полз таким образом, помню только, как руки и ноги мои скользи-

ли, как камни то и дело обрывались подо мной и с глухим шумом катились вниз, ежеминутно угрожая в своем падении увлечь и меня. Наконец, после нечеловеческих усилий мне удалось выкарабкаться на Божий свет. Очутившись вне опасности, я упал на тропинку и, несмотря на то, что руки мои и ноги были изранены и из них текла кровь, тут же заснул. крепким, мертвым сном; впрочем, это был не сон, а скорее бессознательное состояние, в котором я пробыл несколько часов, почти до вечера, пока меня не разыскали мои верные курды.

– Воображаю, что вы передумали, лежа в кустах над пропастью! – сказала Лидия. – Наверно, вся ваша жизнь прошла перед вами!

– Я тогда думал, что наступил час казни за мое преступление, – невольно вырвалось у Муртуза, но он спохватился и добавил, – за все мои грехи!

Через неделю Муртуз-ага настолько поправился, что мог уехать домой. За все время своей болезни он каждый вечер являлся к Рожновским и просиживал у них до поздней ночи.

В одно из таких посещений он почти весь вечер пробыл с глазу на глаз с Лидией. Рожновский был занят в таможне, а к Ольге Оскаровне пришла жена одного чиновника по какому-то секретному делу, о котором они долго толковали, запершись в комнате Ольги.

– Чем больше я узнаю вас, – говорила Лидия вполголоса, сидя в полутемном углу гостиной на мягкой, покрытой персидским ковром тахте и обращаясь к Муртузу, поместившемуся у ее ног на низком табурете, – тем более убеждаюсь в опрометчивости избранного вами шага. Я не знаю, какое преступление совершили вы в России, но внутренний голос подсказывает мне, что вы напрасно живете в Персии. Было бы гораздо лучше, если бы вы постарались тем или иным путем устроить свою жизнь в России, может быть, вам удалось бы выхлопотать себе прощение или смягчение своей участи!

– Вы не знаете всех подробностей и потому говорите так, – вздохнул Муртуз-ага, – вы думаете, я сам не стремлюсь в Россию? О, чего бы я не дал, чтобы иметь возможность снова увидеть свою родину! Вы знаете, – и голос его задрожал, – ах, я даже выговорить этого не могу, это выше моих сил! Вы знаете... ведь моя мать еще жива... Понимаете ли вы весь ужас этого положения... жива, и я не смею известить ее о себе... Первое время после того, как я бежал из России, я не мог уведомить своих родных о том, что я жив и где нахожусь, из боязни, чтобы начальство не узнало и не потребовало моей выдачи; когда же прошло несколько лет, я понял, насколько будет жестоко с моей стороны встревожить мать неожиданным извести-

ем о своем существовании; ни я к ней, ни она ко мне приехать бы не могли, это бы ее угнетало и делало вдвое несчастнее... Она считала меня мертвым, Давно оплакала мою смерть, сжилась с этой мыслью, и вдруг я воскрес бы, чтобы снова умереть... Ну, скажите, разве я не прав?

Вместо ответа Лидия кивнула головой; она не могла говорить от подступивших к ее глазам слез, которые она всеми силами старалась скрыть. Между тем Муртуз-ага продолжал:

– Несколько лет тому назад я чуть было не поехал в Россию, но благоразумие взяло верх, и я остался... Вы, может быть, думаете: «Вот трус-то, дрожит за свою шкуру». Ах нет, я не трус, тысячу раз не трус, смерть меня не страшит... Вы ведь помните, я вам говорил, чего я боюсь...

– Но, может быть, вам вовсе не угрожает то, о чем вы думаете. Вы ведь законов не знаете; наконец, за это время могли произойти большие изменения во взглядах судейской власти... Словом, я хочу сказать, нет ли во всем этом с вашей стороны преувеличений, излишнего страха... Вы ни с кем ведь не говорили, не советовались, а сам человек не судья в своем деле, он или преувеличивает опасность, или уменьшает ее!

– Нет, я не преувеличиваю! – тяжело вздохнул Муртуз и замолк.

Несколько минут они сидели молча. Лидия глядела на красивый, энергичный профиль Муртуза, и вдруг ей неудержимо захотелось сделать что-нибудь такое, благодаря чему этот несчастный человек мог бы возродиться к новой, лучшей жизни, приобрел бы вновь свой прежний облик, свою родину, своих, близких ему людей. Она затрепетала даже вся при этой мысли и волнуясь, прерывающимся голосом воскликнула:

– Муртуз-ага, прошу вас, не из любопытства, а из искренней симпатии, которую я питаю к вам, откройте мне вашу душу, расскажите мне все подробно, поверьте, я не осужу вас, да и какое право имею я судить вас! Я вижу в вас только глубоко несчастного человека...

Муртуз с тоскливым выражением посмотрел вокруг себя и крепко стиснул пальцы рук.

– Ах, если бы вы знали, как мне тяжело, как невыносимо тяжело бередить мою незажившую рану... До сих пор я никому, решительно никому не рассказывал... Вы первая, которой я решаюсь открыть свою душу... я верю вам, но, видите ли, здесь говорить об этом неудобно, каждую минуту могут войти, а я знаю, рассказ меня сильно растревожит, я не в силах буду скрыть своего волнения... все заметят его... начнут расспрашивать... Нет, нет, если вы хотите выслушать

мою исповедь, то дайте мне возможность увидеть вас совсем наедине, в таком месте, чтобы никто не мог помешать нам. Надеюсь, вы не побоитесь довериться моей чести?

– Ни на одну минуту не сомневаюсь в ней, – горячо воскликнула девушка, – но вашей просьбой вы поставили меня в тупик, я решительно не могу себе представить, где бы мы могли встретиться с вами без посторонних свидетелей!

– Если бы вы согласились на мое предложение, – сказал Муртуз, – я знаю одно такое место. Отсюда версты четыре, в горах, там есть глубокая пещера...

– Над родником, – живо перебила его Лидия, – я эту пещеру знаю, я часто ездила туда верхом!

– Та самая! – подтвердил Муртуз. – Ровно через две недели от сегодняшнего дня в полдень приезжайте туда, я буду вас ждать, я нарочно перееду тайно через границу, а не на пароме, чтобы никто не узнал, что я здесь...

– Ах нет, этого-то вот и не делайте! – горячо воскликнула Лидия. – Я должна предупредить вас, Воинов подозревает, будто бы вы иногда переезжаете границу, и поклялся выследить; он на вас зол...

– За что? – изумился Муртуз-ага. – Что я ему сделал дурного?

– Вы ничего! Но видите ли, – тут Лидия слегка за-

мялась. – Воинов думает, будто бы вы причина моего к нему охлаждения, хотя в этом он ошибается, – добавила она поспешно. – Я никогда им не увлекалась, никогда; просто мне было вначале с ним интересно, пока я не разглядела, насколько он груб и ординарен... Ну, да это все не к делу и не имеет значения; важно то, что Воинов решил изловить вас, а потому вам ни под каким видом не следует рисковать, тайно переходить границу!

Муртуз презрительно усмехнулся.

– Вы совсем напрасно беспокоитесь. Я знаю, Воинов лихой офицер и солдаты его лучшие, каких мне только случалось видеть здесь, на границе, но поймать меня им все же никогда не посчастливится. Правда, они ловят иногда контрабанду или с помощью доносчика, или по глупости самих же контрабандистов, но между мной и контрабандистами большая разница. Они люди наживы, сделавшие из нарушения границы ремесло, у них свои тропинки, броды, свои порядки и обычаи, подчас удачно угадываемые солдатами, я же, как вольный орел, выбираю свой путь по личному желанию. Никто, кроме меня, до последней минуты не знает, где и когда я пожелаю перебраться Араке, стало быть, и предупредить о том солдат некому. Наконец, у меня в распоряжении целые сотни удальцов, на помощь которых я всегда могу рассчиты-

вать... Если бы у Воинова было солдат втрое больше, чем у него их есть, и тогда бы он не в состоянии был помешать мне появляться здесь всегда, когда я только захочу! Лидия, слушая Муртуз-агу, невольно залюбовалась его спокойной самоуверенностью.

– Ну, хорошо, делайте, как знаете, – сказал она, – что касается меня, то я обещаю вам быть в назначенном вами месте!

– Благодарю вас! – горячо воскликнул Муртуз и крепко пожал ей руку.

На другой день Муртуз-ага, собираясь уезжать в Суджу, перед самым *отъездом* зашел к Рожновским откланяться им и поблагодарить за их радушное гостеприимство. Лидия вызвалась проводить его до парома.

XXXV. Сударчикова тайна

– Отчего вы переезжаете паром, сидя в седле, а не стоя на ногах и держа лошадь в поводу, как это делают все? – спросила Лидия, идя рядом с Муртузом, – тогда никакого несчастья не может случиться.

– Так, привычка! – пожал тот плечами и, наклонясь совсем к лицу девушки, шепнул ей на ухо: – Итак, вы помните, ровно через две недели, день в день, в полдень?

– А если будет вьюга, сильный мороз? Ведь теперь, слава Богу, не лето, а ноябрь месяц! – улыбнулась девушка.

– Я буду ждать в пещере три дня, авось за три дня выдастся несколько теплых хороших часов. Здесь зима не суровая, только в декабре и в начале января будут несколько морозных дней, а в ноябре ни морозов, ни вьюги не бывает. Впрочем, повторяю – жду вас три дня.

Разговаривая таким образом, они подошли к берегу и остановились, глядя, как курды осторожно вводили лошадей на паром по прыгающим доскам настилки.

– Вы на каком коне поедете? – спросила Лидия.

– А вон на том, светло-гнедом с белой лысиной на лбу, – а что?

– Так, я загадала. Видите ли, я сама подумала, что этот лысый конь назначен под вас, и решила, если мое предположение оправдается, то судьба ваша изменится к лучшему...

– Моя судьба в ваших руках! – прошептал Муртуз-ага и, ранее чем Лидия успела собраться с ответом, он крепко пожал ее руку и скорым шагом почти взбежал на паром. Цепь лязгнула, и тяжелая, неуклюжая махина медленно поползла от берега, постепенно, по мере приближения к середине реки, ускоряя свой ход.

– До свидания! – крикнул Муртуз-ага с парома.

– До свидания, – ответила ему Лидия с берега.

Все время, пока Лидия с Муртуз-агой находилась на берегу, Сударчиков неодобрительно на них покашивался. Он стоял в нескольких шагах в стороне, по обыкновению следя за приходом и отходом парома; число прибывших пассажиров отмечал карандашом в списках и сердито покрикивал на других солдат. Однако, углубленный в свое служебное дело, он вместе с тем не переставал следить за Лидией и Муртуз-агой. Старику очень не нравилась та, по его мнению, слишком большая любезность, с какой «барышня» обращалась к «гололобому басурманину».

– Ишь, стрекочет, – укоризненно думал он, – дивн бы какой кавалер выискался, – а то азиат, азиат и

есть! И где я эту рожу видел... фу-ты, Господи Боже, вертится в памяти, а не могу вспомнить, хоть зарежь, не могу, а видел?! Ей-Богу, видел и не похожую, а эту самую! Когда он еще в первый раз приезжал, тогда же мне мелькнуло, будто што знакомое, и теперь вот тоже... Дай Бог памяти!..

Старик изо всех сил напрягал свою память, вызывая в ней давно забытые образы, но тщетно.

В это время Муртуз-ага наклонился к самому лицу Лидии и зашептал ей что-то на ухо. Сударчиков, случайно взглянувши на них как раз в эту самую минуту, вдруг вздрогнул всем телом. Точно молния озарила его мозг; он даже ахнул от неожиданности. Привлеченный его возгласом. Муртуз-ага поднял голову и рассеянным взглядом посмотрел на старика. На мгновенье глаза их встретились, и этот мимолетный взгляд, оставшийся для Муртуз-аги без всякого значения, в Сударчикове разом уничтожил все его колебания.

«Это он, без всякого сомнения, он! – думал Сударчиков, не спуская с Муртуза, стоявшего уже на пароме, загоревшегося взгляда. – И как я, старый дурак, не узнавал его так долго! Удивление просто, да и только. Должно старости совсем из ума выжил! Кого-кого, а этого сокола завсегда в уме держал, а вот поди ж ты»... От волнения старик даже за голову взялся и

несколько минут стоял, как ошеломленный. «Что же теперь девать надо, – продолжал размышлять Сударчиков, – не иначе, как объявить следует! Но кому, как? Много ведь с тех пор годочков ушло! Теперь, чего доброго, и не поверят, тем паче, что тогда еще слух прошел, будто бы он помер; тело, вишь, там чье-то нашли и родные признали, словно бы это был он... Оказия... а ен, ишь ты, жив... Ах ты, Господи Боже, как же тут быть?.. Нешто разве Аркадию Владимировичу рассказать, ен господин правильный, разберет все, как следовает... Не иначе как ему, другому некому!

Обуреваемый такими мыслями, старик до того в конце концов расстроился, что решил пока, что лучше уйти домой, чтобы не дать другим заметить охватившего его волнения.

– Иванов! – обратился он сурово к своему помощнику. – Мне что-то того... занездоровилось, я домой пойду. Так ты, знаешь, того... останься-ка тут без меня, да смотри фитанции-то не переври, аккуратнее отмечай. Понял?

– Не извольте беспокоиться, Илья Ильич, все будет в аккурате, – идите себе с Богом. Справлюсь, как следует. Не тревожьте себя занапрасну!

– Знаю я вас, не тревожьте, – все вы ротозеи, того и гляди проморгаете! – не утерпел Сударчиков, чтобы не поворчать, хотя отлично знал, какой исправный че-

ловек был Иванов. – Ну, да ладно, пойду уж, невмоготу мне что-то!.. – добавил он и торопливо зашагал к стоявшей на бугре, в общем ряду таможенных построек, казарме.

Сударчиков был одинок, а потому жил в общей казарме, а не на частной квартире, как прочие вольнонаемные досмотрщики, все поголовно женатые и детские. В казарме, где помещались состоящие на действительной службе таможенные солдаты, у Сударчикова была отдельная небольшая комнатка с особым ходом и даже с небольшим палисадником под окном. Взглянув на убранство и обстановку этой комнаты, всякий тотчас же бы понял, что в ней живет человек аккуратный, любящий порядок и даже некоторый комфорт. Железная кровать с целым ворохом подушек, под шелковым, стеганым на вате, персидским одеялом, помещалась у задней стены; в головах у нее стоял шкаф, за стеклянными дверцами которого виднелась на одной полке чайная и столовая посуда, а на другой – какие-то книги, жестянки, баночки и склянки. Что было на нижних полках, закрытых от любопытного взора деревянной половиной дверей, не было видно. По всей вероятности там лежали вещи, которые и должны были со храниться где-нибудь не на виду. Против шкафа в ногах кровати стоял высокий пузатый комод, покрытый краем скатертью. На комодном

красовалось складное зеркало в черной раме и под-
ле него лежали гребенка, щетка, ножницы и ящичек с
разной мелочью, как-то: нитками, катушками, иголка-
ми и старыми медными и иными пуговицами. У един-
ственного окна, завешенного до половины кисейной
занавеской, стоял стол, застланный узорчатой клеен-
кой, с изображением летающих между ветвями птиц.
На столе помещалась чернильница, банка из-под вак-
сы с наколотой шилом крышкой, служившая вместо
песочницы, лампа под зеленым абажуром, коробка
сургуча, коробка перьев, перочинный ножик, ножниц;
несколько карандашей, из которых один был красного
графита, другой – синего, а прочие – черного, две руч-
ки и наконец, несколько листов бумаги и серых казен-
ного формата конвертов. Перед столом стояло боль-
шое кожаное кресло, с сильно помятым от долгого
употребления сиденьем и спинкой. Три венских сту-
ла были размещены вдоль стен. В углу висел боль-
шой образ. Образ этот сложил украшением всей ком-
наты; он был в киоте и стоял на резной полочке, в
которую была вделана лампада. Над образом было
устроено из красного кумача нечто похожее на шатер,
полы которого, обшитые по краям кружевами, спуска-
лись аршина на два ниже образа. Вопреки излюблен-
ной солдатской привычке украшать стены лубочными
картинами, в комнате Сударчикова их не было ни од-

ной; только над кроватью, поверх прибитого к стенке небольшого персидского коврика, висело несколько фотографических портретов в самодельных рамках. Большинство этих портретов давным-давно выцвели настолько, что едва можно было разглядеть изображенные на них лица, но уже без всякой надежды угадать кто они такие.

На глинобитном полу во всю ширину комнаты были постланы два старых-престарых, местами порванных, не аккуратно заштопанных куртинских паласа. Так как обогревающая соседнюю казарму огромная печь, выходящая одной только своей задней стеной в комнату Сударчикова давала мало тепла его старым костям, то на зиму ставилась еще другая – железная, свойство которой было за пять минут накаляться докрасна, но зато так же и быстро остывать. Чтобы поддерживать в комнате ровную температуру. Сударчикову приходилось топить ее почти весь день исподволь подбрасывая небольшие кусочки кизяка, сообщавшие всему помещению своеобразный, слегка угарный, едковатый запах.

Придя домой, Сударчиков с несвойственной ему в обыкновенное время торопливостью достал из кармана ключи, отпер верхний ящик комода и, порывшись в нем недолго, вытащил старый потертый корешок переплета, перевязанный голубой ленточкой;

развязав ее, он вынул из переплета большой конверт серой бумаги, а из конверта извлек фотографическую группу, с которой и подошел к столу, ближе к свету. Долго смотрел он на нее, то приближая почти к самому носу, то удаляя на расстояние вытянутой руки и, казалось, не мог никак насмотреться.

Фотография, которую так внимательно разглядывал Сударчиков, была не из важных; одна из тех, какие выполняются бродячими фотографами, на плохой бумаге, небрежно наклеенная на картон, с резко расположенными тенями и, к довершению всего, слегка уже выцветшая. Она изображала группу из пяти человек, в непринужденных позах разместившихся на разостланных прямо на траве под деревьями паласах.

На главном месте, опершись обнаженным локтем на ворох персидских подушек, полулежала чрезвычайно красивая, немного полная барыня, с гордым выражением в лице и в слегка прищуренных глазах под тонкими, изящно очерченными бровями. Красивые губы ее были слегка полуоткрыты, придавая тем ее лицу что-то напоминающее вакханку. Одета она была в светлый, легкой материи капот, с открытой шеей и большим вырезом на груди; волосы ее с бесчисленным множеством пышных завитков на лбу были заплетены в толстую длинную косу, небрежно переки-

нутую через плечо на высокую, пышную грудь. У ног красавицы, сложив ноги по-турецки, сидел плечистый пожилой офицер в кителе с капитанскими погонями и пустым стаканом в приподнятой руке. Лицо у него было некрасивое, но очень энергичное; особенно хорош был взгляд больших, в натуре, очевидно, серых глаз, прямой, смелый, открытый. Длинные баки с пробором посредине веером расстилались по груди, придавая лицу капитана еще более мужественное выражение. Рядом с капитаном, привстав на одно колено и делая вид, будто собирается налить ему в стакан из бутылки, которую держал в руке, стоял молодой вольноопределяющийся в черкеске и лихо заломленной на одно ухо тушинке. Лицо его, обращенное в профиль, было замечательно красиво: тонкий с легкой горбинкой нос, изящные губы, высокий открытый лоб и огромные, даже на фотографии, живые и выразительные глаза – все вместе делало из юноши положительного красавца. Он был очень строен, с тонкой, перетянутой в рюмочку талией, с широкими плечами. В натуре он должен был быть еще красивее. Против вольноопределяющегося, рядом с подушками, на которые облокотилась барыня, подобрав под себя ноги, сидел другой офицер, с смеющимся лицом, с фуражкой на затылке и поднятым в правой руке стаканом. Он как бы говорил: «За ваше здоровье, госпо-

да!» Сзади всей этой компании, прислонясь ко стволу дерева, под которым она расположилась, в мундире, сабле и кепке, молодежато сдвинутой на одно ухо, стоял бравый, коренастый фельдфебель, с длинными закрученными вниз усами и богатырской грудью. Лицо его, слегка нахмуренное, выглядело строгим, даже немного сердитым. По всему было видно, что фельдфебель этот был человек не из мягких. Много лет прошло с тех пор, – немного не четверть столетия, – но и самого беглого взгляда было достаточно, чтобы узнать в этом кремне-фельдфебеле сурового ворчуна Сударчикова. Тот же умный нахмуренный лоб, те же пронизательные, упорно глядевшие перед собой глаза, та же, упрямая, жесткая складка губ. Теперь только, помимо усов, старик носил еще и бороду, но и борода мало изменила общее характерное выражение его лица.

Долго, очень долго рассматривал Сударчиков фотографию, сосредоточив все свое внимание на красавце вольноопределяющемся.

– Он, разумеется он, – прошептал, наконец, старик и положил фотографию на стол.

– Что ж мне теперь делать? – снова задал он уже встававший перед ним и раньше вопрос.

Несколько минут простоял Сударчиков в глубокой задумчивости, опустив на грудь седую голову, потом

выпрямился и, повернувшись к образу, три раза исто-
во перекрестился.

– Господи, – прошептали его бледные губы, – не по-
пусти злодею надругаться над правдой, отомсти ему
за кровь и за слезы!

Хотя эта странная молитва по смыслу своему едва
ли согласовалась с духом христианского учения, но
Сударчикова успокоила настолько, что он даже нашел
в себе силы снова отправиться на паром к своим, на
время покинутым, занятиям.

XXXVI. Друзья

С того дня как Аркадий Владимирович последний раз был в Шах-Абаде, прошло с месяц времени. Не видя так долго своего приятеля, Осип Петрович сильно соскучился по нем; всякий раз как в таможду приходил кто-либо из солдат Урюк-Дагского отряда, Рожновский не упускал случая расспросить их об их командире и послать с ними ему поклон.

– Да скажите его благородию, – добавлял он неукоснительно, – управляющий спрашивает, почему, мол, долго не приезжаете в Шах-Абад, очень они по вас соскучились.

Не довольствуясь устными поручениями, Осип Петрович отправлял иногда Воинову небольшие записочки, в которых дружески пенял ему за то, что тот совсем забыл своих шах-абадских соседей. В ответ на такие любезности Аркадий Владимирович в свою очередь посылал Осипу Петровичу нижайшие дружественные поклоны, отговариваясь в то же время недосугом за массой работы и хлопот по отряду, не дающих ему возможности приехать.

Убедясь, наконец, что Аркадий Владимирович умышленно сидит дома, Рожновский в одно из воскресений решил поехать сам к нему.

– Про Магомета рассказывают, – весело говорил Осип Петрович, входя в комнату Воинова, – будто бы однажды он приказал горе приблизиться к нему, но гора его не послушалась; тогда он сам пошел к горе. Вот так и я: приглашал, приглашал вас, вы не едете, пришлось самому приехать. Ну, здравствуйте!

– Ах, это вы, Осип Петрович! – радостно воскликнул Аркадий Владимирович. – Вот сюрприз-то... Спасибо вам, дорогой, что приехали; вы представить себе не можете, как я соскучился здесь один на посту.

– Воображаю. Отчего же вы к нам не приезжали, коли уже так вам скучно было?

– Некогда, дорогой; масса работы... Планы черчу, книги заканчиваю, мало ли еще что...

– Та не брешите, пожалуйста, бо я сам бачу, якая сь такая у вас работа! – перебил его Рожновский. – Скажите лучше – дуетесь вы на Лидию Оскаровну, оттого и не едете.

Воинов слегка вспыхнул, хотел что-то сказать, но вместо того махнул рукой и угрюмо насупясь, зашагал по комнате.

– Эх, Осип Петрович, – заговорил он после некоторого молчания, – разве я дуюсь? Что уж тут... Будем говорить напрямки. Посмотрите на меня хорошенько: скажите – не изменился я? По глазам вашим вижу, что вы замечаете во мне большую перемену... А отчего?

Я думаю, мне и рассказывать не надо, без рассказов понимаете. И за что? Ну скажите – за что? Чем я виноват перед нею, чем заслужил такое отношение?

Последние слова Воинов почти прокричал, стоя перед Рожновским и заглядывая ему в лицо тоскливо-недоумевающим взглядом. Тот ничего не ответил, а только с досадой крякнул и слегка потупился.

Он действительно с первого же взгляда на Аркадия Владимировича нашел в нем большую перемену. Еще недавно такой жизнерадостный, бодрый и веселый, лихой поручик теперь как бы потух, осунулся, побледнел... Глядя на него, можно было предположить в нем серьезную и упорную болезнь. Воинов между тем продолжал:

– Конечно, насильно мил не будешь, я это сам понимаю; понимаю и то, что такая барышня, как Лидия Оскаровна, не может полюбить меня...

– Почему? – резко, с досадой перебил его Рожновский.

– Понятно почему, – совершенно искренно воскликнул Воинов, – я для нее слишком ординарен! Армейский поручик, малообразованный, неинтересный... Все это я отлично понимаю и ни на минуту не увлекаюсь и прежде не увлекался несбыточными надеждами... Не в том дело; но скажите – за что оскорблять меня так? За что относиться с таким недовери-

ем, с такой враждебностью? Вот что больно и горько! Тем более обидно, что вначале она относилась ко мне очень хорошо, скажу прямо, по-дружески, – припомните вы сами, Осип Петрович, как мы с Лидией Оскаровой по целым вечерам просиживали вдвоем, еще вы подчас подтрунивали над нами... Ведь находила же она для меня тогда и слова, и разговоры, а теперь двух-трех слов не скажет, а если и скажет, то непременно съязвит, уколёт... Разве это не больно? Разве не имел я права огорчаться и приходить в отчаянье?

Высказав все это дрожащим от волнения голосом, Воинов снова заходил по комнате, нервно до боли крутя усы. Рожновский молчал, хмуря брови; ему от всего сердца было жаль Аркадия Владимировича, но он не знал, что сказать ему в утешение.

– Нет, вы вот что мне растолкуйте, – остановился тот вдруг сразу посреди комнаты и даже ногой слегка притопнул, – что она в нем нашла? Какие такие особенные достоинства и качества? Ведь это же нелепость! Кошмар какой-то дикий и больше ничего... Кто он такой, позвольте вас спросить? Если даже брать его таким, каким он себя выдает, то и тогда он не что иное, как мусульманин, персюк, раб какого-то там Хайлар-хана, который во всякую минуту может его за ребро на крюк повесить... Господи, мне кажется, я с ума скоро сойду!.. И на такую-то, с позволения ска-

зять мразь, Лидия Оскаровна обращает свое внимание, интересуется им... Впрочем, что я говорю – интересуется, надо уж говорить правду: не только интересуется, а прямо-таки любит его... да, любит, я это отлично знаю и никто меня в этом не разубедит... Никто, никто!.. – кричал Воинов, точно кто спорил с ним. – К чему все это поведет? Ведь не идти же Лидии Оскаровне замуж за него... Уехать в Суджу, надеть чадру и ходить с кувшином к колодцу, в компании с прочими татарками... или как все эти коровам подобные ханши пальцем варенье лизать и тириак курить... О, проклятие, – прорычал в заключение Воинов и бросился на диван, с такой стремительностью, что весь он жалобно застонал.

– Ну, это вы уж чересчур преувеличиваете! – усмехнулся Осип Петрович, на мгновение со слов Воинова мысленно представив себе Лидию в роли ханши. – Дело так далеко не пошло, как вы себе воображаете. Мне даже смешно разuverять вас в том, что Лидия вовсе не влюблена в Муртуз-агу, даже и в мыслях у нее этого нет, – просто-напросто он ее заинтересовал как новый, невиданный ею еще тип. Немалую роль играет и таинственность, окружающая его, дающая право делать всякие предположения романического характера, невольно возбуждающие любопытство, а любопытство основание женской природы. Про

это, я думаю, вы и сами знаете. Я Лидию Оскаровну немножко изучил и нахожу в ней много романтизма. Довольно сказать – Жуковский ее любимый поэт. Она половину баллад его наизусть знает, от лермонтовского же Измаил-бея без ума. Я уверен даже, хотя она этого и не говорит, но это бессознательно у нее прорывается, что Муртуз-ага ей кажется тоже чем-то вроде Измаил-бея. Однажды она высказалась в том духе, что, мол, наверно, у Муртуза была в жизни драма, в которой замешана женщина и т. д., и т. д., а когда я на это со своей стороны сделал предположение, дескать, не был ли он фальшивым монетчиком, она страшно рассердилась и выговорила мне массу колкостей... Институтское воспитание, ничего не поделаешь! Они там учителей чистописания в Чайльд-Гарольды производят, а уж тут и Бог велел. Но, за всем тем, надо отдать справедливость Лидии Оскаровне, она барышня умная и скоро, скорее, может быть, чем мы думаем, разглядит этого самого Муртуза и даст ему надлежащую оценку. Вы только не волнуйтесь, смотрите на все глазами философа и терпеливо выжидайте время; поверьте, не пройдет и месяца, как Лидия опять будет с вами такая же, как была раньше... Вы только не делайте глупостей, не вдавайтесь в трагедии, продолжайте посещать нас, как раньше посещали, и в конце концов все будет прекрасно. Верьте

мне!

– Ах, вашими бы устами да мед пить! – задумчиво произнес Воинов, значительно успокоенный. – А я, признаться, с отчаянья удумал было в другую бригаду переводиться.

– Вот это уже была бы совсем глупость! – укоризненно покачал головой Рожновский. – Ну, Аркадий Владимирович, не ожидал я от вас, что вы такая баба окажетесь! Чуть неудача – он уже и в бега, а еще героем считаетесь... Ай, ай, стыдно, стыдно!

– Ваше благородие, – доложил вошедший денщик, – таможенный досмотрщик просит, могут они войтить, очень, мол, нужное дело...

– Ах да, Аркадий Владимирович, я и забыл совсем; ведь я не один приехал, а и Сударчиков со мной. Я, знаете ли, совсем собрался к вам, в повозку уже садился, как вдруг, гляжу, Сударчиков бежит. «Ваше благородие, – спрашивает, – вы не к их благородию поручику Воинову ехать изволите?» – «Туда, а тебе что?» – «Ежели туда, будьте милостивы, позвольте и мне ехать с вами. Я до поручика важное дело имею, сообщить им известие надо одно, а кстати и вы прослушать изволите, по тому самому, что и до вас касательство имеет». Удивился я немного таким словам, но расспрашивать старика не стал и посадил его в свою повозку. По дороге он сообщил только, что де-

ло, о котором он хочет говорить, заключает какую-то большую тайну и имеет непосредственную связь с именем Муртуз-аги. Подробнее же он обещал рассказать у вас на посту.

– Что ж, посмотрим, какое это такое дело; может быть, что-нибудь действительно важное. Ваш Сударчиков – человек положительный, серьезный и по пустякам болтать не станет. Надо позвать его и выслушать.

XXXVII. Рассказ Сударчикова

Через минуту в комнату вошел Сударчиков. Лицо его по обыкновению было сурово-спокойно, в руках он держал перевязанную тесемочкой папку.

– Здорово, старик; ты с чем? – дружелюбно приветствовал его Воинов.

– Здравия желаем, ваше благородие! – с былой молодцеватостью отвечал Сударчиков и, понизив тон, добавил: – Открытие важное я сделал; такое открытие, что и не знаю, как оно и будет, того, значит, по законам-то...

– Открытие? Какое? – удивился немного Воинов. – Да ты, старик, вот что: бери стул да садись сюда поближе, выкладывай, что у тебя такое. Вы позволите ему сесть при вас? – шепотом обратился Воинов к Рожновскому.

– Разумеется! Ведь он у меня на правах почти чиновника! – кивнул головой Осип Петрович.

Тем временем Сударчиков подошел к дивану, на котором сидел Воинов, открыл папку, достал из нее знакомую уже читателю группу и, передавая ее Аркадию Владимировичу, внушительным тоном произнес:

– Извольте, ваше благородие, приглядеться хорошенько, а опосля, как вы всмотритесь, я вам все и до-

ложу, как быть следует.

Воинов с некоторым недоумением в лице, взял из рук Сударчикова группу, но стоило ему взглянуть на нее, как у него вырвался легкий крик изумления.

– Откуда у тебя эта группа, где ты ее взял?

– Как откуда? – немного опешенный таким вопросом, в свою очередь спросил Сударчиков. – Эта картина моя, поболее двадцати годов будет, как она у меня хранится. А вы, сударь, нешто что знаете про эту картину, тоись стало быть, чьи тут портреты находятся?

– Как не знать! Это вот капитан Некраснев, Егор Сергеевич, а барыня – жена его Людмила Павловна; она моей матери двоюродной сестрой приходилась, а мне, стало быть, теткой...

– Да неужели ж, ваше благородие? – всплеснул руками Сударчиков. Вот изумительное-то дело, скажите на милость! Кто думал, кто думал?..

Он несколько раз покачал седой головой и затем, оживившись, торопливо заговорил, тыча дрожащим пальцем в красавца вольноопределяющегося:

– Может быть, ваше благородие, вы и этого тоже знаете?

– Слышал о нем, – мать моя нам рассказывала. У нас в доме тоже такая фотография есть, а к тебе-то она как попала?

– Да ведь капитан, покойник, царство ему небесное, ротным моим был. Извольте взглянуть: фельдфебель у дерева-то стоит, это же я сам и есть, помоложе тогда был, бороду брил; теперь-то я старая коряга... Впрочем, не во мне толк... а в том, что, стало быть, вы и про всю историю наслышаны...

– Слышал и про историю...

– Так, так... Вот ведь он, злодей-то самый, убиец проклятый! – в приливе ненависти торопливым полупшепотом заговорил Сударчиков, дрожащим скрюченным пальцем показывая на вольноопределяющегося. Почитай что на моих глазах все и свершилось-то... Я одним из первых прибег тогда, на моих руках капитан и душеньку Богу отдать изволил... А как Людмила-то Павловна в те поры убивалась, и не дай-то Бог, смотреть страшно было, думали – ума решится!.. Сколько годов с того дня прошло, а точно вчера было, так все и стоит в глазах... Подумать страшно!

Старик замолчал и в глубокой задумчивости опустил голову.

– И как подумаешь, чудно выходит! – продолжал он после короткого молчания. – Восемнадцать лет пропадал человек; думали, помер, слух такой был, ан вышло не то, – жив, и мало того жив, сам объявился... Надо только умеючи взять, а сделать этого окромя вас, ваше благородие, некому. Затем-то я и приехал

к вам, чтобы, стало быть, известить вас обо всем, как следует... Надеюсь, не откажетесь. Ну, а теперь, как вы к тому же и сродственником приходите, то и по-давно, беспременно вам, а не кому другому за это дело взяться надлежит...

– За какое дело? Говори яснее, я тебя что-то, брат, понимаю плохо! Про кого ты говоришь?

– Про кого? Ни про кого иного, как про убийцу проклятого, князя Каталадзе... Ведь он здесь! 18 лет о нем не было ни слуху, ни духу, а теперь вдруг выискался. Во всем святая воля Божья... Вы, ваше благородие, взгляните позорче в рожу-то его злодейскую, припомните, не видели вы кого похожего? Да и вы, ваше благородие, – обратился Сударчиков к Рожновскому, – извольте тоже поглядеть. Вы также его видали, еще недавно; не таким, правда, а много старше и одежда на нем другая, не та... Только если взглядеться попристальней, то узнать можно!

Заинтересованные словами Сударчикова донельзя, Воинов и Рожновский принялись внимательно разглядывать фотографию. Сударчиков, дрожа от волнения, не сводил с них глаз, как бы гипнотизируя их своим взглядом.

– Ну, брат, воля твоя – не могу узнать! – произнес Воинов. – Каталадзе был грузин, а это уже известная истина: все грузины на одно лицо, как родные братья.

– Постойте, постойте, – заговорил Рожновский, в свою очередь пристально вглядываясь в фотографию. – Я, кажется начинаю узнавать. Неужели он?

Поднял Осип Петрович глаза на Сударчикова, – тот торжествующе кивнул головой.

– Да кто он? – с легким раздражением спросил Воинов.

– Кто? Муртуз-ага. Неужели не узнаете? – сказал Рожновский.

При этих словах Воинов даже с дивана вскочил.

– О, я дубина! – закричал он, хлопнув себя по лбу, – не мог догадаться сразу... Гляжу, что-то кого-то как будто бы и напоминает, а кого, хоть убейте, не домекнулся.

– Мудреного нет, ваше благородие! – обратился к нему Сударчиков. Я сам сколько раз видел его здесь и ни разу в голову не пришло. А тут вот как-то на днях стоял я у парома, а он с нашей барышней к парому подошел; стали и разговаривают промеж себя; он наклонился к самому лицу Лидии Оскаровны, шепчет что-то, а сам улыбается. Глянул я как-то – и вдруг меня осенило, словно пелена с глаз упала. Припомнилось мне, что, почитай, точь-в-точь и тогда так же было: шел я в тот день рощицей, что за городом нашим росла, гляжу, навстречу мне покойница Людмила Павловна идет под ручку с князем и вдруг приостанови-

лись на тропинке, он ей что-то на ухо шепчет, а она головой качает, а сама улыбается... Ну, словом, совсем так же, как и теперь, только вместо Людмилы Павловны – Лидия Оскаровна... И так мне тогда лицо его запомнилось, что все время забыть не мог, как он глазница таращил да губы крутил... Глянул я на Муртуз-агу: батюшки светы! то же лицо, и глаза, и губы, – тут-то я и признал его.

– Ты, стало быть, очевидцем всей этой истории был? – спросил Воинов.

– Тоись, как вам доложить? Настоящего-то я не видел, – как, значит, князь капитана нашего полосонул; я уже опосля пришел, минут этак с пяток... Подхожу к казармам, гляжу: от угла денщик капитана, Лошаденков, бежит. Капитан жил от казарм неподалеку... Бежит, стало быть, Лошаденков, а сам стены белее; завидел меня, замахал руками, лопочет что-то, а что – не могу понять. Рассердился и в ту пору на него крикнул, кажись, еще и по затылку слегка смазал: «Что ты, бесов сын, стрекочешь, уразуметь ничего невозможно!» А он мне: «Бегите, господин фельдфебель, до нас, у нас дело большое приключилось, князек капитана зарезал». Как сказал он мне эти слова, и света Божьего не взвидел... Ударился бежать резвей мерины, добежал, гляжу – в саду недалеко от лестницы лежит капитан на спине, китель весь в крови, кровь под ним,

кровь около... Удивительное дело, сколько крови было... Тут же и барыня, бьется головой об землю, кричит не своим голосом... Наклонился я над капитаном, гляжу: еще дышет, глазами по сторонам поводит тихо так, точно озирается, лицо же такое страшное, серое, осунулось, – узнать нельзя. Увидал меня, губами шевелить зачал. Приник я это ухом к самому его лицу, прислушиваюсь, стараюсь понять, что такое говорит он мне. Сначала никак разобрать не мог, насилу-насилу расслышал. «Умираю... – grit, – возьми мою руку, помоги крест сделать». Взял я его руку, он персты сжал, и я его рукой крестное знамение начал делать... Только донес до левого плеча, чувствую – рука сразу потяжелела, холодеть начинает и ровно бы деревянная стала. Глянул я ему в очи, а на них словно бы туман лег, – помутились, зрачки такие светлые, неподвижные... Вижу я – помер наш капитан, царство ему небесное... Опустил я его бережно на землю, перекрестился, а тут в скорости народ сбегаться зачал... Шум, смятение; что, как... А про убийцу-князя забыли... Схватились, часа уже должно два спустя, кинулись туда-сюда, а его и след простыл... Разослали по всем концам и пеших и конных, – не тут-то было, как сквозь землю провалился! На другой день командир полка телеграммы послал, чтобы на турецкой границе караулили, одначе и там ничего. Спустя месяц

уведомили полк, будто где-то около границы нашли труп человеческий, весь изъеденный волками, по приметам похожий на князя. Сейчас же послали одного офицера из полка удостовериться. Тот приехал, выкопали из земли труп, а он уже загнил весь... Затошнило офицера, не стал разглядывать, а чтобы покончить дело разом, вернувшись, доложил, будто действительно это князь был. На том и дело покончилось.

– Что же нам теперь делать? – спросил Воинов, с недоумением поглядывая на Рожновского и Сударчикова.

– Арестовать, ваше благородие, как он только придет, и сдать полиции! – предположил последний.

– Не годится, – потрянул головой Рожновский, – оснований нет. Одного свидетельства Сударчикова недостаточно. Согласитесь сами: с того дня, как вся эта история случилась, прошло около двадцати лет, – за такой долгий период времени Сударчиков мог забыть, как Каталадзе и выглядел-то, а не то чтобы узнать его в новой совершенно обстановке.

– Я, ваше благородие, не забыл, да и как было забыть, когда все это происшествие на моих глазах случилось?! Я и по сей час все будто бы глазами своими вижу! – немного обиженным тоном заявил Сударчиков.

– Да разве я тебе не верю? – нетерпеливо мах-

нул Рожновский, – но не обо мне речь; я говорю не про себя, а про других. Другие не поверят, скажут: «Старик из ума выжил, померещилось ему сослепу». Не забудьте, ведь князь официально считается умершим, дело окончено и вновь возбуждать его никому не сладко. Ко всему этому прибавьте и то обстоятельство, что Муртуз-ага человек влиятельный, богатый, правая рука правителя Суджи – Хайлар-хана, и затронуть его не так просто, как вам кажется. Сейчас со всех сторон явятся прошенные и непрошенные заступники, подымется гвалт и в конце концов вас же обвинят и, чего доброго, подвергнут взысканию.

– Стало быть, по-вашему, оставить его гулять на свободе? – горячо воскликнул Аркадий Владимирович.

– Пока – да, но учините за ним зоркий надзор и как только он появится здесь тайно, помимо таможни, задержите как нарушителя границы. В то время, когда мы с него будем снимать допрос, Сударчиков пусть заявит свое показание о тождестве Муртуза с князем Каталадзе; мы сейчас же составим об этом протокол и все вместе препроводим в полицию. Таким образом, задержание будет вполне легальное: вы задержите Муртуз-агу не как князя Каталадзе, убийцу и дезертира, а как тайно перешедшего границу, на что имеете полное право. При этом показания Сударчикова явля-

ются уже не главным мотивом задержания, а только второстепенным его дополнением.

– Вы совершенно правы! – воскликнул Воинов. – Теперь все дело за тем лишь, чтобы выследить его, когда он пожалует к нам. В этом случае, Сударчиков, надо, чтобы и ты помог нам: иногда на пароме можно собрать драгоценные сведения, у тебя к тому же есть среди татар знакомые.

– Не извольте беспокоиться, – я, со своей стороны, душу положу на это дело, во все глаза караулить буду!

– А как вы думаете, – обратился Воинов к Рожновскому, когда Сударчиков вышел и они остались вдвоем в комнате, – следует ли сказать об этом Лидии Оскаровне?

– По-моему, – не следует. Женщина всегда остается женщиной. Бог ее знает, как она отнесется к этому известию! Во-первых, поверит ли она ему, а если и поверит, то не случится ли так, что жалость к убийце пересилит негодование, вызываемое убийством, и она захочет спасти его от угрожающей ему кары.

– Пожалуй, и в этом вы правы. Итак, будем хранить все в глубокой тайне между нами, – и дай Бог скорого и полного успеха.

XXXVIII. Сударчиков орудует

– Что с тобой? – спрашивала Ольга Оскаровна Лидию, видя ее постоянно задумчивой, как будто бы чем-то расстроенной. – Ты последнее время такая грустная...

– Скучно мне у вас тут! – отвечала Лидия. – Сначала, пока все вновь было, интересовало, а теперь надоело до тошноты; глаза бы ни на что не глядели. Скучно жить без дела! Думаю весной назад в Москву ехать – службу искать где-нибудь в конторе!

– Вот глупости! – с неудовольствием воскликнула Ольга. – Пришла фантазия место искать, точно есть тебе нечего! Это у тебя институтские бредни; лучше замуж выходи!

– За кого? – усмехнулась Лидия.

– А хотя бы за Воинова; чем не жених?

– Прекрасный, только не по мне!

– А почему, позволь тебя спросить? Человек молодой, хороший, любит тебя до безумия. Жалованье получает хорошее, кроме того свои средства небольшие есть; ты тоже имеешь ежемесячную ренту, – жили бы без забот!

– Согласна, все это очень соблазнительно, но...

– Что но?

– Но Воинов мне не нравится!

– Удивляюсь! – пожала плечами Ольга. – Кто же тебе нравится? Муртуз-ага, что ли? – презрительно улыбнулась она.

– А хотя бы и Муртуз-ага! Что же тут удивительного? – спокойно произнесла Лидия.

Ольга пристально взглянула в лицо сестры и весело рассмеялась.

– Чудачка ты, Лидия, право чудачка, фантазерка, каких мало! – сказала она и, поцеловав сестру в лоб, вышла из комнаты. Оставшись одна, Лидия села на кушетку в уголок и задумалась. Последнее время ее мысли вращались все на одном и том же; возможно ли для Муртуза обновление его жизни и если возможно, то как это совершится, – при ее участии или нет? Теперь, когда она знала, что он не перс-мусульманин, а европеец, она стала смотреть на него совершенно другими глазами; преграда, созданная слишком большой разницей в мировоззрении людей Востока и Запада – рушилась, оставалось только ближе узнать и понять друг друга, испытать силу взаимной привязанности... и тогда... Но что же тогда? Связать свою жизнь с его? Но разве это возможно? Кто он такой? Кто он такой? Какое место в жизни он может занять, какие отношения могут создаться у него с другими людьми? – Все это были вопросы, которые ее

чрезвычайно волновали и тревожили главным образом тем, что она не могла дать на них себе никакого ответа.

Сударчиков стоял на берегу и смотрел, как большая толпа рабочих, едущих из Персии на ранние весенние заработки в Россию, с шумом и гамом заполнила готовый отчалить от персидского берега паром.

В эту минуту на персидской стороне мимо парома верхом на красивом, рослом, сером коне проехал татарчонок и, с разбега вогнав его далеко в реку, по самое брюхо, начал поить. Лошадь пила долго и жадно, по временам подымая голову и оглашая воздух звонким, задорным ржанием. Сударчиков невольно обратил особое внимание на этого коня; такого в окрестностях ни у кого не было, слишком он был породист и красив и принадлежал, наверно, знатному и богатому человеку.

– Чем это конь мог бы быть? – раздумчиво произнес Сударчиков, продолжая внимательно разглядывать серую лошадь и сидящего на ней татарчонка.

– А должно быть, Муртуз-аги? – заметил Иванюк, мельком бросив взгляд за реку. – Я, кажись, видел его один раз на этом коне, когда наши на охоту ездили!

– Да ну! Что ты говоришь?! – встрепенулся Сударчиков. – А не врешь?

– А Бог его знает, может, и не Муртузова, – согла-

сился Иванюк, – много тут таких-то лошадей!

– Ну, нет, брат, это ты брешешь; таких коней тут нет. Вот ты что, Иванюк: оставайся, а я съезжу на ту сторону, мне это важно узнать доподлинно. Если кто спросит, зачем я поехал, – отвечай, паром персидский осмотреть; третий день подлецы гололобые свой паром чинят, а все справиться не могут!

– Это у них уж заведение такое, – проворчал Иванюк, – нарочито свой паром неисправным показывают, чтобы пассажиры больше на нашем ездили, а их без дела отдыхал!

– А вот я их, клятиков! – погрозился Сударчиков, спускаясь на паром и приказывая отчалить.

Мустафа, старший паромщик персидского парома, худощавый старикашка с жидкой сивой бороденкой и слезливым и в то же время лукавым выражением на сморщенном, как печеное яблоко, лице, увидя подплывшего Сударчикова, поспешил к нему навстречу, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь.

– Когда же у вас, Мустафа, паром-то, наконец, готов будет? – сердито крикнул Сударчиков. – Управляющий хочет жалобу писать!

– Завтра, ага, в'алла, завтра! – прижимая руки к сердцу и стараясь придать своему голосу особенную убедительность, зашамкал Мустафа. – Сабах дюн наш паром ходить начал!

– Знаю я ваше сабах дюн! Врете вы все; три дня одну доску прибить не можете. Мошенники!

– Разви одна доска, господин старший? – сокрушенно покачал головой Мустафа. – В'алла, работи многа, почти все доска пропал, в'алла, пропал!

– Ладно, рассказывай! Ну да черт с тобой, – завтра так завтра, только смотри не надуй, а то сейчас жалобу пошлем; так и знай!

– Зачиво жалобу, не надо жалобу; говорю, завтра паром ходить начинал, Мустафа шалтай-болтай не будет!

– Подумаешь, какой праведник! – буркнул себе под нос Сударчиков и, повернувшись к своему паромщику, сурово приказал ему плыть обратно. В ту минуту, когда паром уже тронулся, Сударчиков небрежно кивнул низко кланявшемуся ему Мустафе.

– Хороший конь у Муртуз-аги, этот серый; самая лучшая его лошадь! – сказал он, как бы между прочим, показывая на отъезжавшего от берега татарчонка на сером жеребце.

– А, якши ат, чох якши! – прищелкнул языком Мустафа. – Такой лошка ни у кого нет во всей Судже!

– Верно, верно; ну, прощай, карташ!

– Прощай, ага, бывай здоров!

Паром медленно пополз к русскому берегу. Сударчиков торжествовал; теперь он знал, что Муртуз-ага в

Анадыре, иначе откуда взяться его лошади. Надо скорее предупредить поручика: может, Муртуз еще задумает переправиться через границу.

Вернувшись обратно, Сударчиков поспешил к себе в комнату, торопливо достал четвертушку бумаги и дрожащими, худо слушающимися пальцами начал выводить угловатым почерком донесение.

«Его высокородию, – писал он, – командиру Урюк-Дагского отряда, отставного фельдфебеля Сударчикова донесение. Доношу Вашему Благородию, что Муртуз-ага в настоящее время находится в сел. Анадыре и, очень может быть, сею ночью будет переправляться на нашу сторону. О чем вашему благородию и доношу для сведения».

Написав и запечатав пакет сургучной печатью, Сударчиков отправился разыскивать «подлеца Керимку». «Подлец Керимка» был круглый сирота, татарчонок лет 12, живший, как птица небесная, постоянно голодный, полунагой, но, несмотря на то, всегда веселый. Он с хитростью обезьяны льнул к солдатам, которые, по русскому добродушию, относились к нему несравненно лучше, чем его соплеменники-татары. Если бы не солдаты, «подлец Керимка», наверно, давно бы помер с голоду или замерз где-нибудь в поле. Солдаты его прикармливали, отдавали старые обноски и иногда в особенно лютую стужу пус-

кали ночевать в казармы, где он, свернувшись на полу, как собачонка, без матраса и подушки, но пригретый, чувствовал себя совершенно счастливым. В благодарность за такое, в сущности, ничтожное внимание «подлец Керимка» исполнял для солдат разные поручения и состоял у них на побегушках.

Прошло добрых полчаса, а то и час, пока Сударчикову удалось разыскать, наконец, Керимку на дворе какого-то татарина, где он помогал складывать в кучу кизяки.

Раздосадованный долгими бесплодными поисками, Сударчиков первым делом схватил мальчугана за шиворот и, ничего не говоря, пребольно оттрепал его за уши. Впрочем, «подлец Керимка» к такому обращению привык давно; он даже не счел нужным сопротивляться, а только нищал, как поросенок, змеей извиваясь в грубых руках фельдфебеля. Окончив массажирование Керимкиных ушей, Сударчиков отвел его в укромный уголок, где никто не мог их видеть, и сунул ему за пазуху пакет.

– Слушай, пострел, – строго хмуря брови, приказал старик, – беги сломя голову на пост Урюк-Даг к командиру, отдай ему этот пакет прямо в руки; слышишь, – сам отдай. Если солдаты на посту захотят взять пакет – не отдавай им; скажи: Сударчиков, мол, приказал самому командиру отдать. Если спать будет, вели

сбудить; не бойся ничего, от моего имени действуй. Смекаешь? Во тебе два шаура, а проворно и умненько сделаешь, приходи – абаз дам.

Керимка жадно схватил деньги и торопливо сунул их в карман рваной солдатской жилетки, надетой поверх грязной холщовой рубахи, которая вместе с такими же портами составляла всю его одежду, весьма легкомысленную по зимнему времени. Не заставляя повторять приказания, он со всех ног с места пустился бежать на Урюк-Дагский пост; только голые пятки его, невзирая на зиму, босых ног замелькали в воздухе.

– Ишь, шустрый дьяволенок! – шевельнул усами Сударчиков, глядя вслед бегущему мальчишке. – Швидче лошади дует, за полчаса добегит. Ну, что Бог даст? Каково-то удастся? Помоги, Господи?

Старик от полноты чувств даже перекрестился.

XXXIX. В пещере

Был яркий солнечный день. Несмотря на декабрь месяц, градусник в полдень стоял на нуле, что, в связи со жгучими лучами южного солнца и отсутствием всякого ветра, производило впечатление положительно теплого дня. Лидия в суконной амазонке и плюшевой ватной кофточке, в меховой шапочке и перчатках из козьего пуха, вышла на крыльцо, подле которого таможенный солдат держал под уздцы застоявшегося Копчика. Горячий конь нетерпеливо топтался на месте и рыл землю то правой, то левой ногой, сердито встряхивая тонкой, как шелк, гривой.

– Куда это ты собралась? – удивилась несколько Ольга, увидя сестру в таком костюме.

– Хочу проехаться немного. Давно уже не ездила. Копчик совсем застоялся!

– Одна?

– Я недалеко, на почтовую станцию, хочу письмо сдать; кстати, я, может быть, к почтмейстерше зайду, посижу у нее немного. Я тебе для того это говорю, чтобы ты не беспокоилась, если я немного запоздаю. Ну, до свиданья!

Она в несколько прыжков сбежала с лестницы и легко и грациозно, почти без всякой помощи, как бы

вспорхнула на седло.

Почувствовав на себе всадницу, Копчик еще больше заволновался, захрапел, согнул шею дугой и, сделав два-три коротких лансада, пошел, играя и поджываясь, сердито и нетерпеливо прося повода. Выехав из селения, Лидия легким прикосновением хлыстика подняла его в галоп и поскакала к видневшимся вдали горам. Доскакав до подошвы ближайших скал, она перевела Копчика в шаг и, осторожно перебравшись через глубокую канаву, окаймлявшую шоссе, направилась по едва заметной дорожке к глубокому ущелью, черневшему, как пасть чудовища. В ущелье было значительно холоднее, дул резкий ветер, но Лидия не обращала на это внимания и продолжала скорым шагом подыматься вверх по каменистой, извилистой тропинке. Обогнув высокую, похожую на египетскую пирамиду, скалу, Лидия увидела широкую площадку, со всех сторон окруженную скалами, в одной из которых зияла большая, глубокая пещера. Не успела молодая девушка остановиться, как из-за камней ей навстречу поднялась высокая угрюмая фигура курда с ружьем за спиной и огромным кинжалом у пояса; одновременно с этим из глубины пещеры вышел Муртуз-ага.

– Видите, я сдержала свое слово! – сказала Лидия, легко спрыгивая с седла и передавая повод Копчика

курду, который тотчас же куда-то с ним исчез.

– Вижу, вижу! – радостно улыбнулся тот, пожимая ей руку. – Ну, милости просим, пожалуйста в пещеру, а то здесь холодно!

– А там разве теплее? – усумнилась Лидия, следуя за Муртузом.

– А вот сами увидите!

Они вошли, и молодая девушка была невольно изумлена тем видом, который приняла теперь знакомая ей пещера. Посредине ее были поставлены куртинские камышовые, оплетенные паласами ширмы; на небольшом пространстве, отгороженном этими ширмами, были настланы толстые войлоки, а поверх них персидские ковры с положенными на них двумя подушками; в углу горел яркий костер, дым которого уходил вверх, в едва заметную щель в скале. Несмотря на то, что вход в пещеру был открыт, в ней было тепло, как в комнате.

– Да вы тут прекрасно устроились! – воскликнула Лидия, оглядывая пещеру.

– Иначе было нельзя. Я сказал вам, что буду ждать вас три дня. Погода могла испортиться, наступят морозы, и тогда в этой пещере недолго и замерзнуть!

– Но откуда же вы достали все это – подушки, ширмы, ковры?

– Как откуда? – Из Персии! Я взял с собой двух

вьючных катеров, под вещи; кроме того, со мной четыре курда, одного вы сейчас видели!

– И вам удалось таким скопищем незаметно проскользнуть через границу? Удивляюсь!

– Что же тут удивительного? – усмехнулся Муртуз-ага. – Я же вам говорил, если захочу – пройду через границу, и никто меня не увидит и не услышит. Скажу вам лучше: я имею неопровержимые сведения, что нас эту ночь ждали. У Воинова все люди на границе. На посту два-три человека – не больше, у каждого брода заложены секреты из нескольких человек, кроме того, всю ночь разъезжают конные патрули. Сам он тоже на границе. Из всего этого ясно: он каким-то чудом узнал о моем приезде в Анадыр, сообразил, что я думаю тайно переправиться, и усиленно караулил всю ночь.

– В таком случае, как же вы проехали?

– Очень просто: я выбрал путь, где меня могли меньше всего ждать, а именно – около самого поста. Я прошел со своими людьми в нескольких саженях от часового; не в меру усердный солдат слишком внимательно приглядывался вдаль и чересчур прислушивался к ожидаемой где-нибудь у дальнего брода тревоге, чтобы видеть и слышать около себя!

– Но почему же вы узнали, что вас ждут во всех бродах? – все больше и больше изумлялась Лидия.

– Ну, это уж совсем пустяки. Накануне этого дня, когда я решил переправиться, я послал трех своих курдов; они весь день неподвижно пролежали в камышах, а вечером, когда солдаты начали занимать секреты, мои разведчики, как змеи, расползлись во все стороны, тщательно все высмотрели, а затем, незамеченные никем, переплыли Аракс и дали мне знать. Руководствуясь их указаниями, я прошел так же спокойно, как будто бы на границе никого не было.

– Ну, теперь я вижу, вы действительно не хвастались, говоря, что можете по желанию безнаказанно перейти границу, когда угодно! – воскликнула Лидия, невольно любуясь спокойным, мужественным видом Муртуз-аги, который стоял перед нею, поигрывая рукояткой кинжала, гордый, презирающий всякую опасность и в то же время почтительно-покорный.

Прошло несколько минут в томительном молчании. Оба сидели один против другого на ковре, подложив под локоть подушку и не глядя в лицо друг другу. Первая заговорила Лидия.

– Ну, что же, Муртуз-ага, я исполнила свое обещание – приехала, теперь дело за вами. Повторяю еще раз: не любопытство руководит мной, а желание вам добра. Поделитесь со мной вашим горем, и затем мы вдвоем обсудим, Нельзя ли будет вам выйти из тяжелого положения, в котором вы находитесь!

– Нет слов, чтобы выразить вам мою благодарность! – тронутым голосом произнес Муртуз. – За двадцать лет, что я покинул родину, первый раз я слышу голос искреннего участия... Тем тяжелее мне будет моя исповедь, так как уверен, что после нее вы отвернетесь от меня... Вот главная причина, сковывающая мой язык...

– Я здесь не в качестве судьи! – тихо и спокойно произнесла Лидия. – Как бы ваше преступление ни было ужасно, вы успели уже много выстрадать за него; говорите смело и верьте, я не брошу в вас камня!

– Вы – ангел, я давно это узнал и с первой же встречи стал боготворить вас! Вы казались мне существом нездешнего мира... Ах, зачем я вас встретил! Мне и раньше было тяжело, теперь же моя жизнь невыносима!

Последние слова Муртуз произнес в порыве такого отчаяния, что Лидии стало его особенно жалко.

– Успокойтесь, – произнесла она ласковым, ободряющим тоном, – и рассказывайте вашу историю. Когда вы выскажетесь, вам будет легче, уверяю вас!

– Повинуюсь, но дайте мне собраться с мыслями!

С этими словами Муртуз закрыл глаза и несколько раз провел рукой по лбу; выражение его лица было страдальческое. Очевидно, ему было очень трудно приняться за рассказ, но после некоторого колебания,

преодолев свое волнение, он, наконец, начал говорить, как бы чужим голосом.

XL. Признание

– Прежде всего о моем имени, кто я и откуда родом. Я – грузин, фамилия моя – князь Каталадзе, зовут меня Михаил Ираклиевич. Если бы вы были знакомы с историей нашего края, вы бы знали, что в прежние времена фамилия князей Каталадзе играла большую роль в судьбах Грузии, а в конце царствования Императора Александра I один из князей Каталадзе занимал видный военный пост в Петербурге, но в конце сороковых годов он умер в преклонной старости, разорившийся и всеми забытый. Родных сыновей у него не было, но был племянник – мой отец, начавший свою карьеру в гвардии, но затем, по недостатку средств, принужденный перейти в гражданскую службу. Однако в гражданской службе отцу моему не повезло. Говорят, причиной этому были его грузинская вспыльчивость и откровенность, с которой он резко и грубо говорил людям в глаза то, о чем они не любят слушать. Не знаю, насколько все это правда, но когда я родился, отец уже нигде не служил, а проживал в своем родовом запущенном имении, едва-едва прокармливавшем его и его семью, состоявшую, кроме меня и матери, еще из двух сестер, обе старше меня, и младшего брата, теперь уже давно умершего.

Мать моя была русская, отец женился на ней, когда еще служил в Петербурге. Брак этот был счастлив, хотя, как мне кажется, вспыльчивый, строптивый характер отца немало приносил ей огорчений. Мать моя происходила из старинной зажиточной дворянской семьи; благодаря деньгам, принесенным ею в приданое, отец мог выкупить от ростовщиков-армян свое родовое, с незапамятных времен заложенное имение, где он и поселился, оставив службу, причинявшую ему только одни неприятности. Когда мне исполнилось 12 лет, меня отправили в военную гимназию в Петербург на попечение тетки, замужней сестры моей матери. Рожденный под роскошным солнцем Грузии, взлелеянный ее благотворным воздухом, я, однако, не мог выносить сурового, туманного климата северной столицы и постоянно болел. Благодаря тому обстоятельству, что я большую часть года проводил в госпитале, науки мои шли очень плохо, и я с грехом пополам окончил гимназию, но в военное училище уже не пошел, а вернулся поскорее на родину и поступил в один из туземных полков вольноопределяющимся. С этого-то момента и начинается история моего несчастья.

Муртуз-ага, которого мы теперь уже будем называть его настоящим именем – князем Каталадзе – тяжело вздохнул и, помолчав немного, как бы обдумыв-

вая дальнейшее повествование, снова начал:

– Итак, я поступил в полк. Какое это было чудное время!.. К сожалению, оно продолжалось недолго, всего несколько месяцев.

Полк наш был как одна семья; офицерство состояло из грузин и русских. Ни армян, ни татар в среде его не было, все были на «ты» друг с другом, все как братья. Вольноопределяющимся жилось прекрасно, они были приняты в офицерскую среду совсем запросто, по-товарищески, не так, как в других пехотных полках, где с ними обращаются немного лучше, чем с простыми нижними чинами. Так как большинство офицеров были грузины, то они давали тон всему полку; благодаря им, редкий день проходил без веселого сборища в квартире кого-либо из них. Кахетинское лилось рекой, благо в те времена оно было немногим дороже воды; «азарпеш» весело ходил по рукам удалой компании, под дружное пение традиционного «Мравал Джамиер» и забористые шуточные тосты остроумца тамады. Иногда пир затягивался дня на три, на четыре, причем заправские кутилы все это время так и не отходили от стола. Когда вино и сон одолевали их буйные головы, они облокачивались на стол и дремали час-другой со стаканами в руках, после чего как ни в чем не бывало снова принимались за кутеж, пока, наконец, какое-нибудь постороннее обстоя-

ительство не прекращало попойки. Не довольствуясь кутежами в холостой компании, офицерство наше то и дело устраивало пикники с дамами: как с полковыми – женами офицеров, так и с городскими. На пикники преимущественно ездили верхом; у редкого офицера не было своего коня, какого-нибудь лихого кабардинца или золотистого Карабаха.

Как теперь вижу я эти веселые поезда. Три-четыре фаэтона, наполненные нарядно одетыми дамами, мчатся четверками во весь дух по ровной дороге, среди виноградников и фруктовых садов... Вокруг них, спереди и сзади, джигитуюя и перекликаясь между собою, на поджарых, горячих конях несутся молодые офицеры, ловкие, стройные, в черкесках, увешанные оружием в богатой серебряной оправе.

Тут же, не уступая мужчинам в лихости и удали, скачут две-три амазонки в цветных офицерских фуражках, с разгоревшимися лицами и блещущими глазами... Глядя на молодежь, и у солидных офицеров разгорается сердце – не вытерпит иной тучный, седовласый и плешивый майор, слезет со своей повозочки, запряженной парой резвых иноходчиков, и попросит кого-нибудь из молодежи уступить своего коня, а самому сесть в его майоровскую повозку; кряхтя и сопя, влезает старик на седло и, пригнувшись к луке, мчится за умчавшейся кавалькадой, которая встречает его

громким и дружным хохотом, добродушно подтрунивая над его не умещающимся на седле животом и толстыми короткими ногами.

– Ладно, смейтесь, молокососы! – добродушно ворчит старик-ветеран. – Думаете, я не был такой, как вы? Был, еще, пожалуй, получше! Помню, как в 1849, я был тогда совсем юным прапорщиком, мы...

И тут старик начинал бесконечную повесть из великой эпохи, которая зовется – Кавказская война. Эти бесхитростные рассказы, помню, действовали на нас, молодежь, как смола на огонь, зажигая в наших сердцах жажду к опасностям и подвигам. С горящими глазами, сжимая пальцами эфесы шашек и рукоятки кинжалов, слушали мы старых вояк, принося в душе своей клятвы при случае последовать их примеру и поддержать незыблемую геройскую славу кавказских войск. Ах, чудное, невозвратное время!.. Впрочем, простите, я, кажется, увлекся и говорю не о *том*, о чем следует... На чем я остановился? Ах, да, – на том, что я поступил в полк. В полку я был зачислен в 1-ю роту; ротный командир у меня был капитан Некраснев. На моем слабом языке нет таких слов, которыми бы я мог рассказать вам, что это была за личность; во всем, в чем только вы хотите, он мог служить образцом. Прекрасный фронтовик, службист, сумевший поставить свою роту на такую недостижимую высоту в

деле военного образования и воспитания, что никому и в голову не приходило тягаться с ним, – Егор Сергеевич, так звали Некрасева, в то же время был человек весьма добрый, даже снисходительный; с солдатами обращался прекрасно, с отеческой о них заботливостью; что же касается товарищей-офицеров, то лучшего товарища нельзя было и представить себе. У нас его все любили и почитали, мы же, мальчишки, вольноопределяющиеся его роты, прямо обожали его. С нами он держал себя очень просто, дружески, на службе был строг и взыскателен, а вне службы он являлся для нас не начальником, а как бы старшим братом. Попасть к нему в роту считалось большой честью и счастьем. Как и подобает солидному ротному командиру, человеку пожилому, капитан Некрасев был женат. Жена его – Людмила Павловна – была моложе его на 20 лет. О то время, когда я с ним познакомился, Некрасеву было 45, а ей двадцать пять лет, но это не мешало им жить душа в душу и сильно любить друг друга.

Особенно Некрасев, – он, как говорится, души не чаял в своей жене, да, признаться, в этом не было ничего удивительного; Людмила Павловна была во всех отношениях замечательная женщина. Умница, каких мало, образованная, всегда веселая, хорошая музыкантша и певица и ко всему этому красавица такая,

каких я ни раньше, ни позже, до встречи с вами, не встречал. Высокого роста, стройная, с дивными глазами, она с одного взгляда могла свести с ума любого мужчину... У нас в полку половина офицеров была влюблена в нее до потери рассудка... Ко всему этому она была большая кокетка; у нее была страсть кружить головы своим многочисленным поклонникам. Теперь, под старость, припоминая прошлое, я нахожу эту черту характера в ней – ее единственным недостатком, тогда же, разумеется, я этого не находил. Напротив, в наших глазах кокетство Людмилы Павловны имело особенную прелесть и вызывало ни с чем несравнимый восторг. Надо ли говорить, что я – в то время восемнадцатилетний юноша – не избег общей участи и с первых же дней моего знакомства с Людмилой Павловной страстно и безумно влюбился в нее.

На беду, не знаю отчего, по отношению ко мне Людмила Павловна была как-то особенно внимательна. Я был самый юный из всех ее тогдашних поклонников, и она глядела на меня как на мальчика, забывая, что грузин, сын юга, в 18 лет, пожалуй, более мужчина, чем северянин в 20–22 года, и в несколько раз превосходит его пылкостью своего темперамента и страстностью натуры. К сожалению, Людмила Павловна не думала об этом и тем погубила всех нас троих. Относясь ко мне как к ребенку, она позволяла себе мно-

го лишнего, держалась чересчур запросто, возилась со мной... шутя, драла меня за уши, шутя била меня по лицу, преимущественно по губам своими перчатками, веером, а то и просто пальчиками... Ей, очевидно, доставляло наслаждение дразнить «мальчишку», каковым она меня считала, искренно забавляясь кипевшей во мне страстью... Она смеялась, дурачилась, а я терзался, мучился, страдал... Я места себе не находил, сжигаемый внутренним огнем... Я бросился перед ней на колени, в пылких словах изливая ей мою любовь, мои терзания, но чем страстнее были мои объяснения в любви, тем громче и беззаботнее она смеялась тем сильнее мучила меня... Она была положительно безжалостна. Единственным ей оправданием служило то обстоятельство, что она искренно считала меня слишком юным, а страсть мою слишком ребяческой, чтобы придавать ей какое-нибудь серьезное значение: но, повторяю я был далеко не ребенок и очень скоро доказал ей это... Как это случилось, признаюсь, я и сам не знаю, да и она, по всей вероятности, не знала... Чудный вечер, опьяняющий воздух и аромат тенистого сада, где мы сидели уединенно одни, бешеная страсть, превратившая меня в зверя, давшая мне смелость и решительность, а в ней вызвавшая растерянность и испуг... – словом, целое сплетение причин и обстоятельств. Как бы то

ни было, но с этой минуты мы поменялись ролями. Кошка, игравшая дотолле мышкой, вдруг сама превратилась в мышку и сделалась жалкой игрушкой в руках того, кого еще недавно она так безжалостно мучила... Страх перед мужем, боязнь открытия проступка сделали Людмилу Павловну покорной рабой моих желаний... Сознаюсь и каюсь, – я поступал подло, низко, бесчеловечно. Единственным если *и* оправданием, то объяснением моего тогдашнего поведения была моя страсть; я любил Людмилу Павловну, любил горячо, безумно, но не самоотверженно. Впрочем, трудно требовать от человека в восемнадцать лет само отверженности и великодушия в вопросах такого рода Несколько раз несчастная женщина принималась умолять меня, чтобы я пожалел ее, уехал из того города, где мы жили, перевелся бы в другой полк и тем порвал наши отношения, пока еще не поздно, пока они составляют тайну, которая в противном случае рано или поздно должна же, наконец, открыться. Я отлично сознавал всю правоту, все благоразумие и, наконец, всю справедливость такого требования, – но в то же время не находил в себе достаточно сил добровольно отказаться от своего счастья. Повторяю, я любил... Обещая ей уехать, я, даже получив уже отпуск, все оттягивал свой отъезд, прося у нее последнего свидания. После долгих отказов и отгово-

рок, она уступила, наконец, моим настояниям, надеясь этим купить себе покой и избавиться от меня, но я под тем или иным предлогом опять откладывал тяжелый для меня день разлуки и опять требовал и настаивал на новой встрече... Это было с моей стороны какое-то безумие. Гнуснее всего было то, что Егор Сергеевич ничего не подозревал и продолжал относиться ко мне с большим расположением и доверием; а между тем по городу уже начали похаживать сплетни, сначала весьма неясные, туманные, робкие, но с каждым днем все более и более настойчивые и упорные... В провинциальном городе, где жизнь каждого как на ладони, трудно уберечься от наблюдений милых соседей, и нет того секрета, который бы в очень непродолжительное время не сделался бы достоянием всех и каждого.

Кое-какие отголоски бродивших слухов достигли, наконец, и до моих ушей. Я понял, что дольше откладывать с отъездом нельзя. Отпускной билет у меня был готов давным-давно, вещи уложены, оставалось сесть в почтовую тележку и уехать, сперва к отцу в имение, а затем месяца через полтора в юнкерское училище. Была минута, когда я совсем готов уже был послать за лошадьми и ехать, но, видно, злой дух, желавший нашей гибели, подшепнул мне остаться еще на один день...

ХЛІ. Убийство

С вечера я послал Людмиле Павловне записку о том, что утром уезжаю. В доказательство бесповоротности моего решения, я одновременно с этой запиской послал ее мужу рапорт о выезде; рапорт этот был помечен тем же числом. Таким образом, я считался выбывшим из города накануне того дня, когда рассчитывал уехать в действительности. Сначала я думал уехать, не повидавшись с Людмилой Павловной, но желание еще раз взглянуть на нее перед вечной, по всей вероятности, разлукой взяло верх над благоразумием, и я на другой уже день, зная, что Егор Сергеевич на занятиях в роте, послал Людмиле Павловне вторую записку требуя, чтобы она пришла в рощу на последнее свидание, угрожая в противном случае остаться и не уехать, несмотря на поданный накануне рапорт. Зная мою отчаянность и легко допуская возможность выполнения мною моей угрозы, Людмила Павловна, считавшая себя уже свободной, не на шутку испугалась и поспешила на мой призыв... Тяжело мне было расставаться с ней, так тяжело, что не умею и сказать... В эту минуту я искренно и глубоко страдал. Даже Людмиле Павловне стало под конец жалко меня, и она, стараясь меня утешить, первый, может

быть, раз от всего сердца ласкала меня... Впрочем, кто знает, может быть, и она любила меня? Да и наверно любила; не настолько, конечно, чтобы бросить мужа, порвать связи с обществом и пойти за мной без оглядки и без рассуждения, но, тем не менее, достаточно сильно... Однако всему бывает конец; пришел конец и нашему свиданью... Обняв и поцеловав меня в последний раз, Людмила Павловна встала с поваленного ветром дерева, служившего нам скамьей, и быстрым шагом пошла домой.

– Позвольте мне проводить вас до вашего сада, – взмолился я, – только до сада! Клянусь честью матери, я не переступлю порога калитки, а прямо пройду домой, сяду в повозку, которая, наверно, меня уже ждет, и уеду!

Людмила Павловна мне ничего не ответила, и я, приняв ее молчание за согласие, пошел с ней рядом. По моему расчету Егор Сергеевич был еще в роте, откуда он приходил, не раньше как солдаты, окончив занятия, сядут обедать, т. е. в час дня или около того, несколькими минутами раньше, несколькими минутами позже. Поэтому я немало был поражен, когда, подойдя с Людмилой Павловной к калитке сада, мы неожиданно столкнулись с Егором Сергеевичем. Всегда спокойный и сдержанный, на этот раз он был страшно взволнован; лицо его было блед-

но, и по нем бегали судороги, брови мрачно насуплены, а сжатые в кулаки руки дрожали, как при лихорадке... Увидя меня и Людмилу Павловну, он вздрогнул всем телом и, стремительно отпрянув назад, воззрился на нас пытливым, недобрый взглядом... Я видел, как Людмила Павловна вдруг сильно побледнела, и все лицо ее приняло выражение одного сплошного ужаса. Низко наклонив голову, трепеща всем телом, проскользнула она мимо мужа, не решаясь поднять на него своих глаз, и поспешила скрыться в дом. Проводив жену долгим взглядом, в котором одновременно отразились волновавшие его разнородные чувства: любовь, ненависть, жалость, бешенство, отчаяние и безысходная тоска, – Некраснев поднял голову и пристально взглянул мне прямо в глаза, как бы ища в них подтверждения своих сомнений и догадок. Только тут я заметил в его руке скомканный лист почтовой бумаги, – очевидно, чей-нибудь анонимный донос, столь излюбленный в провинции способ открывания глаз недогадливым мужьям... С минуту мы пристально, не моргнув, глядели один другому в очи, и, должно быть, в моих глазах он прочел роковую для него истину, потому что он вдруг весь как-то перекривился, из груди его вырвался не то стон, не то глухое рычание... Еще один миг, и он держал меня одной рукой за горло, а другой со всего размаха наносил

мне удары по лицу... В первое мгновение я растерялся от такой неожиданности, но уже со вторым – моя рука инстинктивно схватилась за рукоятку кинжала... Одно, неуловимое, как молния, движение – и холодная, острая, блестящая сталь глубоко впилась в тело оскорбителя... Одним бешеным ударом я вскрыл ему весь живот до самой груди... Егор Сергеевич глухо застонал и, как подкошенный, обливаясь кровью, упал к моим ногам... В это мгновение я услышал отчаянный, душу раздирающий крик и увидел Людмилу Павловну, растрепанную, страшную, с безумным выражением лица, с широко раскрытыми, застывшими в смертельном ужасе глазами; она неслась к нам по дорожке сада... Руки ее были простерты, а изо рта вылетал хриплый, нечеловеческий крик, похожий скорее на вой; в паническом страхе я поспешно выпустил из рук кинжал и без оглядки кинулся бежать... Удивляюсь, как меня не поймали... Охваченный ужасом, я бежал, не отдавая себе отчета, бежал, куда глаза глядят, несколько не заботясь и не думая о скрывании своих следов... Не понимаю до сих пор, откуда у меня только силы взялись, каким образом я мог бежать целый день, не останавливаясь, и только когда ночь опустила свой покров на землю, я, наконец, опомнился. Осмотревшись кругом, я увидел себя в совершенно незнакомом для меня месте, среди каких-то угрюмых

скал; предо мной вилась узкая каменистая тропинка, и я, недолго думая, торопливо зашагал по ней, обуреваемый одним желанием поскорее и как можно дальше уйти от того места, где я оставил на дорожке сада плавающего в крови моего начальника и друга, а подле него еще недавно столь любимую, а теперь страшную мне женщину... Не страх кары за совершенное преступление, а ужас перед этими двумя загубленными мною людьми побуждал меня бежать вперед, и я бежал, то тихо, то быстро, по временам останавливаясь, переводя дух, но не смея ни на минуту присесть... По мере того как я подвигался вперед и под влиянием ночной тишины и прохлады, мысли мои начали мало-помалу проясняться и, наконец, прояснились настолько, что я мог начать разумно обсуждать мое положение. Раз я решил скрыться, мне не оставалось иного пути, как бежать в Персию или Турцию, смотря по тому, к какой из границ я находился ближе в эту минуту. Но, чтобы узнать это, необходимо было зайти в какое-либо селение и расспросить жителей относительно дороги. Решив поступить таким образом, я первым делом озабочился изменить несколько свой костюм. Я уже говорил вам, что наш полк носил туземную одежду: короткие черкески верблюжьего сукна, черные бешметы и круглые шапочки-тушинки, на ногах чувяки и ноговицы, – в общем, это был костюм

грузинского или скорее армянского поселянина. Так как я в этот день собирался уезжать, то на мне была надета не собственная щегольская черкеска, какие мы носили вообще, из тонкого дорогого сукна, а обыкновенная казенная из грубой верблюжьей материи, в моем настоящем положении это было как нельзя более кстати. Надо было только отпороть ворот бешмета с нашитыми на нем унтер-офицерскими галунами, сбросить серебряный пояс с серебряными ножнами кинжала да на всякий случай понаделать побольше прорех и дыр на самой черкеске, чтобы достигнуть полнейшего сходства с поселянином. Я так и сделал: забросил пояс, ножны и газыри в первую попавшуюся на пути расселину в скалах, острым камнем пропорол спину, бока и подмышники в своей черкеске, оборвал подол и затем, к довершению всего, хорошенько извозил ее по песку и, не теряя времени, двинулся дальше. На рассвете я встретил трех татар с навьюченными чем-то ишаками. Родившись и проведя первые годы детства на Закавказье, я довольно хорошо говорил по-татарски, а потому для меня не составило труда расспросить встреченных мною погонщиков, куда ведет тропа, по которой я шел. Оказалось, я, не отдавая себе отчета, вполне случайно попал на дорогу, направляющуюся в Персию. Можно было подумать, будто бы судьбе самой было угодно, чтобы я спасся,

ибо лучшего выбора пути для своего спасения я не мог бы придумать. Если бы я пошел к Турции, граница которой была, правда, гораздо ближе от города, где я жил, но зато несравненно многолюднее, – меня бы наверно схватили, ибо погоня, по всей вероятности, направлена была туда, так как естественнее было ждать от меня бегства по знакомой мне местности в ближайшую Турцию, чем отстоящую от места преступления в нескольких переходах далекую персидскую границу, дороги к которой я не знал и не мог знать.

Три дня и три ночи шел я, почти не останавливаясь, выбирая глухие тропинки, ориентируясь днем по солнцу, а ночью – по звездам, и только в крайности заходил в попадавшиеся на пути глухие деревушки купить что-нибудь поесть да расспросить про дорогу. Деньги у меня были те самые, на которые я собирался ехать домой в отпуск, с чем-то более двадцати рублей. Хотя такая сумма могла считаться вполне ничтожной, но в моем тогдашнем положении это был целый капитал, во многом поспособствовавший успеху моего бегства.

Только на четвертый день достиг я, наконец, персидской границы. Я был страшно измучен, йоги мои были изранены; от скудной пищи и непомерного напряжения всех физических сил я отощал до послед-

ней степени... Силы покидали меня. Еще немного, и я, пожалуй, упал бы от изнеможения, голода и жажды. Упал бы, почти достигнув цели своих стремлений... Но судьба и на этот раз неожиданно пришла мне на помощь: в глухом, безлюдном ущелье я наткнулся на какого-то подозрительного армянина, оказавшегося впоследствии русским шпионом и спешившего через Персию в Турцию. Мне удалось уговорить армянина взять меня с собой в Персию. Только тогда, когда, сидя за его спиной на урпке крепкого и сильного катера, я въехал в бурливый, бешено несущийся в стремительном течении Араке, – я понял, насколько счастлива для меня была встреча моя с армянином. Без него, предоставленный самому себе, я ни под каким видом не в состоянии был бы переправиться на ту сторону. Бродов я не знал, а переплыть такую быструю и свирепую реку, особенно в том состоянии полного упадка сил, в каком я тогда находился, нечего было и думать. Всякая попытка в этом направлении неминуемо окончилась бы моей гибелью.

XLII. Новое отечество

Как я выше сказал, армянин был русским шпионом. Тогда Россия готовилась к войне с Турцией, и Кавказские военные власти посылали шпионов-армян для собирания разных сведений о положении приграничных турецких крепостей и о состоянии неприятельских войск. К одним из таких шпионов принадлежал и встреченный мною армянин. Это был умный и ловкий старик, не лишенный доли мужества и даже склонный к самопожертвованию. К сожалению, его постигла горькая судьба большинства шпионов, направившихся в тот год в Турцию: он очень скоро был изобличен и без церемоний повешен турками. Впрочем, в его гибели, как я потом узнал, был виноват Чингиз-хан – владетель Суджи, отец нынешнего правителя Хайлар-хана. Стиснутый с обеих сторон могучими соседями, собиравшимися в то время напасть друг на друга, Чингиз-хан старался угождать и тому, и другому. В угоду России он помог армянину-шпиону, о котором я рассказываю, беспрепятственно и очень ловко пробраться в Турцию и собрать кое-какие сведения, которые он имел неосторожность переслать через того же Чингиз-хана в Россию. Это была с его стороны непростительная ошибка, ибо Чингиз-хан, доставив в

Россию посылку армянина, счел, что этим он выполнил все по отношению к русским и пора подслужиться туркам. Выходя из такого соображения, он поспешил стороной предупредить пашу соседнего вилайета и указать ему на проживавшего там русского шпиона. Таким образом, Чингиз-хан явился добрым соседом и для русских, и для турок. Не зная про его вероломство, и те и другие остались довольны. Недовольным мог считать себя один только бедняга-армянин, очутившийся в один печальный для него день неожиданно-негаданно на довольно-таки высоком суку. Впрочем, об этом меньше всего была забота.

Оставшись в Судже, я поступил на службу к Чингиз-хану. Должно быть, под влиянием делаемых в России и Турции приготовлений к войне Чингиз-хан задумал и у себя завести нечто вроде регулярного войска. Переговорив со мной и узнав от меня, что я военный, Чингиз-хан, очевидно, принял меня за русского офицера, в чем я, каюсь, его не счел нужным разубеждать. Он предложил мне организовать из подвластных ему курдов полк казаков, а из персов – полк пехоты; он мечтал даже и об артиллерии, но из всех этих затей ничего не вышло; после долгих усилий мне удалось с грехом пополам сформировать одну сотню всадников, но дальше дело не двинулось ни на шаг. Причина такого неуспеха крылась, во-первых, в нежелании

Чингиз-хана делать большие расходы, а во-вторых – в полном отсутствии людей, могущих явиться моими помощниками. По хотя предприятие мое и не удалось, Чингиз-хан не изменил ко мне своего благоволения, вообще это был человек, имевший свои достоинства, и родился он не в Персии, неизвестно, чем бы он мог быть. Гордый деспот, кровожадный зверь, не знавший жалости, хитрый и мстительный, он вместе с тем был человек умный. Людей, которые ему были полезны, он ценил и умел даже привязывать их к своей особе. Ко мне он относился особенно хорошо; он отлично понимал, что, не будучи природным персом, не связанный никакими местными интересами, тем не менее принужденный жить в Персии, – я в силу своего положения являлся самым надежным, самым преданным ему человеком, на верность и усердие которого он мог положиться. Выходя из таких соображений Чингиз-хан приблизил меня к себе, и до самой его смерти я пользовался его расположением, несмотря даже на недовольство некоторых наиболее фанатичных мулл, не прощавших мне моего христианского происхождения. Хотя я в угоду Чингиз-хану и принял мусульманство, но не очень-то усердно исполнял обряды и алаты; ярые фанатики мне ставили это в вину, и не раз только близость к свирепому хану избавляла меня от крупных неприятностей. Вскоре после того, как я по-

селился в Судже, мне удалось на деле доказать Чингиз-хану свою преданность. Один из ближайших родственников хана затеял заговор против него, рассчитывая сам занять его место; во дворце многие даже из приближенных к Чингиз-хану знали об этом заговоре, но из сочувствия молчали... Благодаря одной счастливой случайности, я вовремя узнал о готовившемся бунте и поспешил предупредить хана. Хитрый старик выслушал меня очень внимательно, но сделал вид, будто бы не поверил ни одному слову, и с прежним доверием продолжал относиться к своему родственнику и ко всем его сообщникам. Так прошло недели две. Заговорщики уже назначили день нападения на дворец хана, как вдруг произошло неожиданное событие. Во время беседы со своим родственником за чашкой кофе, Чингиз-хан, показывая ему купленный им недавно револьвер, нечаянным выстрелом застрелил его на месте. Надо было видеть, с каким искусством разыграл сцену горести по убитому, как он искренне сокрушался! Из всех приближенных только я не поверил нечаянности убийства, – остальные все были введены в заблуждение. Не успели, однако похоронить главного заговорщика, как погиб – и тоже неожиданно – один из его ближайших сообщников. Он шел по базару, как вдруг около него несколько человек курдов затеяли ссору, перешедшую в драку. Засверка-

ли кинжалы, и один из курдов, желая ударить товарища, с размаху нечаянно всадил клинок в грудь повернувшемуся тайному врагу Чингиз-хана. Когда оба главных и самых опасных затейщика смут погибли, Чингиз-хан сбросил с себя личину, и тут-то я мог вдоволь наглядеться на его неукротимую злобу и беспощадную свирепую жестокость... Последовал целый ряд убийств. По приказанию Чингиз-хана шайки курдов врывались в дома намеченных жертв и свершали кровавую расправу; гибли не только взрослые мужчины, но женщины и дети; при этом кровожадные курды не довольствовались простым убийством, а предварительно истязали свои жертвы самым ужасным образом; даже младенцы были подвергнуты неслыханным мучениям... Кровь лилась рекой, имущество расхищалось, дома разрушались до основания... Убийства прекратились только тогда, когда не осталось в живых ни одного заподозренного в участии в заговоре. Перепуганные насмерть суджинские жители притаились и трепетали, о каком-нибудь сопротивлении никто и помыслить не смел, все только об одном и молили, дабы милосердный Аллах утихомирил сердце сардара. Поняв из действий Чингиз-хана, что ему сделан известным заговор, заговорщики, тем не менее, не могли никак догадаться, откуда хан получил нужные ему сведения; старик до самой смерти таил это

про себя и только умирая, и то с глазу на глаз, рассказал обо всем сыну своему Хайлар-хану, посоветовав ему приблизить меня к себе, что тот и исполнил. Теперь я и при сыне пользуюсь тем же положением, каким пользовался при отце... Вот вам в коротких словах вся моя жизнь. Того же, как я страдаю, как рвусь всей душой назад в Россию, какое отчаяние по временам овладевает мной, – я никакими, словами выразить не могу. Чтобы понять все это, надо испытать на себе... Слова же тут бессильны. Раньше, до встречи с вами, я еще кое-как влачил свое жалкое существование, но теперь... теперь я чувствую, жить дольше нельзя... К чему мне мое богатство, моя свобода, даже почет, который окружает меня! О, как бы охотно я отдал бы все золото свое, все бриллианты, лошадей, ковры, словом – все, все, за право вернуться в Россию под собственным своим именем и поступить хотя бы писцом куда-нибудь!.. Иногда, тщательно заперев двери и окна, я по целым часам горячо молюсь у себя в комнате... плачу... прошу Бога помочь мне... Но и произнося слова молитвы, я сознаю всю невозможность для меня иного исхода. Вернуться в Россию – это значит идти на каторгу. Повторяю, я смерти не боюсь. Однако и так жить, как я жил – я тоже не могу, особенно теперь... Остается, стало быть, только умереть!..

Последние слова Каталадзе произнес покорно-печальным голосом и замолк, тяжело опустив голову.

XLIII. Планы

Лидия Оскаровна сидела бледная, потрясенная до глубины души. Все ее существо прониклось жалостью к этому несчастному человеку, – той стихийной, все-сокрушающей жалостью, на какую бывают способны только женщины и которая толкает их иногда на величайшие подвиги самопожертвования.

– Как мне жаль вас, князь! – тихим голосом произнесла она, кладя свою руку на его. – Особенно теперь, когда я узнала, как мало виноваты вы в своем преступлении и как жестоко за него наказаны!

– Вы говорите – мало виноват! – глухим голосом произнес Каталадзе. – Как это можно! Нет, вина моя ужасна: я убил прекраснейшего человека, благородного, великодушного, перед которым сам же был кругом виноват; разбил жизнь женщины, мною любимой, переменял веру... Последнее самое ужасное... Нет преступника больше меня!

– Полноте, не предавайтесь отчаянию! – ласково, наклоняясь к его лицу, заговорила Лидия. – Преступление ваше велико, но вы уже отчасти искупили его, отчасти можете искупить в будущем. Главное, это выйти из того положения, в котором вы находитесь теперь!

– Как это сделать? – мрачно произнес князь.

– Очень просто. Вы говорите, вы богаты, – в таком случае продайте все, что молено продать, и уезжайте в Европу. Там вы обратитесь в любое русское посольство, расскажите со всей откровенностью о ваших злоключениях и умоляйте государя о помиловании... Государь наш добр и милостив, он войдет в ваше положение и дозволит вам вернуться в Россию; преступление ваше будет вам прощено. Но если бы даже вы и подверглись наказанию, то, наверно, не такому ужасному, как вы думаете...

Князь Каталадзе печально покачал головой.

– Все это ни к чему!.. – грустно произнес он. – Я уже не юноша, мне около сорока лет; горе и тяжелые обстоятельства состарили меня, потушили огонь в моем сердце. При таких условиях начинать новую жизнь невыносимо: у меня не хватит энергии начать новую борьбу с судьбою, хлопотать, ездить, волноваться, сталкиваться с новыми людьми, с новыми условиями и порядками жизни... Подумайте, разве все это легко?.. Гораздо легче и проще – умереть. Если бы я еще был не один, если бы подле меня было существо, которое любило бы меня, поддерживало бы мою энергию, – о, тогда бы я нашел достаточно силы преодолеть все препятствия, побороть все трудности, какие бы судьба ни выдвигала на моем пути! Но, увы! Я оди-

нок, никому не интересен, никому не нужен... Для чего же я буду вновь испытывать судьбу?..

– На новом своем пути вы можете встретить такое существо...

– Никогда! – порывисто воскликнул Каталадзе. – Никогда!

– Откуда же у вас такая уверенность? – изумилась Лидия.

– Потому, что я уже встретил такого человека, который бы мог меня спасти, вдунуть в меня душу, вернуть к жизни... Но к чему говорить о том, чего никогда не может случиться!..

– Кто же этот человек? – пристально посмотрела на него Лидия. – И почему вы не ожидаете сочувствия с его стороны?

Князь Каталадзе вздрогнул всем телом и торопливо поднял глаза на Лидию. Несколько минут они пристально глядели в глаза друг другу.

– Послушайте, – дрожащим голосом, почти шепотом заговорил Каталадзе, – что это такое? Сон, шутка или обман слуха... Скажите, так ли я понял?.. Нет, это – безумие! Я сумасшедший; простите, я не понял вас... Простите великодушно... Мне показался намек в ваших словах; вы, разумеется, не то хотели сказать, что мне вообразилось... Моя судьба кончена, и песенка спета. Во всяком случае, я бесконечно признате-

лен вам; если бы не встреча с вами, я, может быть, еще долго продолжал бы влечить свое позорное существование, как верблюд седло на израненной спине: незаметно подкралась бы старость с ее немощами и болезнями, а там и смерть... Я умер бы как мусульманин, и ненавистные мне муллы похоронили бы меня на персидском кладбище... Подумайте, разве это не ужас?.. Разве не в тысячу раз лучше и благороднее взойти на высокую пустынную гору, куда не ступала нога человеческая, и броситься в бездонную пропасть, где никто никогда не найдет моего трупа, чтобы совершить над ним кощунственное для христианина, каким я остался в душе, погребение... Я умру среди вольных гор, как орел, одиноко пред лицом Бога, перед которым я так страшно виноват.... Вы же будьте счастливы и хотя изредка вспоминайте несчастного Муртуз-агу...

По мере того как он говорил, глаза его разгорались от охватившего его энтузиазма, голос окреп, и вся его фигура дышала твердой решимостью.

Лидия смотрела ему в лицо, и в ее уме с быстротой молнии, в свою очередь, зрели и слагались решения...

– Погодите немного! – заговорила она, по-видимому, вполне спокойным голосом. – Речь идет о жизни, а не о смерти... Повторяю еще раз: продайте ваше

имуущество и уезжайте в Европу; хлопочите, устраивайтесь, добейтесь разрешения вернуться в Россию и тогда...

– И тогда?

– И тогда, если вы вспомните о вашем друге, о том существе, которое, по вашему мнению, может сделать жизнь вашу счастливой, – напишите ему и получите ответ...

– Какой?

– А это смотря по вопросу!

– Лидия Оскаровна, – глухим голосом заговорил князь Каталадзе, – понимаете ли вы, какое слово сказано вами?.. Какую ответственность берете вы на себя?.. Ведь, если впоследствии, когда я, преодолев все преграды, приеду напомнить вам ваше обещание, а вы к тому времени успеете забыть его, то какой ужасный удар нанесете вы мне!.. Подумайте хорошенько об этом и позвольте мне лучше умереть теперь, чем рисковать таким страданием в будущем!

– Ваши слова доказывают только ваше недоверие ко мне... Чем я его заслужила? Или вы, может быть, думаете, что мне следовало бы теперь же последовать за вами... Но если я этого не делаю, то не из страха связать свою судьбу с человеком без определенного положения, – вовсе нет; меня удерживает сознание, что один вы легче и скорее достигнете благопри-

ятных результатов в задуманном деле. Мое присутствие связало бы вам руки и ослабило бы энергию, на которую я возлагаю твердую надежду!

– И не ошибетесь; клянусь вам, не ошибетесь! Не пройдет и месяца, как меня уже не будет в Судже...

– И отлично; во всяком деле важно начало. Вы только верьте и не теряйте бодрости духа!

– Но неужели я вас больше не увижу?

– Теперь и не надо. К чему рисковать? Подумайте, из Суджи вы должны будете уехать тайно, ибо не думаю, чтобы Хайлар-хан добровольно отпустил вас; лучший вам путь в Европу через Турцию – и ближе, и безопаснее. Как же вы ухитритесь еще и сюда заехать? Нет, нет, я вам положительно запрещаю это делать, слышите? Когда будете уже в Европе, напишите мне, я вам отвечу: а пока – до свидания при лучших условиях. Мне надо торопиться домой, а то там будут беспокоиться!

Она протянула ему руку, которую князь крепко пожал.

– До свидания! – произнес князь. – Я как в тумане, мне кажется все это несбыточным сном, бредом!

– Напрасно! А я так, напротив, верю, верю в вас, верю в себя, верю в нашу счастливую звезду! Ну, а пока еще раз до свидания. Прикажите вашему курду подвести Копчика!

– Сейчас, – покорно произнес Каталадзе и, приложив палец к губам, резко свистнул. В то же мгновение раздался топот бегущей лошади, и к отверстию пещеры подбежал с Копчиком в поводу встретивший Лидию при ее приезде мрачный курд.

– Этот курд, – сказал князь, – моя правая рука, самый смелый и надежный изо всех; единственный человек, которого мне будет жаль покинуть в Судже!

– А разве вы не могли бы его взять с собой? – спросила Лидия.

– Я лично охотно бы взял его, но он-то ни за что не согласится покинуть свою родину. Ни за какие блага в мире не променяет он своих диких, бесплодных гор!

Лидия еще раз крепко пожала руку князю, вспрыгнула на седло и начала осторожно спускаться с крутизны. Съехав вниз, она оглянулась, сделала прощальный жест рукой и, подняв Копчика в галоп, понеслась к Шах-Абаду.

Каталадзе, стоя на краю обрыва, долго и пристально смотрел ей вслед, пока она не исчезла, наконец, из виду. Тогда он вошел снова в пещеру и, опустившись на колени, принялся горячо и усердно молиться, беззвучно повторяя одну и ту же молитву: «Господи, пожалей и помоги!»

В эту минуту ему показалось, что среди мрачных сумерек, густо нависших над его головой, блеснул яр-

кий луч солнца, и первый раз за все эти двадцать лет душа его наполнилась тихой, светлой радостью.

XLIV. Последние опасности

Поздний вечер. Солнце давно уже скрылось, и ночная мгла окутала землю. Тучи медленно ползут по небу, заволакивая бледный диск луны, которая то выглянет из-за их разорванных лохмотьев, то снова спрячется, после чего на земле делается темно, как в могиле. Среди холодного мрака бесформенной громадой возвышается здание Урюк-Дагского поста. Благодаря тому, что все окна обращены внутрь двора, а наружу выходят только высокие глухие стены, не светится ни одного огонька, и весь пост кажется погруженным в глубокий сон, но это только так кажется, на самом же деле там кипит лихорадочная деятельность. Из окон казарм, конюшни и офицерской квартиры тянутся скрещивающиеся между собой яркие полосы света, освещающие двор, в одном конце которого, кроме того, горит еще и небольшой фонарь на деревянном столбе с проволочной решеткой на стеклах. На дворе, как тени, снуют фигуры солдат пограничной стражи; их человек десять, одеты они в полушубки, папахи, башлыки, на ногах валенки или кавказские бурочные сапоги, за плечами у каждого винтовка, а на боку шашка. Тут же стоят, жмурясь на свет, оседланные лошади. Солдаты, видимо, озабочены и торопли-

во готовятся к скорому выступлению. Одни из них внимательно исследуют, насколько крепко держатся подковы, достаточно ли туго подтянуты подпруги, на месте ли и правильно ли положены лавки седел, осматривают и щупают пряжки на уздечках и прочих частях конского снаряжения, укорачивают или удлиняют путлища стремян. Другие оправляют на себе амуницию: портупей, перевязи винтовок, пояса; пробуют, свободно ли выходят из ножен клинки шашек, легко ли вынимаются патроны из заранее расстегнутых патронташей. Успевшие привести себя и лошадей в полный порядок терпеливо стоят и, в ожидании приказа сесть в седло, ведут между собой беседу вполголоса. Тем временем в кабинете офицера происходит последнее совещание между поручиком Воиновым и старшим вахмистром его отряда – Терлецким.

Аркадий Владимирович стоит у стола и наскоро дохлебывает остывший чай. Он одет по-походному: короткий романовский полушубок туго стянут боевым ремнем, на ногах бурочные сапоги, на голове большая косматая папаха, нахлобученная на уши и слегка сдвинутая на затылок, через плечо на тонком ремне висит отделанная в серебро кавказская шашка; торчащий из лакированной кобуры револьвер дополняет вооружение.

В этом костюме Воинов имел весьма воинствен-

ный, мужественный вид, особенно благодаря папахе из длинного волоса и кавказской шашке. И то и другое, в сущности, являлось нарушением установленной для пограничной стражи формы, но Воинов, как и многие из офицеров закавказских бригад, при обыкновенных служебных разъездах разрешал себе такое отступление, на практике убедясь, насколько прежняя большая косматая папаха несравненно красивее и удобнее форменной маленькой, из курчавого барашка. Относительно же преимуществ кавказской шашки перед драгунской не могло быть и речи.

– Итак, ты уверен, что он еще не успел перейти обратно в Персию? – спрашивал Воинов стоящего перед ним вахмистра.

– Так точно! – спокойным тоном отвечал тот. – Я доподлинно знаю, что он еще в нашем краю. Мне один верный человек сказывал, он его сегодня утром в горах встретил!

– А как ты думаешь, много у него народа?

– Думаю, есть человек с десятков, да на той стороне полсотни рыщут, чуть что – сейчас на подмогу подойдут!

– Трудно будет захватить, а? Как ты думаешь?

– Да, не легкое дело. Главная беда – хитры они, проклятые, очень. Я план-то их хорошо знаю; сначала курды завяжут для отвода глаз перестрелку в

каком-либо конце, солдаты бросятся на выстрелы, а Муртуз-ага тем временем в суматохе-то этой самой где-нибудь и проскочит через границу!

– Как же нам быть?

– А вот для этого самого я и приказал собраться десяти объездчикам; разделим их на две партии, одни пусть с вашим благородием идут, человек пять, а с другими пятью я поеду. Как начнется стрельба на границе, так мы сейчас в сторону от нее вправо и влево и поедем. Может быть, Бог даст, наткнемся где на самого Муртуза!

– На выстрелы, стало быть, по-твоему, ехать не стоит?

– Так точно, не стоит, ваше благородие; они беспрерывно в другом месте проскользнуть норовят!

– Ну, ладно, посмотрим, что-то Бог даст! Пора выезжать, прикажи людям садиться!

– Слушаюсь!

Терлецкий повернулся и вышел. Увидя вахмистра, солдаты притихли и начали торопливо подравниваться.

– Садись, – вполголоса скомандовал Терлецкий. – Убий-Собака, Мозговитов, Слесаренко, Злодийцев, поедете со мной, остальные с его благородием. Ну, с Богом!

Через несколько минут две кучки всадников, одна

вслед за другой, осторожно выехали из ворот поста.

– Ну, ты поезжай вправо к своему посту, – сказал Воинов, – а я возьму в Шах-Абаду; я думаю, он скорей туда сунется!

Обе партии, соблюдая полную тишину, разъехались в противоположные стороны и скоро исчезли из глаз друг друга, потонув в окружающем мраке.

Около часа ехал Терлецкий вдоль камышей, густой стеной окаймлявших берег реки. Время от времени он останавливался и чутко прислушивался к мертвой тишине пустыни, но пустыня была нема. Только изредка с налетавшими иногда порывами ветра доносилась откуда-то издалека едва уловимая для уха брехня собак на соседнем посту. По мере того как всадники подвигались вперед, брехня эта становилась все слышнее.

– Эк заливаются, проклятые! – проворчал вахмистр.

– Это они нас чуют, господин вахмистр! – почтительно прошептал подле него голос ефрейтора Убий-Собаки.

– А может, где в камышах курды притаились?

– И то может! – согласился ефрейтор.

Они двинулись дальше. Вдруг в нескольких шагах впереди по земле прокатилось что-то темное... В то же мгновение из-под самых ног вахмисгровой лоша-

ди вынырнула из мрака огромная косматая белая овчарка и с громким, хриплым лаем принялась прыгать перед мордой коня, стараясь вцепиться в нее зубами.

– Цыц, ты, дьявол! – закричал на нее вахмистр. – Уймись, проклятая!

– Белка, Белка! – ласково позвал собаку ефрейтор. – Что ты, глупая, аль своих не признала?

Услыхав знакомый голос, овчарка сразу затихла, замахала хвостом и принялась кружиться вокруг лошадей, слегка взвизгивая, как бы желая этим сказать: «Простите, господа, дело ночное, к тому же и место разбойное, немудрено ошибиться».

– Послушай, Убий-Собака, – обратился вахмистр к ефрейтору, – постой-ка ты тут малость с людьми у камышей, а» я на пост съезжу, надо взять кое-что. Да смотрите, избави Бог – не курите, а то теперь в такую темень огонь и не весть Бог откуда виден!

– Слушаюсь, не извольте беспокоиться, сами понимаем! – поспешил успокоить его Убий-Собака.

– Ну, то-то, я живо обернусь!

Сказав это, вахмистр ударил лошадь плетью и помчался в карьер к посту, который хотя за темнотой и не был виден, но находился не дальше как в полуверсте.

Урюк-Дагский отряд, протянувшийся без малого на 20 верст, состоял из 4 постов, удаленных на расстоя-

ние 3–7 верст друг от друга. На крайнем, Урюк-Даге, жил Воинов; на среднем – Тимучине, помещался вахмистр; два же остальных управлялись унтер-офицерами. Впрочем, не проходило дня, чтобы кто-нибудь из двоих – или вахмистр, или командир отряда – не посещали эти посты.

– Ишь, погнал! – произнес Убий-Собака, глядя вслед ускакавшему вахмистру.

– Это он к жене попер, – отозвался из темноты один из объездчиков, – дюже ен ее жалеет!

– А к тому же ребеночек еще, – добавил другой объездчик, – и по ем тоже сердце-то мрет!

– Известное дело! – согласился Убий-Собака. – Только бы не застрял там, вертался бы скорейча!

– Ну, ен не застрянет. Не таковский!

Квартира вахмистра на посту Тимучин состояла из двух небольших комнат и крохотной кухни. Первая служила Терлецкому его рабочей комнатой. Там стоял стол, на котором, кроме чернильницы, лежала пачка бумаги, коробка перьев, карандаши и прочие принадлежности для писанья; подле стола на стене в углу висела самодельная этажерочка, с колонками из размотанных катушек и с установленными на ней по порядку уставами и пособиями; далее – деревянная вешалка и несколько выкрашенных в темную краску табуретов. У противоположной стены помещалась

запасная железная кровать под серым солдатским одеялом и с подушками, твердыми, как камень. Кровать эта служила на случай, если бы кто-нибудь из начальства, запозднившись на границе, пожелал переночевать на посту. Сюда же, в эту комнату, являлись по зову вахмистра солдаты поста, до которых он имел какое-нибудь дело, ибо в другую комнату, служившую вахмистру спальней, он не любил никого пускать. Там он жил своей интимной жизнью. Всегда суровый, молчаливый, он, переступая порог этой комнаты, становился другим человеком: шутил, улыбался, не прочь был побалагурить и посмеяться. Там он переставал быть вахмистром, казенной косточкой, а делался обыкновенным смертным, каким создал его Бог – ласковым, добрым и веселым. Но таким его видела только жена его Луша, или, как ее звали солдаты – Лукерья Ивановна, а другие едва ли даже подозревали. Одно только было всем хорошо известно, что Терлецкий «жалеет» жену; никогда никто не слышал, чтобы между ними происходили ссоры или чтобы вахмистр грубо прикрикнул на жену.

Терлецкий служил на сверхсрочной. Окончив действительную пять лет тому назад, он заявил желание продолжать службу, взял отпуск, съездил на родину в Подольскую губернию, а оттуда вернулся с женой. Его назначили в Урюк-Дагский отряд, где он и зажил

с молодой женой в крошечной квартирке на посту Тимучин. Четыре года у них не было детей, и только на пятый родился, наконец, столь давно и нетерпеливо ожидаемый ребенок. Теперь ему шел уже восьмой месяц, и звали его Аркадием в честь его крестного отца Аркадия Владимировича.

XLV. Перед вечной разлукой

Подскакав к посту, Терлецкий быстро соскочил с коня и, бросив поводья дежурному, торопливой походкой прошел на двор. Там было темно. Слабый свет от полуспущенной лампы в казарме и фонаря из конюшни бесследно пропадал в густом мраке. Вахмистр взглянул на окна своей квартиры: из спальни по краям, спущенной суконной занавески пробивался луч света.

«Не спит...» – подумал Терлецкий и осторожно отворил дверь.

В небольшой, но чисто убранной комнате, у стола, перед лампой с зеленым абажуром, сидела молодая женщина лет 23–24, и прилежно шила на машине ситцевую рубаху. Около нее в деревянной, выкрашенной зеленой краской люльке крепко спал спеленутый младенец. Его озабоченное личико было сморщено, и во сне он преуморительно причмокивал губами. Время от времени молодая женщина бросала работу и, наклоняясь над люлькой, минуты две-три смотрела в лицо сына полным любви и материнской гордости взглядом. При этом красивое лицо ее, с большими серыми глазами и пухлыми, ярко-пунцовыми губами, делалось еще красивее. Лукерья Ивановна не

была простой крестьянкой, а происходила из духовного звания, – отец ее был пономарем. Она имела случай выйти за семинариста, чтобы впоследствии стать «матушкой», но предпочла Терлецкого.

Услыхав легкий стук в дверь, Луша вскочила и торопливо откинула крючок.

– Ты все шьешь, Луша? – ласково спросил Терлецкий, входя в комнату. – Ложилась бы лучше спать!

– Не хочется что-то!.. – ответила молодая женщина, любовно заглядывая в глаза мужу. – А ты что же так скоро вернулся?

– Да я на минутку только; близко от поста проезжали, захотелось поглядеть на тебя!

– Что же на меня глядеть, я все такая же, как и давеча! – засмеялась Луша и вдруг, крепко обхватив мужа руками, поцеловала его прямо в губы. – Милый ты мой, хороший, любимый!.. – прошептала она.

В ответ на эту ласку Терлецкий, в свою очередь, несколько раз поцеловал ее.

– Ну, а он как? – кивнул головой вахмистр на люльку.

– Ничего, спит. Как ты уехал, он с чего-то куражиться начал, насилу укачала, теперь уснул, Христос с ним.

– К зубкам, должно быть!

– И я то же думаю. Когда же ждать-то тебя?

– Раньше утрানে жди. Сегодня, слышь ты, тяже-

лая ночь нам выдалась; должно, перестрелка здоровая будет; как бы не ухлопали у нас кого!

– Ты-то смотри у меня поосторожней будь, – с застенной тревогой в голосе произнесла Луша, – очень-то вперед не лезь. Не дай Бог ранят, что я буду делать?!

– А ежели убьют?

– Ох, что ты! – всплеснула руками молодая женщина, с ужасом отшатываясь в сторону. – Господь с тобой! Разве можно такие вещи говорить? У меня даже сердце замерло, дух захватило... С чего это ты такую думку на себя напустил?.. Нешто Бог попустит такому делу? Ведь мне без тебя и жизни нет... А ребенок, на кого он-то останется?..

Терлецкий печально усмехнулся.

– Думается, не от нас ведь это! – задумчиво произнес он. – Пуля летит, не глядит, можно али не можно...

Он подошел к люльке и заглянул в нее.

– Ишь ты, как спит важно! – улыбнулся он. – Горюшка мало; ну спи, Христос с тобой!

Терлецкий наклонился и, вытянув губы, осторожно прикоснулся ими до лба младенца.

– Ну, Луша, прощай, ехать надо! – обратился он к жене, ласково обнимая ее. – К утру с чаем жди; за ночь-то иззябнем, так оно горячего чайку выпить куда как хорошо будет!

– Небось, чай будет, не впервой! Вот только ты-то сегодня какой-то странный, грустный; я таким тебя никогда не видела. Чувствуешь ты, что ли, что?..

– Ничего, так! – тряхнул головой вахмистр. – Я и сам... – начал он, но вдруг остановился на полуслове и чутко прислушался.

– Стреляют! – воскликнул он и опрометью бросился из комнаты.

– Господин вахмистр, тревога, должно па Ишачьем броде! – торопливо доложил дежурный, подбегая к Терлецкому с его лошадьё в поводу.

Быстрее птицы взлетел вахмистр на седло и, припав к луке, вынесся за ворота.

Луша, накинув байковый платок, выбежала из кордона на площадку. Она остановилась подле дежурного и, трепеща всем телом, начала прислушиваться.

Где-то далеко-далеко бухали выстрелы. Иногда они сливались в один залп и зловещим рокотом пронеслись по пустыне. С каждой минутой выстрелы становились все чаще и чаще, – очевидно, перестрелка разгоралась и становилась все упорнее и настойчивее.

– У нас на посту никого нет? – спросила Луша дежурного.

– Все на границе. Дома я, да на смену мне Трубачев, еще Касаткин остался, да он больной второй

день лежит, встать не может. Ишь, жарят! – добавил он, приныкая ухом. – Должно, теперь там пол-отряда собралось!

– А вахмистр там?

– Где же ему быть! Должно быть, там; и командир, думаю, туда поскачет... Помиловал бы только Бог, убитых бы у нас не было...

– Авось Бог милостив! – набожно перекрестилась Луша.

– Вы бы, Лукерья Ивановна, в комнату шли, а то в одном-то платке холодно, чай!

– Ничего, я еще постою, послушаю, чем кончится!

С минуту они простояли рядом, прислушиваясь ко все еще не умолкавшей перестрелке. Вдруг где-то совершенно близко от них, по направлению к границе, мелькнул огонек и грянул короткий, резкий выстрел.

– Это откуда? – изумился дежурный. – Совсем близко, не дальше, как на первой дистанции... Что бы это могло быть?

– Постой, никак скачет кто-то? – насторожилась Луша. – Не слышишь, будто бы подковы стучат?

– А и взаправду скачет! – всполошился часовой, сбрасывая с плеча винтовку. Вдали ясно послышался порывистый топот несущейся во весь опор лошади.

– К нам! – прошептал солдат и, выступив вперед, громко крикнул: – Кто едет?

Ответа не последовало, но топот быстро приближался.

– Кто едет? – еще громче повторил часовой. – Отвечай, стрелять буду! – добавил он, с угрозой взводя курок.

Топот раздавался уже под самой горой. В эту минуту из-за краев разорванной тучи ярко выглянула луна, и глазам Луши и дежурного представилась быстро скачущая солдатская лошадь без всадника...

Вихрем влетев на холм, лошадь сразу остановилась и захрапела, пугливо оглядываясь вокруг. Дежурный поспешил схватить ее за болтающийся оборванный повод.

– Да это Громобой! – воскликнул он с удивлением, узнавая лошадь, на которой постоянно ездил вахмистр.

– Ах, и то правда! – всполошилась Луша. – Что ж это такое значит? Уж не случилось ли с Иваном Парамонычем чего-нибудь? – добавила она дрогнувшим голосом.

– Чему случиться? Просто конь вырвался; может, спешили где-нибудь, дали конвойному держать, а лошадь строгая – испугалась, вырвала повод из рук, да и подалась на пост. Пойтите седло поправить, да поводить хорошенько, а вы идите-ка домой: смотрите – иззябли, да, слышь, ребеночек никак плакать за-

чал!

– А и вправду плачет, проснулся, неугомонный!

Луша бегом пустилась домой, а дневальный повел запыхавшегося коня в конюшню.

– Ишь ты! – глубокомысленно рассуждал он, при свете фонаря рассматривая лошадь. – Седло-то совсем набок свернулось, и подпруга задняя лопнула... Поводья тоже оборвались... А это что такое? Никак кровь?.. – и он торопливо приблизил фонарь. – А и вправду кровь!.. Вот она штука-то какая! Дела!..

Дежурный растерянно оглянулся, как бы ища, с кем поделиться страшным открытием, но на посту никого не было, кроме спавших в казарме больного Касаткина и Трубачева, который после полуночи должен был сменить дежурного.

– Вытереть, аль так оставить, покуль старшой не приедут? – колебался дежурный, косясь на залитое запекшейся кровью седло и конскую гриву. – Ох, Господи, грехи тяжкие! Неужели же и взаправду с Иваном Парамонычем что случилось?

Пока дежурный возился с лошадью и поправлял седло, Луша, взяв на руки раскричавшегося младенца, начала медленно ходить с ним по комнате, вполголоса напевая:

Спи, касатик мой, усни,

Угомон тебя возьми!
Бай, бай, детка, бай.
Быстры глазки закрывай!
Шш... шшш... шшш...

XLVI. Напролом через границу

Когда совсем стемнело, Муртуз-ага вышел из пещеры и свистнул.

– Пора в путь! – сказал он появившемуся перед ним как из земли Каро. – Зажигай сигнал и веди коней!

Курд кивнул головой и торопливо полез на вершину скалы; там у него была сложена небольшая кучка хорошо высушенных кизяков, политых керосином.

Через минуту на черном фоне неба, высоко над головой Муртуза вспыхнуло яркое пламя. Со стороны его легко можно было принять за костер, разведенный чабанами, ночующими в горах со своими стадами; только тем, кто был посвящен в тайну и караулил на том берегу Аракса, было понятно значение этого неожиданно вспыхнувшего и затем скоро погасшего огня.

Осторожно, медленным шагом, пробирался Муртуз-ага с верным своим Каро по широкой степи, направляясь к Араксу. До границы было верст шесть. Днем это расстояние легко можно было проскакать в какие-нибудь двадцать минут, но в темную ночь иначе, как шагом, ехать было нельзя, не рискуя ежеминутно или свернуть себе шею, свалившись в одну из глубоких балок, по всем направлениям прорезывав-

ших степь, или разбить голову о груди камней, то и дело попадавшихся под ноги лошадям.

Спустившись на дно глубокого оврага, по которому во время летнего таяния снегов в горах мутные потоки с ревом и гулом ниспровергаются в Араке, Муртуз-ага и Каро поехали быстрее; мягкий песок заглушал шаги лошадей, а густая черная тень настолько хорошо скрывала всадников, что даже в нескольких шагах их нельзя было заметить.

Овраг тянулся до самого Аракса. В том месте, где он входил в реку, немного левее был хороший и удобный брод, но легко могло случиться, что около этого брода, хорошо знакомого солдатам Урюк-Дагского отряда, был заложен секрет. Поэтому необходимо было выждать время, когда, согласно сделанному заранее условию, предупрежденные сигналом курды завяжут перестрелку. Выбрав место поудобнее, где подмытый берег выдавался далеко вперед, образуя нечто схожее с навесом, Муртуз и Каро соскочили с лошадей и, прижавшись к стене, стали ждать, все время чутко вслушиваясь в мертвую тишину ночи. Им не пришлось, однако, долго дожидаться, – не прошло и несколько минут, как где-то вправо от них грянул выстрел, за ним другой, третий... Чем дальше, тем выстрелы становились все чаще и чаще, сливаясь по временам в раскатистые залпы.

– Ну, теперь пойдет тамаша по всей границе! – усмехнулся Каро. – О, уже скажут, слышите, ага?

Муртуз в ответ только головой кивнул и прижал палец к губам, давая знак молчания.

Где-то близко-близко впереди прогрехотал топот несущихся во весь опор по камням лошадей. Не успели они проскакать, как у конца оврага что-то зашевелилось, и несколько человек пеших солдат, лежавших там в секрете, вскочили и бегом устремились за конными, поспешая на разгоравшуюся с каждой минутой все сильнее и сильнее перестрелку.

Каро и Муртуз-ага многозначительно переглянулись. Предположение их о том, что брод у оврага был охраняем солдатами, оказалось верным.

– Я говорил, ага, – шепнул Каро, – московы наверно сидят на броду, так оно и вышло! Хорошо, что мы не ехали дальше, а то так-таки прямехонько и наскочили на них. Ну, а теперь нечего время терять, скорее на лошадей и на ту сторону, пока дорога свободна.

Когда Терлецкий, пустив лошадь марш-маршем, примчался на то место, где оставил ефрейтора Убий-Собаку с четырьмя объездчиками, он уже не застал их: очевидно, они ускакали на тревогу, предполагая, что и он прямо с поста поспешит туда же.

– Ах, чтоб им пусто было! – в страшной досаде выругался вахмистр, видя в исчезновении объездчиков

полное уничтожение задуманного им плана. – Что же мне теперь делать? Не догадался приказать им, ишаккам, несмотря ни на что, ждать меня здесь. И зачем я домой-то поехал, занапрасно только жену растревожил! – негодовал на себя Терлецкий, не зная, на что решиться и куда ехать. Стрельба по ту сторону поста у Ишачьего брода, – туда стало быть Муртуз-ага не поскочит, он скорее на этот бок, к Желтому броду направится. Там у меня тоже секрет заложен; лишь бы люди горячки не спорили, остались бы на месте и не бегли бы на тревогу... Ах, досадно, мой-то дурачье ускракали! Ну, уж задам я этому краснобаю Убий-Собаке, будет помнить!

Обуреваемый такими тревожными мыслями, Терлецкий крупной рысью пустился по патрульной дороге в противоположную сторону от того места, где по-прежнему продолжали рокотать частые выстрелы. Достигнув того места, где у Желтого брода, среди густого камыша и гребенчукового кустарника, по его расчетам, должен был находиться секрет, Терлецкий увидел только брошенные связки камыша, покрытые рваными старыми бурками, служившими логовищем для солдат, – самого же секрета и след простыл. Заслышав тревогу, солдаты, очевидно, побежали на выстрелы.

– А будь вы трижды прокляты! – в бешенстве скрип-

нул зубами Терлецкий. – Теперь все дело пропало. Со всех бродов, стало быть, поснимались, как вороны. Сколько толкуешь: сиди смирно, не беги, без тебя есть кому на тревогу бегти, – нет, несет их, анафем!.. Теперь все, чай, там собрались до кучи, а граница вся открыта, хоть в фаэтоне езжай. Ну, солдаты! Можно сказать, ишаки умней их!..

В то время пока Терлецкий в бессильной ярости проклинал солдат, его конь вдруг насторожился, поднял голову и пугливо захрапел. Терлецкий встрепнулся, торопливо выхватил из кобуры револьвер и начал напряженно вглядываться в окружающую его темноту. Привычный к ночным тревогам, конь вахмистра нетерпеливым движением головы потянул повод и, когда Терлецкий поспешил ему его отдать, Громобой двинулся вперед, внимательно наставив уши. Было ясно, что своим тонким лошадиным слухом он уловил недоступный для человеческого уха шорох и смело шел на него. Терлецкий вполне доверился своему коню и ехал вперед, готовый каждую минуту пустить в дело оружие. Вдруг в нескольких шагах от него мелькнули силуэты двух быстро скачущих всадников. Не теряя ни одного мгновенья, Терлецкий припал к луке, гикнул и помчался им наперерез. Он сразу угадал не только то, кто были эти всадники, но и принятое ими направление, а потому вместо того, чтобы пре-

следовать их по пятам, пустил коня наискосок к берегу, в расчете одновременно с ними подскочить к броду. Расчет его оказался верным: в ту минуту, когда лошадь Муртуз-аги передними копытами уже вступала в реку, Терлецкий как коршун налетел на него сбоку.

– Стой, сдавайся! – загремел он, одной рукой хватая Муртузову лошадь за повод, а другой в упор направляя ему в грудь револьвер. Но Муртуз-агу нелегко было захватить врасплох. Своей левой рукой он быстро отвел руку вахмистра, вооруженного револьвером, а правой нанес ему сильный удар кинжалом по пальцам, державшим повод его лошади. Еще легче, чем перерубить пальцы Терлецкому, Муртуз-ага мог вспороть кинжалом его грудь, но он не хотел проливать русской крови и, вырвавшись от вахмистра, без оглядки бросился в воду, спеша поскорее достигнуть противоположного берега. Несмотря на боль в перерубленных пальцах и текущую из них кровь, Терлецкий, не теряя присутствия духа, прицелился в затылок Муртуз-аги, но не успел нажать пальцем спуск, как где-то подле него ярко вспыхнуло ослепительное пламя, громко загрохотал выстрел – и Терлецкий почувствовал, как словно бы кто изо всей силы ударил его кулаком в правую сторону живота. Он закачался и инстинктивно ухватился за переднюю луку седла. В глазах запрыгали огненные шары, но он на мгновение

пересилил себя, обернулся и почти в упор выстрелил в пронесшегося мимо него курда, который, не оставиваясь, бросился в реку вслед за исчезнувшим уже из глаз Муртуз-агой, Сделав выстрел; Терлецкий почувствовал, как все вдруг быстро завертелось вокруг него, и начал терять сознание. Громобой, испуганный выстрелом, сперва шарахнулся в сторону, а потом, повернув назад, во весь дух понесся на пост... Несколько минут сидел Терлецкий в седле, обливаясь кровью и судорожно вцепясь пальцами правой руки в гриву. Пальцы его левой руки были перерублены, и когда он, теряя сознание, пытался ухватиться ими за луку, они беспомощно скользили по намоченной кровью коже седла. В одном месте, попав передней ногой в болтающийся повод, Громобой чуть было не упал, сильно споткнулся и едва-едва удержался на ногах. От неожиданного толчка Терлецкий выпустил из рук гриву, растерял стремяна и тяжело повалился с седла на землю. Ударившись головой о каменистый грунт дороги, он несколько раз конвульсивно вздрогнул всем телом, затем судорожно вытянулся и замер, неподвижно распростертый среди глухой пустыни.

Когда Воинов услышал первые выстрелы, ему стоило большого труда удержаться от желания поскакать на них, чтобы наказать дерзких курдов, затеявших так нахально перестрелку, – но, помня слова Терлецкого,

он решил лучше остаться и, приказав своим людям рассыпаться поодиночке на возможно дальнее друг от друга расстояние, поручил им медленно подвигаться вперед вдоль границы, тщательно осматривая все встречающиеся на пути кусты и камышовые заросли. Солдаты, поняв план своего офицера, со всем рвением пустились на разведки, но все их усердие не привело ни к чему; пройдя из конца в конец всю наметенную дистанцию, Воинов с грустью должен был сознаться, что Муртуз-ага для своего прорыва, очевидно, выбрал другое место.

– Хотя бы он на Терлецкого наскочил! – в волнении размышлял Воинов. – Тот-то уж не пропустит!

Тем временем перестрелка на фланге отряда замолкла, и наступила полная тишина. На далеком горизонте показалась багровая полоса наступающего рассвета. С появлением этого вестника надвигающегося дня у Воинова не могло оставаться больше никаких сомнений, что Муртуз-ага или схвачен вахмистром, или давным-давно успел благополучно переправиться в Персию. Оставалось только ждать известий.

Измученный бессонной ночью, иззябший, недовольный, ехал Воинов, понуря голову, втайне ропща на судьбу и неудачу. Вдруг вдали показался скачущий в карьер всадник, в котором следовавший за Аркади-

ем Владимировичем объездчик Сквернозуб, отличавшийся особой дальностью, тотчас же признал старшего поста Тимучин ефрейтора Убий-Собаку.

– Чтой-то-с да случилось! – вполголоса заговорили солдаты. – Смотри как палит, в кальер жарит!

– Может, убило кого?

– Типун тебе, чего каркаешь!

– Всяко может быть.

– Нешто Муртузку словили?

– Дай-то Бог, а только навряд ли! – Кабы словили, для че бы тогда Убий-Собаке лошадь так щунять? – Глянь-кось как нахлестывает.

По мере того как Убий-Собака приближался, волнение между объездчиками росло все больше и больше; у каждого из них на сердце копошилось недоброе предчувствие, но никто не хотел высказывать своих опасений, боясь нареканий со стороны товарищей. Воинов волновался больше всех. Наконец он не выдержал и, дав шпоры коню, помчался навстречу Убий-Собаке.

– Что у вас случилось? – крикнул он еще издали, карьером подскакивая к ефрейтору и с трудом осаживая Разгорячившегося коня.

– Несчастье! – ваше благородие, – господина вахмистра убило!

– Как убило? – упавшим голосом спросил Воинов,

чувствуя словно удар молота в голову, – Совсем?

– Так точно, совсем; сейчас на пост принесли, уж холодный... На границе нашли... Сначала лошадь прибегла, в крови вся, а затем наши с тревоги домой ехали, да и наткнулись... Лежит посреди дороги, руки раскинувши, а с боку живота, вот в этом месте, – объездчик для большей ясности хлопнул себя по животу, – ранища, большая-пребольшая и крови из нее до ужаста... А к тому же и пальцы на левой руке посечены... А кто и как убили его – никто не знает.

– Да разве вахмистр был один?

– Выходит, ваше благородие, так, что быдто бы один. Мы и сами спервоначалу удивились, как это оно все так вышло. Никто не слышал, не видал. Дежурный рассказывает, – был один выстрел близ поста, а опосля того лошадь прибежала вахмистрова, Громобой, седло на боку и все в крови...

Воинов не стал больше слушать пустившегося было в многословие от охватившего его волнения Убий-Собаку и, дав шпоры коню, шальным галопом поскакал на пост Тимучин.

– Ах, какое горе, какое горе! – изредка шептал он. – Вот тебе и изловили! Проклятый Муртуз!.. Ну, попадешься ты мне когда-нибудь, тогда держись только!..

XLVII. Горя реченька

Когда Воинов въезжал во двор Тимучинского поста, его поразил громкий, залиvistый хохот, раздававшийся из квартиры вахмистра. Вслушавшись в этот странный, ни на минуту не смолкавший хохот, Аркадий Владимирович почувствовал, как мурашки пробежали у него по телу... Что-то нечеловеческое, дикое и в то же время скорбное было в этом неестественном смехе.

– Что это такое? – кивнул головой Воинов по направлению квартиры вахмистра, обращаясь с этим вопросом к выбежавшему к нему навстречу унтер-офицеру Незеленому, старшему соседнего поста, по случаю происшествия прискакавшему тоже на пост Тимучин.

– Лукерья Ивановна, ваше благородие, должно, умом решилаась! – доложил тот, поддерживая офицеру стремя. – Солдаты дурачье, – не предупредили, прямо так в комнату и внесли, а она только что заснула под утро самое... Ночь-то всю не спала, ребенок плакал; а тут такое дело... Она спросонья вскочила, увидала, крикнула и давай хохотать, да с той поры вот все и хохочет, должно, памятки отшибло!

Воинов поспешно вошел в дом. В первой комнате, на запасной кровати, с которой были сброшены мат-

рас и подушки, на голых досках лежал труп вахмистра Терлецкого. Левая рука его, распухшая и посиневшая, с изрубленной, болтающейся на коже и жилах кистью, свесилась на пол; правая была закинута на грудь. Захватанный окровавленными пальцами полусубок был расстегнут; весь низ живота и синие рейтузы атели запекшейся кровью. Осунувшееся за одну ночь до неузнаваемости лицо было изжелта-бледно, рот полуоткрыт, широко расширенные, закатившиеся под лоб глаза застыли в выражении нестерпимого страдания и ужаса... Над левой бровью зияла глубокая рана, левая щека и часть бороды были залиты кровью, что придавало лицу особенно жалкое, страшное выражение.

Растерявшиеся солдаты робко толпились вокруг убитого, пугливо заглядывая ему в лицо; в углу у окна, удерживаемая за плечи одним из солдат, билась Луша. Сидя на стуле, она, как змея, извивалась всем телом, ломала руки, топала ногами и заливалась диким неистовым хохотом; при этом лицо ее судорожно подергивало, только глаза оставались странно безжизненными, упорно устремленными в одну точку. Воинья особенно поразили эти немигающие, широко раскрытые глаза, в которых не светилось никакой мысли, не отражалось никакого ощущения. Их холодная неподвижность как-то особенно резко не гармониро-

вала с судорожно кривившимся лицом и вылетавшим из напряженного горла хохотом.

– Вы бы попробовали ей ребенка поднести, – обратился Воинов к солдатам, – может быть, увидя его, она опомнится!

– Пробовано, ваше благородие, да чуть было греха не вышло. Мы ей дали его в руки, спервоначалу она было и взяла, а потом вдруг как шмякнет об пол! Спасибо, подхватить успели, а то бы убила младенца-то насмерть!

– Где же он теперь?

– На солдатской кухне; кашевар молоком поит, У нее, чай, молока теперь не будет уже!

Воинов любопытствовал взглянуть на своего крестника. Когда он вошел в солдатскую кухню, он увидел всегда грязного, запачканного сажей кашевара чухонца Алика, придурковатого лентяя, совершенно неспособного к строю и служившего для всего отряда посмешищем. За негодностью к службе на границе он состоял бессменным кашеваром и так сроднился со своей кухней, что, случайно очутившись в другом месте, чувствовал себя каким-то потерянным.

Сидя на табурете, Алик держал на руках маленького Аркашу и осторожно вливал ему по каплям в рот подогретое молоко. Ребенок, не умея еще пить из ложки, захлебывался, тарасил глаза, пускал губами пузыри

и беспомощно разводил ручонками. Лицо его выражало полное недоумение; он как будто размышлял, заплакать ли ему сейчас или подождать еще немного.

– Ну, пэй, пэй, алупщик мой, жалуста, пэй! – мягким, несвойственным ему голосом проговорил Алик, и ласковая добродушная улыбка широко расползлась по его безобразному красному лицу, с ключьями белого моха вместо бровей. Алик так был увлечен своей новой ролью няньки, что даже не заметил вошедшего офицера.

Воинов с минуту простоял в дверях и, не желая тревожить ни ребенка, ни его импровизированную няньку, потихоньку вышел. Первый раз в его сердце шевельнулось доброе чувство по адресу Алика, которого он до сих пор терпеть не мог за его лень, тунеядство и неспособность к строевой службе, за что Алику постоянно влетало как от самого Воинова, так еще больше от покойного Терлецкого, любившего иногда дать одну-другую затрецину особенно упорным, по его мнению, лодырям.

Выйдя из кухни, Воинов еще раз прошел в комнату вахмистра. Несколько минут простоял он над ним, с тем особым чувством недоумения и тоски, которые охватывают человека всякий раз, когда ему приходится присутствовать при неожиданной, насильственной смерти его ближнего.

– Ведь всего каких-нибудь три-четыре часа тому назад я разговаривал с ним, обсуждал подробности предстоящего дела, – думал Воинов, – а теперь вместо Терлецкого, которого я знал, лежит что-то неизвестное, какая-то масса холодного тела, а самого его нет... Где он теперь?

Воинов тяжело вздохнул, перекрестился и вышел, чтобы сделать все нужные распоряжения.

В полуверсте от селения Шах-Абад, в стороне от большой дороги, ведущей в город Нацвали, расположено небольшое христианское кладбище. На этом кладбище хоронили преимущественно армян и айсор; русских покойников на нем было немного: три-четыре таможенных солдата, один молодой, умерший несколько лет тому назад, таможенный чиновник, несколько человек детворы и один застрелившийся год тому назад с тоски и одиночества ветеринарный врач. Трудно было представить себе место более унылое и невзрачное. Небольшое пространство красно-желтой земли, усеянной мелкими камнями, было обнесено невысокой глиняной, местами осыпавшейся стеной с простыми не запирающимися ветхими воротами, над которыми красовался когда-то большой крест, теперь давно сломленный бурей. На всем кладбище не было ни одного кустика, ни единого деревца, даже травка не росла на нем...

Над армянскими и айсорскими могилками крестов не стояло; над православными кресты хотя и были, но старые, почерневшие, поломанные. Одно время, вскоре по приезде своем в Шах-Абад, Рожновский задумал было привести кладбище в порядок, мечтал даже обсадить его деревьями, но вскоре был принужден отказаться от своей затеи. Без воды на Закавказье немислима никакая растительность, а так как вода в тех местностях представляет из себя величайшую драгоценность, то люди привыкли расходовать ее с большой осмотрительностью исключительно для поливки фруктовых садов, огородов и засеянных полей. Не проходит года, чтобы из-за обладания несколькими лишними ведрами воды не проливалась человеческая кровь. Крестьяне с дубинами, кинжалами и даже ружьями выходят ночью в поля караулить каждый свою канавку с бегущей по ней в его поле водой, и горе тому, кто вздумает украсть у соседа часть его воды, переведя ее украдкой в свой арык. Удар железной лопатой по голове, а то и кинжал под ребро – обычное возмездие за такое вероломство.

При таких условиях на поливку ненужного никому кладбища, воды, разумеется, достать было невозможно, и Рожновскому не оставалось ничего больше, как махнуть рукой на свою кладбищенскую реформу, оставя кладбище в том виде, в каком оно было до

него.

В закавказских бригадах Пограничной Стражи солдат, умерших на постах от болезней или убитых в стычках с контрабандистами, принято хоронить тут же, неподалеку от постов. Много таких скромных, никому неведомых могилок разбросано среди необозримых пустынь и на вершинах гор нашей далекой окраины; редко можно встретить кордон, около которого не чернел бы деревянный, немудрящий крестик, водруженный над бугорком из земли и мелкого камня. Не ищите на этих крестах надписей или каких-нибудь указаний о том, кто нашел под ними вечное успокоение, имена их давно забыты.

Такая же участь постигла бы и Терлецкого, если бы трагическая гибель его, в силу некоторых особых обстоятельств, не возбудила общего сочувствия.

Первый почин сделал командир отдела Павел Павлович Ожогов. Он предложил своим офицерам устроить небольшую подписку на скромный памятник для «лучшего вахмистра в отделе», как он всегда называл Терлецкого. Рожновский, узнав об этой подписке, в свою очередь попросил разрешения участвовать в ней со своими чиновниками. Благодаря этому собралась сумма, вполне достаточная на то, чтобы сделать приличные похороны и заказать небольшой каменный крест из местного красно-бурого песчаника.

По предложению Осипа Петровича, изъявившего желание принять участие в похоронах со всей своей таможенной, а также из уважения к просьбам Ольги Оскаровны, Лидии и других таможенных дам, решено было Терлецкого похоронить на шах-абадском кладбище, что придавало похоронам более торжественный характер.

В день, назначенный для похорон Терлецкого, все население Шах-Абада уже с утра находилось в волнении. Жадные до всяких зрелищ и любопытные, как все дикари, татары толпой теснились на холме за Шах-Абадом, глаза на дорогу, по которой должны были провезти с поста Урюк-Дага тело вахмистра... Чиновники, одетые, по просьбе Рожновского, в мундиры, с трауром на рукаве, собрались у Осипа Петровича в квартире и в ожидании пили чай. В казарме старый Сударчиков с очками на носу выкликал по списку тех солдат и досмотрщиков, которые должны были под его командой следовать за гробом.

Ровно в одиннадцать часов на почтовых лошадях прибыл из Нацвали православный священник, отец Ираклий. Это был довольно курьезный человек: небольшого роста, суетливый грузин, говоривший порусски весьма плохо и с таким уморительным акцентом, что, слушая его, трудно было иногда не расхохотаться.

Он всегда торопился, боясь опоздать, и теперь, войдя в квартиру Рожновского, озабоченно спросил, обращаясь ко всем:

– Ну, что, гаспада, покойник еще не приходил?

– Не приходил, но скоро будет приходил! – ответил ему в тон, но соблюдая полную серьезность, один из чиновников.

– Ну, слава Богу, а то я пугалься, что опоздал! – успокоился батюшка и добродушно начал обходить присутствовавших, правой рукой пожимая им руки, а левой придерживая широкий рукав рясы.

Спустя полчаса после приезда батюшки прибежал солдат, поставленный на крышу караульщиком, и доложил, что на дороге «чтой-тось едет, должно быть, упокой-ника везут». Чиновники засуетились, оправили на себе мундиры, набросили на плечи шинели и вышли следом за священником на площадь, откуда хорошо была видна дорога к Урюк-Дагу, по которой медленно двигалась теперь печальная процессия. Впереди, на дышловой пароконной повозке, везли обитый черным коленкором и украшенный серебряным татарским позументом гроб. Он был несоразмерно велик, грубо и неумело сколочен из досок, в виде простого ящика, с дном немного более узким, чем совершенно плоская крышка. Повозкой правил солдат в полушубке, без шапки, с туго натянутыми вож-

жами в руке. При взгляде на его напряженную, озабоченную фигуру сразу можно было видеть, насколько трудно ему сдерживать хорошо раскормленных, застоявшихся артельных лошадей и заставить их идти спокойным шагом. За гробом, шагах в десяти от него, ехал верхом Воинов впереди небольшого отряда конных объездчиков; за ними в своей повозочке следовал Ожогов, вдвоем с неизменным своим другом доктором.

XLVIII. На кладбище

Ольга Оскаровна и Лидия, вышедшие тоже на площадь, стояли несколько в стороне и внимательно следили, не спуская глаз с приближающейся процессии.

– Посмотри, пожалуйста, – шепнула Ольга Оскаровна сестре, – как Аркадий Владимирович изменился за это время. Просто узнать нельзя!

Лидия угрюмо подняла голову, взглянула в лицо Воинову и невольно должна была сознаться, что перемена в нем произошла большая. Он сильно похудел, осунулся, вокруг губ легла скорбная морщинка, глаза смотрели уныло и неприветливо. Поровнявшись с дамами, он холодно приложил руку к своей папаше, посылая им официальный поклон, причем Лидии показалось, будто бы Аркадий Владимирович взглянул на нее долгим, пристальным взглядом, в котором она прочла затаенный с беспощадный укор себе. От этого взгляда Лидия почувствовала, как что-то холодное, тягучее заползло ей в душу, усиливая ее и без того мрачное настроение духа. вот уже три дня, – с той самой минуты, как Рожновский рассказал ей о драме, случившейся в Урюк-Дагском отряде, – она от беспокойства и волнения не может найти себе места. Общий голос убийцей называет Муртуза; Сударчиков и

Аркадий Владимирович упорно стоял за то что это дело его рук; доносчик Воинова видел Муртуз-агу как раз в тот день утром на русской стороне в горах, откуда он, по всей вероятности, ночью и пробрался в Персию и, встретив на своем пути Терлецкого, застрелил его. Наконец, самой неопровержимой уликой, по мнению всех служил труп курда, выброшенный волнами на русский берег на другой день после перестрелки. Утонувший курд был не кто иной, как постоянный спутник Муртуз-аги, его верный телохранитель и сподвижник Каро, с которым он никогда не расставался. При осмотре в спине у курда, немного пониже шеи, найдена была пулевая рана с засевшей в ней пулей от Галяновского револьвера, которыми снабжены вахмистры Пограничной Стражи. Сопоставляя это с отсутствием в револьвере Терлецкого одного патрона, легко можно было предположить, что пуля, сразившая Каро, была пущена Терлецким; но когда при каких условиях и где, — оставалось для всех неразгаданной тайной.

Вообще все это дело представлялось в высшей степени загадочным и неясным. Немало интересовал всех вопрос, зачем понадобилось Муртузу уезжать тайно в Россию, когда он мог сделать это вполне легально, через таможню, днем, на глазах у всех. Толкам и пересудам не было конца. Делались предположения одно другого нелепее, и только два человека

были недалеко от истины – это Ольга и ее муж Рожновский.

Осип Петрович тогда же, как только до него дошло известие об Урюк-Дагской истории, сказал жене:

– Знаешь, Оля, я уверен, что Муртуз приезжал сегодня на свидание с Лидией; только, разумеется, об этом надо крепко молчать. Потом, когда вся эта история кончится, постарайся вразумить ее, объясни ей, что ведь ты не Москва: она себе антропологические наблюдения де лает, а из-за этого людей убивают. Разве же это можно?

Ольга Оскаровна еще более мужа была потрясена всем этим происшествием, но, видя Лидию и без того чрезвычайно расстроенной, не решалась заговорить с ней, откладывая объяснение до более благоприятного времени.

Впрочем, хотя Рожновские – и муж и жена – таили упорное молчание, Лидия по их лицам ясно видела, что им прекрасно все известно; в глазах их она читала себе осуждение и искренно мучилась этим.

Стоя в толпе в нескольких шагах от глубокой ямы, подле которой черным безобразным пятном выделялся неуклюжий гроб, из которого строго выглядывало заострившееся, покрытое пятнами от начавшегося разложения лицо Терлецкого и белели на обшлагах мундира сложенные на груди руки, – Лидия чувство-

вала себя как бы участницей этого ужасного убийства.

– Слыхали? – раздался подле нее голос доктора, говорившего Рожновскому. – Жена его с ума сошла. От испуга молоко в голову ударилось... Теперь помирует у меня в лазарете, думаю – больше двух дней не выдержит!

– А ребенок?

– Что ребенок? Да разве вы ничего не знаете? Не слышали разве?

– Нет, а что?

– Ведь она его задушила! Когда ее доставили ко мне в лазарет, то ребенка привезли туда же; сначала она все буйствовала, кричала, хохотала, пела... Ну, ей, разумеется, сына не показывали, но к вечеру она, однако, успокоилась, утихла, стала как бы разумнее. Фельдшер-то с большого ума – думал психологическое испытание, дурак, сделать – возьми да и дай ей в руки младенца. Она, как взглянула на него, сразу в неистовство пришла, завизжала, как бешеная, и вцепилась пальцами в горло малютки. Кинулись отнимать, не тут-то было! Пальцы как стальные, не разожмешь; впились ими в шею Аркаши – и давить, и давить, а сама визжать и трясетя вся... Ну, много ли восьмимесячному надо, сразу задушила, отняли уже мертвого, а она после этого упала на пол и давай биться... С той минуты уже всякая надежда пропала –

да, пожалуй, оно и к лучшему. Такое потрясение бесследно для организма пройти не может: если бы чудом каким-нибудь она и осталась жива, то была бы калекой на всю жизнь.

Похолодев от ужаса, с замирающим от нестерпимой Жалости сердцем, слушала Лидия рассказ доктора. Ее Соображение ясно представило себе страшную, чудовищную картину: безумная мать, душащая своего ребенка. Ей казалось даже, что она слышит раздирающий вопль и визг сумасшедшей и судорожное хрипение конвульсивно корчащегося тельца...

– Иде же несть ни болезни, ни печали... – несутся нестройные голоса солдат, добровольно принявших на себя обязанность певчих. – Но жизнь бесконечная...

«Зачем, зачем он сделал это?» – думает Лидия, подразумевая Муртуза. – Неужели нельзя было избежать убийства?.. Или ему человеческая жизнь действительно ничем? Вот он убил человека, погубил целую семью и теперь готовится к отъезду из Персии... И неужели я последую за ним?

При этом вопросе Лидия вздрогнула всем телом.

«Нет, нет! – с тоской и отчаянием поспешила она ответить сама себе, – теперь это невозможно... Убийца... убийца!.. Но ведь и раньше он был убийца; почему же я то, прежнее убийство так скоро и охотно про-

стила ему? То простила, а это не могу... Чувствую, что не могу и никогда не прощу!..

Лидия искоса и робко перевела свой взгляд на лицо Терлецкого, и вдруг ей показалось, что мертвец зашевелился. Одна рука его слегка поднялась из гроба и грозно погрозила ей пальцем...

Девушка дико вскрикнула и без чувств упала на руки успешного подхватить ее Воинова.

Солдаты-певчие в суеверном ужасе отшатнулись от гроба и замолкли, дрожа всем телом. Даже священник и тот в первую минуту растерялся и полными от ужаса глазами смотрел на мертвеца и на его приподнятую из гроба руку... Все присутствующие смутились; один только Ожогов не растерялся и, обратясь к ближайшему унтер-офицеру, спокойно произнес:

– Должно быть, веревка развязалась, которой одна рука была притянута к другой, поди, поправь!

Эти просто сказанные слова разом всех успокоили. Необычайное происшествие потеряло всю свою таинственность и легко объяснилось тем, что насильно согнутая много времени спустя после смерти рука, удерживаемая в своем положении веревочкой, освобождаясь от нее, приняла свое прежнее положение...

Эпилог

Лидия серьезно и тяжело заболела. Вначале болезнь приняла такой оборот, что доктор не ручался за счастливый исход ее. Не имея возможности ежедневно за 30 верст навещать больную, он потребовал, чтобы Лидию Оскаровну перевезли в Нацвали, где для нее наняли две комнаты в доме одного армянина. Ольга переехала с нею и самоотверженно взяла на себя роль бессменной сиделки. Во все время, пока жизнь Лидии находилась в опасности, Воинов ежедневно навещал ее. Чтобы быть поближе к городу, он перебрался на крайний пост своего отряда, отстоявшийся от Нацвали менее чем в десяти верстах. Утром и вечером аккуратно являлся он к Ольге Оскаровне, бледный и трепещущий, с одним и тем же неизменным вопросом:

– Ну, что, как сегодня?

Когда вести были утешительные, он весь расцветал и радостный и довольный возвращался домой, но зато, узнав о каких-нибудь осложнениях, впадал в такое отчаяние, что Рожновской стоило большого труда утешить его.

– Неужели Лидия, – думала она, – будет так слепа, оттолкнет свое счастье? Лучшего, более любящего и

преданного мужа ей никогда не найти. Надо во что бы то ни стало уговорить ее! – решала Ольга Оскаровна в эти минуты и ждала, когда сестра настолько поправится, что с ней можно будет говорить серьезно.

– Знаете, Ольга Оскаровна, новость? – спросил Воинов, входя однажды в комнату Ольги. – Муртуз-ага убит!

– Как, каким образом? Откуда вы это узнали?

– От самого Алакпера-Бабэй-хана. Помните – старичок, первый министр Суджинского хана, с которым мы познакомились тогда в Суджах. Вчера утром он прибыл в персидский Урюк-Даг и прислал просить меня приехать к нему по важному делу. Я поехал. Старик принял меня очень любезно. По его словам, он нарочно явился, чтобы выразить от имени хана его глубокое сожаление о случившемся в моем отряде несчастье. По словам Алакпера-Бабэй-хана, Хайлар-хан, когда узнал об убийстве моего вахмистра, был чрезвычайно опечален и огорчен. «Сначала мы не знали, чьих рук это дело, – уверял меня Алакпер-Бабэй-хан, – и сильно подозревали ваших татар-контрабандиров; только недавно открылось, кто был настоящий убийца». – «Кто же, по-вашему? – спросил я, уверенный вперед, что услышу, по обыкновению, какую-нибудь басню. Но представьте себе мое изумление, когда Алакпер-Бабэй-хан, не моргнув бровью, спокойно сказал: «Вы

наверно и не подозреваете; вашего вахмистра убил Муртуз-ага. Впрочем, – добавил старик, – от Муртуза всегда можно было ожидать злого дела; он был дурной мусульманин и плохой перс, шайтан возьми его душу!» «То есть как это так? – изумился я. – Разве Муртуз-ага...» – «Умер! – перебил меня Алакпер-Бабэй-хан». – Убит своими же курдами. Он замыслил нехорошее дело: бежать из Персии, изменить своему владыке, светлейшему Хайлар-хану сардарю Суджинскому, – да будет Аллах всегда милостив к нему! Перед бегством Муртуз-ага распродал все свое имущество, собрал все свои драгоценности и думал уйти с ними в Турцию, но на самой границе его же курды, которых он взял себе в охрану, проникнув в его сокровенный замысел, восстали против него и убили, а имущество разграбили... Вот тогда-то и выяснилось все коварство Муртуза. Сардар, узнав всю правду о нем, не стал даже преследовать курдов, особенно когда выяснилось, что Муртуз убил вахмистра русского царя... За одно это его следовало предать смерти. Не правда ли?» Старик старался показать, будто бы он от души возмущается, но я отлично видел, насколько все это было напускное, и для меня нет никаких сомнений, что убийство Муртуза совершено хотя и курдами, но не иначе, как по приказанию самого же Хайлар-хана Суджинского, который, узнав о намере-

нии Муртуза покинуть Персию навсегда, пожелал его ограбить... У этих дикарей подобные действия – явление обычное... Ну, да, впрочем, нас это не касается! Я во всяком случае рад тому, что смерть Терлецкого и бедной Лукеры Ивановны теперь отомщена. Было бы обидно, если бы злодей избег кары, – он и то долго уклонялся от справедливого возмездия. До сих пор я не говорил вам: ведь он был русский подданный, князь Каталадзе, бывший вольноопределяющийся. Восемнадцать лет тому назад он убил мужа моей тетки, бежал в Персию, принял мусульманство и втерся в доверие сначала покойного Чингиз-хана, а после его смерти Хайлар-хана. Много преступлений было на его душе, но теперь судьба за все рассчиталась с ним, и я очень доволен!

– Меня его смерть тоже радует, – задумчиво произнесла Ольга, – но вовсе не из тех соображений, какие у вас.

– А из каких? – удивился Воинов.

– Это уже мое дело! – загадочно улыбнулась Рожновская. – В свое время, может быть, скажу вам, а пока это секрет, и большой секрет!

КОНЕЦ